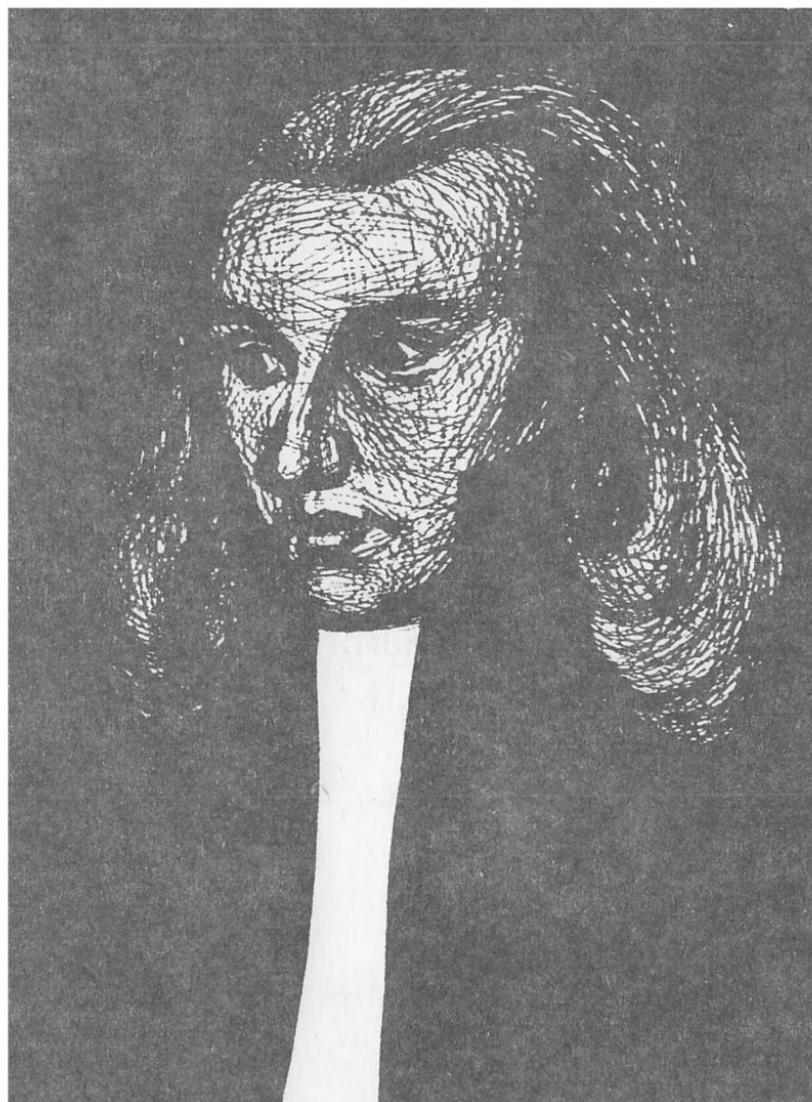


НОВАЛИС



НОВАЛИС





НОВАЛИС



ГЕЙНРИХ

ФОН ОФТЕРДИНГЕН

•

ФРАГМЕНТЫ

•

УЧЕНИКИ В САИСЕ

•

·НОВАЛИС·ЛИТЕРАТУРНЫЙ

ЭТЮД Т.КАРЛЕЙЛЯ



В первый и самый полный на русском языке за последние семьдесят лет сборник произведений немецкого романтика из Иены, таинственного поэта-мага Фридриха фон Гарденберга (1772—1801), известного под псевдонимом Новалис, входят образцы различных жанров его творчества, — от романа-фантазмагии, сотканного из символов и снов, до философско-поэтических фрагментов, выявляющих скрытый ритм вселенной. Писатель для посвященных, рыцарь «голубого цветка» — символа души мира, смотревший в лицо тайне глазами младенца и мудрого мага, причислялся Германом Гессе к «паломникам в страну Востока» и вдохновлял Мартина Хайдеггера «на пути к языку».

Тем, кому не чуждо чувство мистического, философам, филологам, любителям медленного чтения.

Новалис

Гейнрих фон Оффтердинген. Фрагменты. Ученики в Саисе.

Новалис. Литературный этюд. Т. Карлейля. Санкт-Петербург. 1995 г.

© «Евразия», составление сборника
© П. Лосев, оформление.

ГЕЙНРИХ

ФОН ОФТЕРДИНГЕН





ПОСВЯЩЕНИЕ

Ты вызвала высокие мечты,
Огромный мир манил в твоих призывах.
С тех пор как ты со мною, нет пугливых
Сомнений и не страшно темноты.

В предчувствиях меня взрастила ты,
Со мной на сказочных бродила нивах,
И, как прообраз девушек счастливых,
Звала к очарованьям чистоты.

Зачем же сердце с суетою слито?
Ужели жизнь и сердце — не твои?
И в этом мире ты мне — не защита?

Меня умчат поэзии ручьи,
Но, муза милая, тебе открыты
Все замыслы заветные мои.

Взывает к нам, меняясь всякий час,
Поэзии таинственная сила.
Там вечным миром мир благословила,
Здесь юность вечную струит на нас.

Она, как свет для наших слабых глаз,
Любить прекрасное сердцам судила,
Ей упоен и бодрый и унылый
В молитвенный и опьяненный час.

И грудь ее дала мне утоление;
Ее веленьем стал я сам собой
И поднял взор от прежнего томленья.

Еще дремал верховный разум мой,
Но, чуя в ангеле ее явленье,
Лечу в ее объятьях — с ней одной.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ОЖИДАНИЕ







ГЛАВА ПЕРВАЯ

Родители уже лежали и спали, стенные часы однообразно тикали, за хлопающими окнами свистел ветер; комната по временам озарялась лунным сиянием. Юноша метался на постели и думал о незнакомце и его рассказах.

— Не сокровища так невыразимо привлекают меня, — говорил он себе самому, — жадность чужда моей душе: я мечтаю лишь о том, чтобы увидеть голубой цветок. Он неустанно занимает мои мысли, я не могу ни писать, ни думать о чем-либо другом. Я никогда не испытывал ничего подобного: точно все прежнее было сном, или точно я пронесся во сне в другой мир. В том мире, в котором я жил, никто бы не стал думать о цветах; а про такую особенную страсть к цветку я даже никогда и не слышал. Откуда собственно явился незнакомец? Никто из нас никогда не видал такого человека; не знаю, почему только я один был так потрясен его речами; другие тоже слушали его, но ни с кем не случилось того, что было со мной. Не могу даже объяснить словами свое странное состояние. Я часто ощущаю изумительную отраду, и только когда я не вполне ясно представляю себе цветок, на меня нападает глубокая тревога: этого никто не поймет и не может понять. Мне казалось бы, что я сошел с ума, если бы я не сознавал все в себе с такой ясностью; не мыслил бы так отчетливо; я точно все лучше знаю. Я слышал, что в древние времена животные, деревья и скалы разговаривали с людьми. У меня теперь такое чувство, точно они каждую минуту опять собираются заговорить, и я как бы ясно вижу, что они хотят мне сказать. Есть, вероятно, еще много слов, которых я не знаю: знай я их больше, я бы мог лучше их постичь. Прежде я любил танцевать, теперь я предпочитаю думать под музыку. — Юноша постепенно забывает в сладкой дреме и заснул. Ему приснилась сначала безграничная даль и дикие неведомые места. Он переплывал моря с непостижимой легкостью; он видел странных зверей; он жил с различными людьми, то среди битв, то в диком смятении, то в тихих селениях. Он попал в плен и в страшную нужду. Все ощущения достигли в нем неведомой до того напряженности. Он прожил бесконечно пеструю жизнь, умер и снова родился, любил

с безумной страстью, и затем снова настала вечная разлука с возлюбленной. Наконец, под утро, когда стало светать, буря в его душе стихла, и образы сделались более ясными и устойчивыми. Ему казалось, что он бродит один в темном лесу. Лишь изредка пробивался свет сквозь зеленую сеть. Вскоре он подошел к ущелью, которое вело вверх. Ему пришлось карабкаться по мшистым камням, когда-то снесенным вниз потоком. Чем выше он подымался, тем лес все более светлел. Наконец, он дошел до маленького луга — склона горы. За лугом высился утес, у подножия которого он увидел отверстие; оно казалось началом прохода, вырубленного в утесах. По этому внутреннему ходу он шел прямо несколько времени и дошел до широкого выхода, откуда сверкнул ему навстречу яркий свет. Приблизившись, он увидел мощный луч, поднимавшийся, как струя фонтана, до самого потолка: там он рассыпался на бесчисленные искры, которые собирались внизу в большом бассейне; луч сверкал, как зардевшееся золото. Не слышно было ни малейшего звука; священная тишина окружала дивное зрелище. Он приблизился к бассейну, искрившемуся разноцветными переливами света. Стены пещеры были покрыты этой влагой, не горячей, а прохладной; она светилась слабым голубоватым светом. Он погрузил руку в бассейн и омочил свои губы. Его точно пронизало веяние духа, и он почувствовал себя укрепленным и освеженным. Его охватило непреодолимое желание выкупаться; он снял одежду и вошел в бассейн. Тогда его точно окутало вечернее облако; небесное чувство охватило его; несчетные мысли сладострастно сливались в нем; возникали новые, никогда невиданные образы, которые тоже сливались и превращались в воплощенные существа; и каждая из волн нежной стихии льнула к нему, как нежная грудь. В потоке точно растворились юные девы, обретавшие плоть от прикосновения к юноше.

Опьяненный восторгом и все же вполне сознательно воспринимая каждое ощущение, он медленно вплыл вдоль сверкающего потока, который вливался из бассейна в утесы. Его охватила нежная дремота, и ему снились неопишуемые происшествия; затем его пробудило новое просветление. Он очутился на мягком лугу у края ручья, точно вливающегося в воздух и в нем исчезающего. Темно-синие скалы с пестрыми жилками возвышались на некотором расстоянии; окружавший его дневной свет был яснее и мягче обыкновенного; небо было черно-синее и совершенно чистое. Но с наибольшей силой привлекал его голубой цветок, который рос у ручья, касаясь его своими широкими, блестящими листьями. Цветок окружали бесчисленные другие цветы всевозможной окраски, и в воздухе носилось чарующее благоухание. Но он ничего не видел, кроме голубого цветка, и долго разглядывал его с невыразимой нежностью. Наконец, ему захотелось приблизиться

к цветку; но цветок вдруг зашевелился и вид его изменился; листья сделались более блестящими и прижались к растущему стеблю, цветок склонился к нему и лепестки образовали широкий голубой воротник, из которого выступало нежное личико. Его радостное изумление все возрастало при виде странного превращения, как вдруг его разбудил голос матери, и он проснулся в родительском доме, в комнате, уже озаренной золотыми лучами утреннего солнца. Слишком очарованный, чтобы рассердиться за то, что его разбудили, он приветливо поздоровался с матерью и поцеловал ее.

— Ах ты соня, — сказал отец. — Я-то уже давно сижу здесь и пилю. Из-за тебя мне запретила стучать молотком; мать не хотела, чтобы тревожили сон ее сына. И завтрака мне тоже еще не дают. Ты умно сделал, что избрал учительское дело; мы для него трудимся и не спим. Но хороший ученый, как мне говорили, тоже должен ночей не досыпать, чтобы успеть изучить великие произведения мудрых предшественников.

— Милый отец, — ответил Гейнрих, — не гневайтесь за мой долгий сон, мне несвойственный. Я очень поздно заснул и мне снилось много тревожного; потом только приснился приятный сон. Его я долго не забуду и, мне кажется, это не был простой сон.

— Милый Гейнрих, — сказала мать, — ты верно лег на спину, или же думал о постороннем во время вечерней молитвы. И вид у тебя какой-то странный. Позавтракай скорее, чтобы придти в себя.

Мать вышла из комнаты, а отец, продолжая усердно работать, сказал:

— Сны ничто иное, как пена, что бы ни говорили ученые господа; и лучше, если бы ты не предавался бесполезным и вредным мыслям. Прошли времена, когда сны соединялись с божественными откровениями; мы даже понять не можем и никогда не поймем, что испытывали те избранники, о которых говорит Библия. В то время, вероятно, сны были другие, и все человеческое было иным.

В наш век нет уже непосредственного общения с небом. Старые сказания и писания — единственные источники, из которых мы можем черпать познания о надземном мире, поскольку нам это нужно; и, вместо прямых откровений, святой дух общается с нами теперь через посредство умных и благородных мужей, проявляется в жизни и в судьбе людей благочестивых. Чудеса наших дней никогда не трогали меня, и никогда я не верил в их великое значение, о котором говорят наши священники. Но, конечно, кто хочет, пусть верит; я не стану смущать ничьей веры.

— Но почему же, милый отец, вы так восстаете против снов, которые должны вызывать на размышления своей легкостью и

странными превращениями? Разве всякий, хотя бы самый спутанный сон не представляет собой нечто странное и даже если не кажется ниспосланным Богом, все же как бы разрывает таинственную завесу, которая окутывает тысячью складок нашу душу? В самых мудрых книгах есть рассказы достовернейших людей о замечательных снах. Вспомните сон, о котором недавно рассказал нам почтенный придворный капеллан; сон этот и вам показался очень замечательным.

Но и помимо чужих рассказов, если бы вам в первый раз в жизни приснился сон, до чего бы это удивило вас. Вы бы считали чудом событие, которое сделалось для нас будничным. Мне сны кажутся оплотом против правильности и обыденности жизни, отдыхом для скованной фантазии; она перемешивает во сне все жизненные представления и прерывает радостной детской игрой постоянную серьезность взрослого человека. Без снов мы бы, наверное, все раньше состарились; и поэтому можно считать сон если и не непосредственным даром свыше, то все же божественной милостью, дружественным спутником на пути к Гробу Господню. Сон, который я видел сегодня ночью, наверное, не пустая случайность в моей жизни. Я чувствую, что он захватил мою душу, как большое колесо, и властно мчит ее вдаль.

Отец дружески улынулся и сказал, взглянув на мать, которая вошла в эту минуту в комнату:

— Послушай, мать, Гейнрих ясно свидетельствует всем своим существом о часе, которому он обязан жизнью. В его речах кипит пламенное итальянское вино, которое я тогда привез из Рима и которое так пьянило всех на нашем свадебном пиру. Я был в то время еще другим человеком. Южный воздух оживил меня, я был полон отваги и веселья, и ты тоже была горячая, очаровательная девушка. Какой тогда твой отец устроил дивный пир! Музыканты и певцы собрались со всех сторон; в Аугсбурге долго после того не было более веселой свадьбы.

— Вы говорили о снах, — сказала мать. — Помнишь, ты мне тогда тоже рассказывал о сне, который тебе приснился в Риме? Сон этот и побудил тебя ехать в Аугсбург и просить моей руки.

— Ты как раз во время напомнила мне о нем, — сказал старик. — Я совсем забыл про тот странный сон, долгое время меня занимавший; но он подтверждает то, что я говорил о снах. Трудно представить себе нечто более определенное и ясное; я и теперь помню каждую подробность этого сна. Но разве в нем был какой-нибудь смысл? То, что я видел тебя во сне и вскоре после того охвачен был влечением к тебе, совершенно естественно; я тебя уже раньше знал. Ты сразу пленила меня приветливой прелестью твоего существа, и только жажда увидеть чужие страны сдерживала мое желание обладать тобою. В то время, когда мне

приснился сон, моя любознательность уже в значительной степени улеглась, и чувство к тебе могло легче одержать верх.

— Расскажите нам этот странный сон, — сказал сын.

— Однажды вечером, — начал отец, — я пошел бродить. Небо было чистое; месяц озарял древние колонны и стены бледным жутким светом. Мои товарищи пошли увиваться за девушками, и мне тоже не сиделось дома; тоска по родине и любовь томили меня. После долгой ходьбы мне захотелось пить, и я вошел в первый встречный деревенский дом, чтобы попросить глоток вина или молока. Ко мне вышел старый человек, которому я, вероятно, показался очень подозрительным гостем. Я попросил его дать мне напиток, и когда он узнал, что я иностранец и немец, он вежливо позвал меня в комнату, принес бутылку вина, попросил меня сесть и спросил, чем я занимаюсь. Комната была полна книг и разных древностей. Мы вступили в длинную беседу; он много рассказывал мне о старых временах, о художниках, о ваятелях и поэтах. Никогда еще я не слышал таких речей. Я как бы высадился на берег в новом мире. Он показал мне разные печати и другие предметы художественной работы, потом пламенно прочел несколько прекрасных стихотворений, и время проходило, как единое мгновение. И теперь еще сердце мое преисполняется радостью, когда я вспоминаю пестроту дивных мыслей и чувств, охвативших меня в ту ночь. В языческих временах он чувствовал себя, как дома, и страстно рвался в мечтах обратно в седую древность. Наконец, он провел меня в комнату, где предложил провести остаток ночи; было уже слишком поздно, чтобы возвращаться домой. Я будто должен был куда-то идти, но не знал, куда и зачем. Я вскоре заснул и мне показалось, точно я в родном городе и выхожу за городские ворота. Я быстрыми шагами направился в горы, и на душе было так хорошо, точно я спешил к венцу. Я шел не по большой дороге, а полем через долины и леса, и вскоре очутился у высокой горы. Поднявшись на вершину ее, я увидел золотистую равнину; передо мной простиралась вся Тюрингия; ни одна гора по близости не застилала мне взор. Против меня высился темный Гарц и я увидел бесчисленные замки, монастыри и деревни. Тогда мне сделалось еще отраднее на душе, и в ту же минуту мне вспомнился старик, у которого я ночевал; мне казалось, что прошло много времени с тех пор, как я у него был. Вскоре я увидел лестницу, которая вела в глубь горы, и стал спускаться по ней. Долгое время спустя, я очутился в большой пещере; там сидел старец в длинной одежде перед железным столом и неотступно глядел на стоящее перед ним мраморное изваяние дивно-прекрасной девушки. Борода старца проросла через железный стол и покрывала ему ноги. У него было ласковое, вдумчивое лицо, и он напомнил мне старинное

изваяние, которое я видел в этот вечер у моего хозяина. Пещера была озарена ярким светом. Когда я так стоял и смотрел на старика, мой хозяин вдруг хлопнул меня по плечу, взял меня за руку и повел меня за собой по длинным переходам. Через несколько времени я увидел пробивавшийся издали дневной свет. Я быстро направился к свету и вскоре очутился на зеленой равнине. Но все казалось мне не таким, как в Тюрингии. Огромные деревья с большими блестящими листьями бросали тень далеко вокруг себя; было очень жарко, но никакой духоты не чувствовалось. Всюду были ручьи и цветы; из всех цветов один понравился мне больше всего, и мне казалось, что все другие цветы склоняются перед ним.

— Ах, милый отец, скажите мне, пожалуйста, какого цвета был этот цветок? — взволнованно спросил сын.

— Этого я не помню, хотя все другое совершенно ясно запечатлелось в моей памяти.

— Не был ли он голубой?

— Возможно, — продолжал старик, не обращая внимания на странное возбуждение Гейнриха. — Знаю только, что мною овладело какое-то невыразимое чувство, и я долго не оборачивался к моему спутнику. Когда же я взглянул на него, то заметил, что он очень внимательно смотрел на меня и с искренней радостью улыбался мне. Как я ушел оттуда, совсем не помню. Я снова очутился на вершине горы. Мой спутник стоял подле меня и сказал мне: «Ты видел чудо мира. Ты можешь стать самым счастливым человеком на свете и, кроме того, еще прославиться. Запомни, что я тебе говорю: если ты в Иванов день придешь сюда под вечер и от души попросишь Господа, чтобы тебе дано было понять этот сон, то на твою долю выпадет величайшее земное божество. Тогда обрати внимание на голубой цветок, который ты здесь найдешь. Сорви его и смиренно отдайся воле неба». После того я очутился во сне среди дивных существ и множества людей, и неисчислимые времена проносились перед моими взорами в игре разнообразных изменений. У меня точно развязался язык, и то, что я произносил, звучало как музыка. Потом все снова сделалось тесным, темным, обыденным; я увидел перед собой твою мать с кротким, стыдливым взором. Она держала в руках сияющего младенца и протянула его мне; тогда младенец стал вдруг расти и становился все более светлым и сверкающим. Потом он поднялся вдруг ввысь на ослепительно белых крыльях, взял нас обоих в свои объятия и улетел с нами так высоко, что земля казалась золотым блюдом, украшенным красивой резьбой. Потом помню я еще, что снова появились цветок, гора и старец; но вскоре после того я проснулся и почувствовал себя охваченным пламенной любовью. Я простился с моим радушным хозяином,

который попросил меня почаще его навещать. Я ему это обещал и сдержал бы слово, но вскоре после этого оставил Рим и помчался в Аугсбург.



ГЛАВА ВТОРАЯ

Иванов день миновал; мать давно уже собиралась съездить в Аугсбург к отцу с милым внуком, которого он еще не знал. Несколько купцов, добрых друзей старого Офтердингена, отправлялись туда по торговым делам. Мать решила воспользоваться этим, чтобы выполнить свое желание. Ей тем сильнее хотелось ехать, что уже несколько времени она замечала перемену в сыне; он притих и сделался более замкнутым, чем обыкновенно. Она думала, что он расстроен или болен, и полагала, что далекое путешествие, вид новых людей и новых стран, а также, как она втайне надеялась, чары одной из ее молодых землячек рассеют его грусть и вернут ему его прежнюю отзывчивость и жизнерадостность. Отец дал свое согласие, и Гейнрих бесконечно обрадовался, что попадет в край, который уже давно представлял себе, по рассказам матери и некоторых путешественников, каким-то раем на земле и куда часто тщетно стремился попасть.

Гейнриху только что исполнилось двадцать лет. Он никогда еще не уезжал дальше окрестностей родного города: свет он знал только по рассказам. Книг ему тоже мало попадалось на глаза. При дворе ландграфа, по обычаю того времени, жизнь была простая и тихая. Пышность и жизненные удобства владетельного князя едва ли могли бы сравниться с теми удовольствиями, которые в позднейшее время мог предоставить себе и своей семье, не будучи расточительным, всякий частный человек со средствами. Но зато любовь к предметам, которыми люди окружали себя в своем обиходе, была тем более нежной и глубокой. Люди больше ценили вещи, больше восхищались ими. Тайна природы и происхождения простых тел сама по себе привлекала пытливого ум, а более редкостный дар обработки предметов, романтическая даль, откуда они получались, священное обаяние старины — более тщательно сбереженные предметы становились часто достоянием нескольких поколений — еще более усиливали любовь к этим немым свидетелям жизни. Часто им поклонялись, как священным залогам особого благословения, особенной судьбы, и с их сохранностью связывали благополучие целых государств и широкоразветвленных родов. Благообразная бедность украшала те времена

своеобразно вдумчивой и чистой простотой, и бережливо распределенные сокровища тем ярче блистали в этих сумерках, преисполняя чуткие души волшебными чаяниями. Если правда, что нужно искусно распределить свет, краски и тени, чтобы выявить скрытую красоту видимого мира, ибо этим как бы создается новое, более проникновенное зрение, то подобного рода распределение существовало тогда повсюду. Сравнительно с прошлым позднейшее время, более состоятельное, представляет однообразную и более серую картину будничности. Во всех промежуточных эпохах прорывается более высокая духовная сила. Как на поверхности земли наиболее богатые подземными и надземными сокровищами местности расположены между дикими неприступными горами и необозримыми равнинами, так и между веками грубого варварства и эпохами богатства, расцвета искусства и науки, расположилась вдумчивая романтическая эпоха, таящая величие под скромным одеянием. Всякому отрадно бродить в сумерки, когда ночь, встречаясь со светом, и свет, встречаясь с ночным мраком, распадаются на более тонкие тени и краски; мы охотно поэтому углубляемся в те годы, когда жил Гейнрих и когда он шел с открытым сердцем навстречу новым событиям. Он попрощался со своими товарищами и с учителем, старым, мудрым придворным капелланом, который знал, как богато одарен Гейнрих, и отпустил его с растроганым сердцем и тихой молитвой. Ландграфиня была его крестной матерью; он часто бывал у нее в Варбурге. И теперь он тоже отправился перед отъездом к своей покровительнице. Она дала ему добрые советы, подарила золотую цепь и ласково простилась с ним.

С грустью покинул Гейнрих отца и родной город. Он впервые понял, что значит разлука. Когда он представлял себе путешествие в мечтах, это не сопровождалось тем странным чувством, которое он испытывал теперь: впервые то, что составляло его мир, оторвалось от него, и его точно выкинуло на чужой берег. Бесконечно велика юношеская скорбь, когда впервые обнаруживается бренность того, что должно казаться неискушенной душе неразрывно связанным с самой сущностью бытия, столь же неизменным как оно. Подобно первому напоминанию о смерти, первая разлука остается навсегда памятной; после того, как она долго пугала, точно призрак в ночи, она становится, наконец, при падающей отживчивости на событие дня, при возрастающем стремлении к твердому незаблемому миру, добрым вожатым и утешителем. Близость матери очень утешала юношу. Старый мир казался не окончательно утраченным, и он льнул к нему с удвоенной нежностью. Было раннее утро, когда путники выехали верхом из ворот Эйзенаха, и утренний полусвет был отраден взволнованным чувствам Гейнриха. По мере того, как становилось светлее, перед

его взорами все яснее выступали новые незнакомые места; и когда с высоты холма покинутая местность вдруг озарилась восходящим солнцем, в душе изумленного юноши пробудились старые песни души, нарушая ход его печальных мыслей. Он увидел себя на пороге дали, в которую часто и тщетно вглядывался с близких гор и которую рисовал себе в небывалых красках. Теперь он окунется в ее синий поток. Чудесный цветок стоял перед ним, и он оглянулся на Тюрингию, которую оставлял теперь позади себя, с странным предчувствием, что после долгих скитаний вернется на свою родину с той стороны, куда он теперь направляется, и что поэтому он, в сущности, свершает теперь обратный путь домой. Путники, которые все сначала притихли по тем же причинам, что и Гейнрих, понемногу оживились и стали сокращать время разговорами и рассказами. Мать Гейнриха, желая отвлечь сына от дум, в которые он погрузился, стала рассказывать ему о своей родине, о доме отца и о веселой жизни в Швабии. Купцы тоже вмешались в разговор; они все подтверждали рассказы матери, восхваляли гостеприимство старого Шванинга, и говорили о том, как красивы женщины в стране их спутницы.

— Хорошо, что вы везете туда вашего сына, — говорили они. — Нравы вашей родины более мягкие, люди там обходительные. Они умеют заботиться о полезном, не пренебрегая приятным. Каждый старается удовлетворить своим потребностям с очаровательным радушием. Купцам от этого хорошо и они в почете. Искусства и ремесла процветают и облагораживаются. Трудолюбивым работа кажется более легкой, потому что она доставляет много удобств. Взяв на себя однообразный труд, человек за то приобретает уверенность, что может насладиться пестротой различных приятных занятий. Деньги, труд и товары погоняют друг друга в быстром вращении, содействуя расцвету города и деревни. Чем усерднее производительная энергия пользуется днями, тем исключительнее вечера посвящают очарованиям искусства и общества. Душа жаждет отдыха и разнообразия, а где найти и то и другое в более благопристойном и обаятельном виде, чем в свободных играх и в произведениях благороднейшей силы духа, проникновенного творчества? Нигде не услышишь столь приятных певцов, нигде нет таких великолепных живописцев, нигде не увидишь в танцевальных залах более легких движений, более очаровательных женщин. Близость Италии сказывается в непринужденном обращении и в прелести речей. Женщинам разрешается украшать общество своим присутствием; не страшась злословия, они могут приветливо вызывать соперничество в желании им понравиться. Суровая сосредоточенность и дикая необузданность мужчин уступает место мягкой живости и скромной тихой веселости, и любовь становится в тысяче воплощений душой

этих радостных собраний. Это не только не порождает непристойной вольности, а, напротив того, все злое как бы бежит от столь чистой прелести и во всей Германии, наверное, нет более добродетельных девушек и более верных жен, чем в Швабии.

— Да, юный друг, в ясном, теплом воздухе южной Германии вы отбросите свою суровую застенчивость; веселые девушки сделают вас словоохотливым и общительным. Уже то, что вы чужеземец, а также ваше близкое родство со стариком Шванингом, душой всякого веселого сборища, обратит на вас очаровательные взоры девушек; и если вы последуете советам вашего дедушки, то, наверное, подарите нашему родному городу такое же украшение в лице прекрасной жены, как ваш отец.

Мать Гейнриха, покраснев, ласково поблагодарила за прекрасную похвалу ее родине и за хорошее мнение об ее соотечественницах; задумчивый Гейнрих тоже слушал с большим вниманием и удовольствием рассказы о стране, с которой ему предстояло познакомиться.

— Хотя, — продолжали купцы, — вы и не намерены продолжать профессию вашего отца, предпочитая, как мы слышали, ученые занятия, все же, ведь, вам нет надобности сделаться священником и отказаться от величайших земных наслаждений. Очень печально, что наука сделалась достоянием сословия, столь чуждого мирской жизни. Печально и то, что князя окружены такими необщительными и незнающими жизни людьми. Они живут в одиночестве, не принимая участия в ходе мирских дел, и мысли их поэтому уклоняются в сторону и не соответствуют действительности. В Швабии вы встретите истинно умных и знающих людей среди мирян, и какую бы вы ни выбрали область человеческих знаний, у вас не будет недостатка в наилучших учителях и советчиках.

Помолчав, Гейнрих, которому вспомнился при этих словах его друг, придворный капеллан, сказал: — Хотя, при моем незнании жизни, я и не могу спорить с вами относительно непригодности духовных лиц к пониманию мирских дел, все же позвольте мне напомнить вам о нашем почтенном придворном капеллане. Он-то уж несомненно образец мудрого человека и его поучения и советы останутся для меня незабвенными.

— Мы от всей души почитаем этого прекрасного человека, — ответили купцы, — но все же можем согласиться с вами в том, что он мудрый человек, лишь поскольку вы говорите о мудрости богоугодной жизни. Если же вы его считаете столь же умным в житейском смысле, насколько он сведущ и опытен в деле спасения души, то позвольте нам быть другого мнения. Но мы полагаем, что это нисколько не умаляет заслуживающих всякой похвалы достоинств святого мужа; он только слишком погружен в мысли о небесном, чтобы понимать еще кроме того и земные дела.

— Но мне кажется, — возразил Гейнрих, — что это высшее знание помогает беспристрастно управлять человеческими делами. Такая детская непосредственная простота может вернее провести через лабиринт человеческих дел, чем разум, ограниченный, вводимый в заблуждение корыстными побуждениями, ослепленный неисчерпаемым числом новых случайностей и запутанных обстоятельств. Не знаю, прав ли я, но я вижу два пути, ведущие к пониманию истории человека. Один путь, трудный и необозримо-далекий, с бесчисленными изгибами — путь опыта; другой, совершаемый как бы одним прыжком — путь внутреннего созерцания. Тот, кто идет по первому пути, должен выводить одно из другого, дела длинные подсчеты, а кто идет по другому — постигает непосредственно сущность каждого события, каждого явления, созерцает его во всех его живых разнообразных соотношениях и может легко сравнить его со всеми другими, как фигуры, начертанные на доске. Простите, если я говорю точно из детских снов; только вера в вашу доброту и воспоминание об учителе, указавшем мне издавелека на второй путь, как на свой собственный, придает смелость моим речам.

— Мы охотно сознаемся, — сказали добродушные купцы, — что не можем следить за ходом ваших мыслей: все же нам приятно, что вы с такой теплотой вспоминаете о вашем прекрасном учителе и так хорошо, по-видимому, усвоили его учение. Нам представляется, что у вас есть предрасположение к тому, чтобы сделаться поэтом. Вы так свободно говорите о явлениях вашей душевной жизни и у вас нет недостатка в изысканных выражениях и подходящих сравнениях. Вы также склонны к чудесному, а это стихия поэтов.

— Не знаю, — сказал Гейнрих, — как это случилось; я уже часто слышал про поэтов и певцов, но никогда ни одного не видал. Я даже не могу составить себе ясного представления об их удивительном искусстве, а все же у меня есть страстное желание узнать что-нибудь о нем. Мне кажется, я бы тогда яснее понял многое, о чем теперь лишь смутно догадываюсь. О стихах мне часто говорили, но я никогда не видел ни одного стихотворения, и мой учитель никогда не имел случая изучить поэзию. Все, что он мне об этом говорил, было для меня не ясно. Но он всегда утверждал, что поэзия благородное искусство, которому я бы весь отдался, если бы когда-нибудь постиг его. В старые времена, по его словам, оно было гораздо более распространено и всякий кое-что знал о нем, причем больше один от другого. Мой учитель говорил также, что поэзия была сестрой других исчезнувших ныне дивных искусств, что поэты отмечены высокой милостью неба и потому, вдохновляемые невидимой близостью божества, могут в чарующих звуках возвещать на земле небесную мудрость.

Купцы сказали на это: — Мы, правда, никогда не интересовались тайнами поэтов, но все же слушали с удовольствием их песни. Быть может, верно, что нужно особое расположение светил для того, чтобы родился на свет поэт, ибо, действительно, искусство это чрезвычайно своеобразное. Все другие искусства очень отличны от поэзии и все они гораздо более понятны. То, что создают живописцы и музыканты, виднее; их искусству можно научиться при условии прилежания и терпения. Звуки заключены уже в струнах, и нужна только беглая рука, чтобы приводить их в движение и извлекать из них звуки в красивом сочетании. В живописи великолепнейшим учителем является сама природа. Она создает бесчисленные, прекрасные и изумительные облики, дает краски, свет и тени, так что достаточно умелая рука, верный глаз и умение приготовить и смешивать краски дают возможность в совершенстве воспроизводить природу. Вполне понятна поэтому привлекательность этих искусств, любовь к художественным произведениям. Пение соловья, свист ветра и прелесть красок, игра света, прекрасные существа нравятся нам, приятно волнуя наши чувства. И так как наши чувства таковы, потому что такими их создала природа, создавшая и все другое, то и воспроизведение природы в искусстве тоже должно нам нравиться.

Природа хочет сама ощутить свое великое мастерство и поэтому она претворилась в людей и, таким образом, созерцает в них свое величие, отделяет от предметов их приятность и обаяние и создает и то и другое отдельно, для того, чтобы различнейшим образом всюду и всегда им наслаждаться. Поэзия же, напротив того, не создает ничего внешне осязательного. Кроме того, она не производит ничего руками или внешними орудиями. Зрение и слух не воспринимают поэзию, ибо слышать слова не значит еще испытывать чары этого таинственного искусства. Оно все сосредоточено внутри. Подобно тому, как в других искусствах художники доставляют приятные ощущения внешним чувствам, поэт наполняет новыми, дивными и приятными мыслями святыню души. Он умеет пробуждать в нас по желанию тайные силы и открывает нам через посредство слов неведомый обаятельный мир. Точно из глубоких пещер поднимаются минувшие и грядущие времена, предстают перед нами бесчисленные люди, дивные местности и самые странные события, отрывая нас от знакомой действительности. Мы слышим неведомые слова и все же знаем, что они должны означать. Изречения поэта имеют волшебную силу, и самые простые слова выливаются в прекрасные звуки и опьяняют очарованного слушателя.

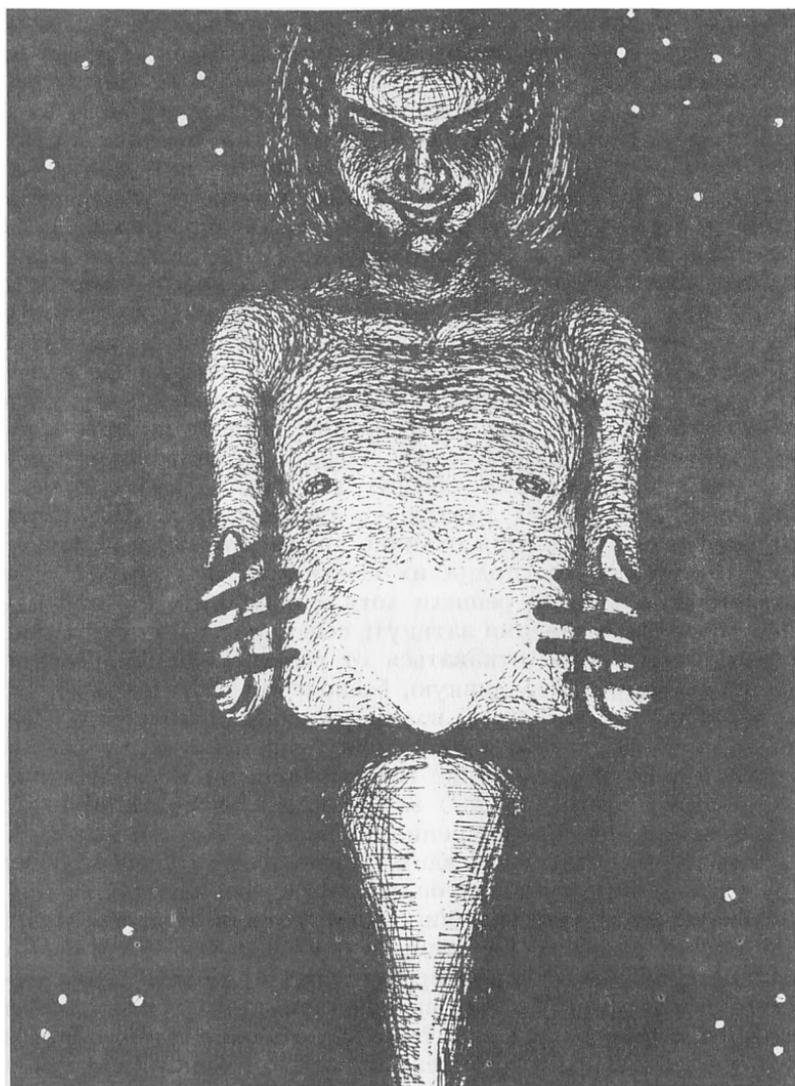
— Вы превращаете мое любопытство в пламенное нетерпение, — сказал Гейнрих. — Расскажите мне, прошу вас, о всех певцах, которых вы слышали. Мне хотелось бы без конца слушать

про этих особенных людей. Мне вдруг показалось, что я уже когда-то, в самой ранней юности, слышал про них, но я не могу ничего вспомнить. То, что вы говорите, мне чрезвычайно ясно и знакомо, и вы доставляете мне необычайное удовольствие вашими прекрасными описаниями.

— Нам самим приятно вспомнить, — продолжали купцы, — о многих часах, проведенных в Италии, во Франции и в Швабии в обществе певцов, и мы рады, что вы с таким интересом внимаете нам.

Когда путешествуешь в горах, беседа становится вдвойне приятной, и время летит незаметно. Может быть, вас займут несколько интересных рассказов про певцов, которые мы слышали во время путешествий. О том, что нам пели певцы, мы можем мало сказать, потому что радость и возбуждение минуты мешают все запомнить, а, кроме того, постоянные торговые дела тоже стерли многое, что осталось в памяти.

В старые времена вся природа была, вероятно, более живой и восприимчивой, чем в наше время. Многие, что теперь, кажется, едва замечают даже звери и что чувствуют и с наслаждением воспринимают только люди, в то время ощущалось даже бездушными предметами; поэтому люди, обладавшие высоким художественным даром, создавали тогда много такого, что нам теперь кажется невероятным и сказочным. Так, в древние времена, в пределах теперешнего греческого государства, как нам рассказывали путешественники, слышавшие еще там эти предания в простом народе, были поэты, пробуждавшие дивными звуками волшебных инструментов тайную жизнь лесов, духов, спрятанных в стволах деревьев; они оживляли мертвые семена растений в диких местностях и создавали там цветущие сады, укрощали зверей, смягчали нравы дикарей, вызывали в них кроткие чувства, насаждали мирные искусства, превращали стремительные потоки в тихие воды и даже увлекали мертвые камни в стройные движения мерного танца. Говорят, они были одновременно прорицателями и жрецами, законодателями и врачами: своим волшебством они вызывали высшие существа, которые открывали им тайны грядущего, гармонию и естественный строй всего земного, а также свойства и целебные силы чисел, растений и всех существ. С тех пор, как гласит предание, и возникло разнообразие звуков, а также странные влечения и сочетания в природе: до того все было дико, беспорядочно и враждебно. Странно только то, что хотя прекрасные следы этого и остались на память о благодетелях человеческого рода, но самое их искусство или же тонкое чутье природы утратились. В те времена случилось однажды, что один из этих удивительных поэтов или музыкантов — в сущности музыка и поэзия одно и то же и так же связаны, как рот и уши, так как



рот только подвижное и отвечающее ухо — собрался ехать за море в чужую страну; у него было множество драгоценностей и прекрасных вещей, которые люди дарили ему из благодарности. Он увидел у берега корабль, владельцы которого выказывали готовность повезти его туда, куда он желал, за предложенную им плату. Но блеск и красота его сокровищ вскоре возбудили их жадность; они уговорились между собой выбросить певца в море, а затем разделить между собой его имущество. Выйдя в море, они напали на него и сказали, что ему предстоит смерть, так как они решили бросить его в воду. Он стал трогательно просить их о пощаде, предложил им в качестве выкупа свои сокровища и предсказал им большое несчастье, если они выполнят свое намерение. Но ни то, ни другое не подействовало на них; они боялись, что он потом выдаст тайну их злодейского умысла. Увидев, что они так твердо стоят на своем, он попросил их позволить ему, по крайней мере, сыграть и спеть перед смертью свою лебединую песню и обещал им после того добровольно броситься в море на их глазах, со своим простым деревянным инструментом в руках. Они отлично знали, что если услышат его волшебную песню, то сердца их смягчатся, и души их охватит раскаяние; поэтому они решили хотя и исполнить его последнюю просьбу, но во время пения заткнуть себе уши, чтобы не услышать звука его голоса и не отказаться от своего решения. Так все и произошло. Певец запел дивную, бесконечно трогательную песню. Весь корабль вторил ему, волны звучали, солнце и звезды появились вместе на небе, а из зеленых вод вынырнули пляшущие стаи рыб и морских чудовищ. Только люди на корабле стояли с враждебными лицами, крепко заткнув уши, и ожидали с нетерпением конца песни. Вскоре пение кончилось. Тогда певец с ясным челом прыгнул в темную бездну, держа в руке свой волшебный инструмент. Но едва только он коснулся сверкающих волн, как тотчас же под ним очутилась широкая спина одного из благодарных ему за песни морских чудовищ, и оно уплыло, умчав на себе изумленного певца. В скором времени оно примчалось его к берегу, куда он направлялся, и мягко вынесло его на прибрежный камыш. Певец спел своему спасителю радостную песню в знак благодарности и ушел. Несколько времени спустя, он ходил однажды один по морскому берегу и стал изливать в сладостных звуках свою печаль об утраченных сокровищах, столь дорогих ему, как память о счастливых часах и как знаки любви и благодарности. В то время, как он пел, среди моря вдруг появился его старый друг и, радостно приблизившись к берегу, выкинул на песок из пасти похищенные сокровища. После того, как певец прыгнул в море, начался дележ оставленных им сокровищ; дележ этот привел к спорам и кончился кровопролитной свалкой, стоившей жизни

большинству спорщиков; те немногие, которые остались в живых, не умели управлять кораблем, и он скоро стукнулся о берег, разбился и пошел ко дну. Моряки едва спасли свою жизнь и вернулись на берег с пустыми руками и в разорванном платье; таким образом, при помощи благодарного морского животного, нашедшего сокровища на дне морском, они вернулись в руки прежнего владельца.



ГЛАВА ТРЕТЬЯ

— Другой рассказ, — продолжали купцы, помолчав, — не такой чудесный и относится к более позднему времени; но и он вам, быть может, понравится и еще ближе познакомит вас с могуществом дивного искусства. Некий старый король жил с большой пышностью. Со всех сторон к его двору стекались люди, чтобы разделить великолепие его жизни; на ежедневных празднествах не было недостатка в обильных яствах, в музыке, в дивном убранстве и одеждах, в тысяче разнообразных зрелищ и увеселений, а также в умных, приятных и ученых людях для беседы и развлечения, в красивых, обаятельных юношах и девушках, составляющих всегда душу приятных пиршеств. У старого короля, строгого и сурового по природе, было два влечения, побуждавших его содержать пышный двор и так прекрасно устроить его. Одним влечением его была нежность к дочери, бесконечно дорогой ему, как память о рано умершей жене, а также потому, что она была невыразимо прекрасна; он бы охотно отдал все сокровища природы и всю силу человеческого духа, чтобы создать ей рай на земле. Другим влечением была его страстная любовь к поэзии и ее творцам. Он с юности с глубоким наслаждением читал произведения поэтов, потратил много усердия и большие деньги на то, чтобы собрать их произведения на всех языках, и всегда выше всего ценил общество певцов. Он привлекал их к своему двору отовсюду и осыпал их почестями. Он готов был непрерывно слушать их песни и часто забывал самые важные дела и даже еду и питье ради новой увлекательной песни. Дочь его выросла среди песен, и вся ее душа была нежной песнью, выражением одной лишь скорби и тоски. Благотворное влияние певцов, пользовавшихся почетом и покровительством, сказывалось во всей стране и, в особенности, при дворе. Жизнь наслаждались медленными, маленькими глотками, как очаровательным питьем, и с тем более чистой радостью, что все низменные злые страсти рассеивались от звуков нежного, гармонического настроения, царившего во всех душах. Душевное спокойствие и блаженное внутреннее созерцание самобытно созданного счастливого мира сделались достоянием этого дивного времени, и о распрах го-

ворилось только в старинных поэтических сказаниях, как о существовавших встарь врагах человечества. Духи песнопения дали, казалось, своему покровителю очаровательнейший знак своей благодарности в лице его дочери, обладавшей всем, что самое нежное воображение может соединить в прелестном образе девушки. На прекрасных пирах она появлялась, окруженная милыми подругами, в сверкающем белом платье, слушала с глубоким вниманием пение вдохновенных певцов во время поэтических состязаний и, краснея, возлагала благоуханный венок на кудри счастливец, песня которого одерживала победу. В эти минуты она казалась воплотившейся душой дивного искусства, созидающего волшебные звуки и, глядя на нее, переставали удивляться восторгам и песням поэтов.

Но над этим земным раем витала таинственная судьба. Единственное, что заботило все население, было замужество юной принцессы; от него зависело продление блаженства и судьба всей страны. Король становился все более старым. Он сам был сильно озабочен, и все же не было никаких видов на такое замужество принцессы, которое могло бы всех удовлетворить. Священное благоговение перед королевским домом не позволяло никому из подданных даже мечтать об обладании принцессой. На нее смотрели, как на существо неземное, и все чужеземные принцы, которые появлялись при дворе с притязаниями на ее руку, казались неизмеримо ниже ее; никому даже в голову не приходило, что принцесса или король могут обратить взор на кого-нибудь из них. Сознание своего ничтожества постепенно отпугнуло всех прежних претендентов, и слухи о непреклонной гордости королевской семьи отнимали и у новых охоту подвергнуться унижениям. Эти слухи имели некоторое основание. При всей своей кротости, король почти невольно уверовал в свое величие, и мысль о браке дочери с человеком более низкого и темного происхождения была для него нестерпима. Ее исключительно высокие качества все более и более укрепляли в нем эти чувства. Он происходил от древних восточных царей. Жена его была последней в знаменитом роде героя Рустана. Певцы короля неустанно пели ему про его родство с прежними сверхчеловеческими властителями мира, и в волшебном зеркале поэзии превосходство его над всеми другими людьми и величие его рода представлялись ему еще более ярко; ему казалось, что он связан с остальным человечеством только через посредство более благородного сословия певцов. Он тщетно искал второго Рустана и печалился, так как чувствовал, что сердце его расцветающей дочери, интересы государства и его старость делают ее брак во всех отношениях чрезвычайно желательным.

Не далеко от столицы жил в уединенном поместье старик, который всецело занят был воспитанием своего единственного

сына и, кроме того, лечил сельское население в случаях тяжких болезней. Его сын был вдумчивого нрава и предавался изучению природы; отец руководил занятиями сына с его детских лет. Старик за несколько лет до того приехал издалека в этот мирный цветущий край и тихо наслаждался благотворным миром, водворенным заботами короля. Он пользовался тишиной для изучения сил природы и передавал свои увлекательные знания сыну, который выказывал большой интерес к ним; его глубокой душе природа охотно доверяла свои тайны. Лицо юноши казалось обыкновенным и незначительным тем, кто не умел подмечать высшим чутьем сокровенное в очертаниях его благородного лица и в необычайной ясности глаз. Но чем дольше на него смотрели, тем он казался привлекательнее, и трудно было оторваться от беседы с ним, слыша его нежный проникновенный голос и его очаровательные речи. Однажды принцесса, сады которой примыкали к лесу, окружавшему поместью старика в маленькой долине, поехала одна верхом в лес, чтобы свободно отдаться своим мечтам, повторяя про себя прекрасные песни. Прохлада высокого леса увлекала ее все дальше в тенистую глубину, и наконец, она приехала в поместье, где жил старик с сыном. Ей захотелось выпить молока; она сошла с лошади, привязала ее к дереву и вошла в дом попросить глоток молока. Сын старика, увидев ее, почти испугался волшебного явления величественной девушки, украшенной всеми чарами юности и красоты и почти обожествленной неопишимо-чарующей прозрачностью нежной, невинной и благородной души. Он выбежал из комнаты, спеша выполнить ее просьбу, звучавшую как пение духов; старик же со скромной почтительностью подошел к ней и пригласил ее сесть у простого очага, расположенного по середине комнаты; легкое голубое пламя бесшумно поднималось вверх из глубины очага. Ее с первого взгляда поразила комната, украшенная множеством редких предметов, чистота и порядок в доме, а также удивительная святость во всем; это впечатление еще усилилось при виде почтенного старца в простой одежде и его скромного, благовоспитанного сына. Старик сразу признал в ней, по ее роскошной одежде и благородной осанке, особу, имеющую отношение ко двору. Пока сына не было в комнате, она стала расспрашивать старика о некоторых достопримечательностях, которые более всего бросились ей в глаза, в особенности, о нескольких странных старинных изображениях, стоявших рядом с ее стулом у очага; он с готовностью дал ей увлекательные объяснения. Сын вскоре вернулся с кувшином свежего молока и передал ей его непринужденно и вместе с тем почтительно. После приятной беседы с отцом и с сыном она поблагодарила их за гостеприимство и, краснея, попросила у старика дозволения побывать у них снова, чтобы насладиться его поучительными речами

о стольких замечательных предметах. Потом она села на лошадь и уехала домой, не выдав себя, когда убедилась, что отец и сын не знают ее. Несмотря на близость столицы, оба они так ушли в работу, что избегали общения с людьми; у юноши никогда не являлось поэтному желанию побывать на придворных празднествах. К тому же он никогда не оставлял отца более, чем на час, когда уходил побродить по лесу в поисках бабочек, жуков и растений, и внимал внушениям тихого духа природы через посредство его разнообразных внешних проявлений. Для старика, для принцессы и для юноши простое происшествие приобрело одинаково большое значение. Старик сразу заметил, какое глубокое впечатление незнакомка произвела на его сына, и он достаточно его знал, чтобы понять, что всякое глубокое впечатление останется в душе его на всю жизнь. Его молодость и нетронутость должны были претворить первое ощущение такого рода в непреодолимое чувство. Старик уже давно ждал такого события. Благородная прелесть незнакомки невольно внушала ему симпатию, и его доверчивая душа не тревожилась о дальнейшем развитии странного происшествия. Принцесса никогда еще не испытывала такого состояния, как то, в котором медленно возвращалась домой. Она была во власти смутного, странно-колеблющегося впечатления от нового мира, и это не давало возникнуть никакой определенной мысли. Волшебное покрывало окутывало широкими складками ее ясное сознание. У нее было такое чувство, точно она очутилась бы в неземном мире, если бы покрывало откинулось. Воспоминание о поэзии, которая до того занимала всю ее душу, превратилось в далекую песню, соединявшую ее странно-очаровательную грезу с минувшими временами. Когда она вернулась во дворец, она почти испугалась его великолепия и пестрой суеты; и еще более устало ее приветствие отца, лицо которого, впервые в ее жизни, внушило ей благоговение и робость. Ей показались необходимым молчать о своем приключении. Все достаточно привыкли к ее грезам, к ее глубоко-задумчивому взгляду, чтобы увидеть в нем что-либо необычное. Ее прежнее веселое настроение исчезло; ей казалось, что она окружена чужими. Станный страх охватил ее душу и длился до вечера. Тогда только ее утешила, навеяв счастливые грезы, радостная песня одного поэта, который превозносил надежду и увлекательно пел о чудесах веры в исполнение желаний.

Юноша тотчас же после ее ухода ушел в чащу леса. Держась края дороги, он последовал за нею через кусты до ворот в парк и потом вернулся по дороге. Вдруг он увидел, что у ног его что-то ярко сверкнуло. Он наклонился и поднял темно-красный камень, который с одной стороны сверкал необычайным блеском; на другой его стороне вырезаны были непонятные знаки. Он увидел, что это драгоценный карбункул, и ему как будто вспомнилось, что

камень этот был у незнакомки посредине ее ожерелья. Он поспешил окрыленным шагом домой, точно надеясь, что она еще там, и принес камень отцу. Они решили, что сын на следующее же утро пойдет обратно по дороге и будет ждать, не ищут ли камень, и тогда его отдаст. Если же этого не случится, то они решили подождать вторичного посещения незнакомки, чтобы вручить камень ей самой. Юноша совершал карбункул почти целую ночь и под утро ощутил неотразимое желание написать несколько слов на бумажке, в которую он завернул камень. Он сам в точности не знал, что представлял себе и о чем думал, когда писал следующие слова:

В его крови, сияющей и знойной,
Загадочные вижу письмена.
Не так ли в сердце вечен лик спокойный
И ты, безвестная, отражена?
Из камня брызжет искр поток нестройный,
Во мне лучей колеблется волна.
Из камня к свету скрытый свет струится.
Не сердце ль сердца и во мне таится?

Едва наступило утро, как он отправился в путь и поспешил к воротам сада.

Тем временем принцесса заметила, раздеваясь на ночь, потерю дорогого камня из ожерелья. Карбункул был ей дорог, как память о матери, а также как талисман. Обладание им обеспечивало ей свободу, так как, нося его, она знала, что никогда не подпадет под чужую власть против своей воли.

Потеря камня скорее удивила, чем испугала ее. Она помнила, что камень был на ней, когда она выехала из дому, и была твердо уверена, что потеряла его или в доме старика, или на обратном пути в лесу; она еще ясно помнила дорогу и решила с самого утра пойти искать камень. Эта мысль привела ее в радостное расположение духа; можно было подумать, что потеря совершенно не огорчала ее, так как была предлогом тотчас же снова проделать тот же путь. Когда наступило утро, она пошла через сад в лес, и так как шла скорее обыкновенного, то ее ничуть не удивило, что сердце у нее сильно билось и теснило грудь. Солнце только что стало золотить верхушки старых деревьев; они тихо шелестели и точно будили друг друга от ночных грез, чтобы вместе приветствовать солнце. Принцесса услышала издали шум, взглянула на дорогу и увидела спешившего к ней навстречу юношу, который в ту же минуту заметил ее.

Он на минуту остановился, как вкопанный, и стал глядеть на нее, не отводя глаз, точно хотел убедиться, что это действительно

она перед ним, что появление ее не обман чувств. Они приветствовали друг друга с сдержанным выражением радости, точно давно знали и любили друг друга. Еще прежде, чем принцесса успела объяснить ему причину своей ранней прогулки, он, краснея и с сильно бьющимся сердцем, передал ей драгоценный камень, завернутый в исписанную бумажку. Можно было подумать, что принцесса угадала внутренним чутьем содержание стихов. Она молча взяла бумажку дрожащей рукой и в награду за находку, почти не отдавая себе отчета в том, что делает, надела на юношу золотую цепочку, которую носила на шее. Он смущенно опустил перед нею на колени, и когда она осведомилась о его отце, он долгое время не мог найти слов для ответа. Она сказала ему тихим голосом, опустив глаза, что вскоре опять будет у них и с большой радостью воспользуется готовностью отца познакомить ее со своими редкостями.

Она еще раз поблагодарила юношу с необычайной сердечностью и затем медленно, не оборачиваясь, пошла назад. Юноша не в силах был проговорить ни слова. Он почтительно поклонился и долго глядел ей вслед, пока она не исчезла за деревьями. Немного дней спустя она вторично приехала к старику, а за этим вторым посещением последовали дальнейшие. Юноша незаметным образом сделался ее постоянным провожатым. Он в определенные часы приходил за нею к саду и провожал ее туда обратно. Она хранила ненарушимое молчание относительно того, кто она, хотя в остальном настолько доверялась своему спутнику, что вскоре ни одна мысль ее небесной души не оставалась для него тайной. Ее высокое происхождение точно внушало ей самый тайный страх. Юноша тоже открывал ей всю свою душу. Отец и сын считали ее знатной молодой девушкой придворного круга. Она привязалась к старику, как нежная дочь. Ее ласковое обращение с ним было очаровательным предвестником нежности к юноше. Она вскоре сроднилась с очаровательным домом и пела под звуки лютни своим небесным голосом дивные песни старику и сыну, сидевшему у ее ног, а затем обучала сына этому обаятельному искусству; после того она, в свою очередь, внимала его вдохновенным объяснениям мировых тайн. Он рассказывал ей, как создался мир, благодаря чудесным влечениям, и как светила соединялись в звучные хороводы. Доисторические времена воскресали в ее душе через посредство его священных повествований, и она приходила в восторг, когда ученик ее, охваченный мощным вдохновением, брал в руки лютню и с невообразимой понятливостью начинал петь дивные песни. Однажды, когда юноша провожал принцессу домой, душа его поддалась особенно смелому порыву, а мощная любовь победила ее девичью сдержанность; оба они, сами не зная как, упали друг другу в объятия, и первый пламенный поцелуй

соединил их навеки. В это время, с наступлением сумерек, поднялась вдруг сильная буря в вершинах деревьев. Грозные тучи надвинулись на них и окутали глубокой ночной темнотой. Он торопился укрыть свою спутницу от страшной непогоды, от вырываемых ветром деревьев, но заблудился среди ночного мрака в тревоге за свою возлюбленную и углублялся все дальше и дальше в лес. Страх его усилился, когда он заметил свою ошибку. Принцесса представляла себе испуг короля и всего двора; невыразимый ужас пронизывал время от времени разрушительным лучем ее душу и только голос возлюбленного, неустанно твердившего ей слова утешения, возвращал ей мужество и облегчал стесненную грудь. Буря не прекращалась; все старания найти дорогу были тщетны, и они обрадовались, когда при вспыхнувшем свете молнии открыли по близости пещеру на крутом склоне лесистого холма; там они надеялись укрыться от бушующей непогоды и найти отдых истощенным силам. Счастье благоприятствовало их желаниям. Пещера была сухая и обросшая чистым мохом. Юноша быстро зажег костер из хвороста и моха, и они могли обсушиться у огня. Влюбленные очутились отрезанными от мира, спасенными от опасности и расположились на удобном теплом ложе.

Дикий миндальный куст, отягченный плодами, свешивался в самую пещеру и, услышав журчание ручья по близости, они вскоре нашли свежую воду для утоления жажды. Лютню юноша взял с собой и она доставила им теперь ободряющее, успокоительное развлечение у потрескивающего огня. Казалось, высшая сила захотела поскорее распутать узел и свела их в этой романтической обстановке. Невинность их сердец, волшебное настроение душ и неотразимая власть сладостной страсти и юности опьяняла их; они вскоре забыли мир и все свои отношения к нему и при свадебном пении грозы и брачных факелах молнии погрузились в сладчайшее упоение, какое когда-либо охватывало смертную чету. С наступлением светлого голубого утра они проснулись в новом блаженном мире. Но поток горячих слез, который вскоре полился из глаз принцессы, выдал ее возлюбленному пробуждающую тревогу ее сердца. Он стал в эту ночь старше на много лет, сделался из юноши взрослым мужем. Охваченный беспредельным воодушевлением, он начал утешать свою возлюбленную, говоря о святости истинной любви, о высоком доверии, которое она внушает, и стал ее просить, чтобы она твердо ждала самого радостного будущего от гения-хранителя ее сердца. Принцесса почувствовала истину его утешающих слов и открыла ему, что она дочь короля и что она страшится горя и оскорбленной гордости ее отца. После долгого обсуждения они пришли к согласному решению, и юноша тотчас же отправился к своему отцу, чтобы

ознакомить его с их намерениями. Он обещал скоро вернуться к ней и покинул ее успокоенной; она погрузилась в сладкие мечты о благополучном исходе событий. Юноша вскоре прибыл в отцовский дом, и старик очень обрадовался, увидав его живым и невредимым. Он узнал историю и намерения любящей четы и, после некоторого размышления, согласился содействовать им. Дом его был укрытый от воров, и в нем существовало несколько подземных комнат, куда нелегко было проникнуть. Их решили предоставить принцессе. В сумерки юноша привел ее, и старик встретил ее, глубоко растроганный. Она потом часто плакала, когда оставалась одна, думая о горе своего отца; но она скрывала свою печаль от возлюбленного и говорила о ней только старику, который ласково утешал ее надеждами на скорое возвращение к отцу.

При дворе началась страшная тревога, когда вечером заметили отсутствие принцессы. Король был вне себя и разослал людей во все стороны искать ее. Никто не мог объяснить себе ее исчезновения. Никому не приходила мысль о какой-нибудь любовной тайне; не предполагали также возможности побега, так как, кроме принцессы, никто не исчез из придворных. Не было ни малейших оснований ни для каких предположений на ее счет. Разосланные гонцы вернулись ни с чем, и король впал в глубокую печаль. Только по вечерам, когда к нему являлись певцы и пели ему прекрасные песни, в нем пробуждалась на минуту прежняя радость; ему казалось, что дочь его по близости, и он снова надеялся увидеть ее. Но когда он оставался один, сердце его разрывалось на части от горя, и он громко плакал. Тогда он думал про себя: — На что мне мое величие и высокое рождение? Все же я несчастнее всех людей на свете. Ничто не может заменить мне мою дочь. Без нее все песни лишь пустые слова и обман чувств. Она была волшебной силой, вливавшей в них жизнь и радость, она облакала их образы и придавала им очарование. Как бы я хотел быть ничтожнейшим из моих слуг. Тогда бы у меня была моя дочь, был бы еще зять и внуки, которых я сажал бы себе на колени. Тогда бы я был действительно королем. Не венец и не державная власть составляют короля, а полное, бьющее через край чувство радости, удовлетворенности земными благами, чувство избытка счастья. Я наказан за свою гордыню. Утрата супруги еще недостаточно меня потрясла, и вот теперь меня постигло беспредельное горе. — Так жаловался на судьбу свою король в часы самого пламенного томления. Иногда же снова проявлялись его прежняя суровость и гордость. Он гневался на себя за свои жалобы и решал переносить печаль, как подобало его высокому положению. Он тогда считал, что должен страдать больше других, что королю приличествует великая скорбь. Но когда наступали сумерки, когда

он входил в комнату дочери и глядел на висевшие там платья и на все ее вещи, оставшиеся стоять по своим местам так, точно она только что вышла из комнаты, он забывал свои намерения, ясно обнаруживал свою печаль и взывал о жалости к ничтожнейшим из своих слуг. Весь город и вся страна плакали и разделяли его скорбь. Но почему-то носился слух, что принцесса жива и вскоре вернется вместе с тем, кто стал ее супругом. Никто не знал, откуда пошел этот слух, но все радостно верили ему и с нетерпением ждали скорого возвращения принцессы. Так прошло несколько месяцев, и снова настала весна. «Вот увидите, — говорили некоторые, — скоро вернется принцесса». Даже король повеселел и стал надеяться. Слух казался ему как бы обетом расположенного к нему providения. Возобновились прежние празднества и для полного расцвета прежнего великолепия недоставало только принцессы. Однажды вечером, когда как раз исполнился год со времени ее исчезновения, весь двор собрался в саду. Воздух был теплый и ясный; тихий ветер шелестел в верхушках старых деревьев и, казалось, возвещал о приближении издалека веселого карнавала. Во мрак шелестящих верхушек поднялась высокая струя фонтана среди множества факелов с бесчисленными огнями и сопровождала звучным журчанием песни, раздававшейся под деревьями. Король сидел на пышном ковре, и вокруг него собрался двор в праздничных одеждах. Многочисленная толпа наполняла сад и окружала величественное зрелище. Король глубоко погрузился в мысли. Ему представился с необычайной ясностью образ его дочери; он вспоминал счастливые дни, внезапно оборвавшиеся ровно за год перед тем. Пламенная тоска охватила его и обильные слезы потекли по старым щекам; но он ощущал вместе с тем необычайную радость. Ему казалось, что печальный год был только тяжелым сном, и он поднял глаза, как бы отыскивая среди людей и деревьев высокий, священный, обаятельный образ дочери. Певцы только что кончили свои песни, и глубокая тишина казалась знаком общей умиленности, ибо певцы воспевали радость свидания после разлуки, весну и будущее в тех красках, которыми украшает его надежда.

Вдруг тишину прервали звуки незнакомого прекрасного голоса, который раздался точно из древнего дуба по близости. Все взгляды направились туда; там стоял юноша в простой, но чужеземной одежде. Он держал в руке лютню и спокойно продолжал петь, низко поклонившись, когда король обратил взгляд в его сторону. Голос его был необычайно прекрасен, и пение звучало неведомым очарованием. Он пел о начале мира, о происхождении звезд, растений, животных и людей, о всемогущем участии природы, о древнем золотом веке и о владычествах его, любви и поэзии, о возникновении ненависти и варварства и об их распри с этими

добрыми богинями и, наконец, о грядущем торжестве последних, о конце печали, об обновлении природы и о том, что вернется вечный золотой век. Старые певцы, сами охваченные восторгом, обступили во время пения странного незнакомца. Небывалое восхищение преисполнило зрителей, и самому королю казалось, что его куда-то уносит небесный поток. Такой песни никто никогда еще не слышал, и всем казалось, что среди них появилось небесное создание, тем более, что юноша как бы становился во время пения все более прекрасным, а голос его все более мощным. Воздух играл его золотыми кудрями. Лютня оживала в его руках, и взор его погружался, точно опьяненный, в более таинственный мир. Детская невинность и чистота его лица тоже казались неземными. Но вот дивное пение кончилось. Старые певцы прижимали юношу со слезами радости к груди. Тихий, глубокий восторг охватил присутствующих. Король взволнованно подошел к певцу. Юноша скромно упал к его ногам. Король его поднял, сердечно обнял его и сказал, чтобы он сам себе назначил награду. У него вспыхнуло лицо, и он попросил короля выслушать еще одну песню и тогда ответить на просьбу. Король отступил на несколько шагов и чужеземец начал:

«Пути певца — труды без счета,
Он платье о терновник рвет,
Проходит реки и болота,
И помощь — кто ему пошлет?
Все безнадежней, бесприютней
Певца усталая мольба.
Еще не растает с лютней,
Но тяжела ему борьба.

Мне грустный был назначен жребий,
Пустынна вокруг меня земля,
Я всем пою о светлом небе,
Ни с кем веселья не деля.
Своим уделом весел каждый
И жизни рад — через меня;
Но жалок дар их: встречной жаждой
Не примут моего огня.

Легко со мною разлученье,
Как с маем, улетевшим вдаль;
Когда он тает в отдаленье,
Кому растаявшего жаль?
Они просили только хлеба —
А знать, кто сеял — нужды нет;

Я в песнях сотворил им небо —
В молитве их найду ль ответ?

Я чувствую: волшебной властью
Окрепли слабые уста.
Ах, отчего их дивной страстью
Любви не окрылит мечта?
Не вспомнит ни одна о бедном
Пришельце из чужой страны;
К его молениям бесследным
Сердца, как раньше, холодны.

Он падает в густые травы,
В слезах пытается заснуть;
Но гений песен величавый
В стесненную нисходит грудь:
Забудь, забудь, что ты унижен,
Не вечны слезы на лице,
Чего в стенах не встретил хижин,
Тебе предстанет во дворце.

Конец томленьям и урону,
Судьба нежданная близка.
Венок из мирта, как корону,
Наденет верная рука.
К престолу славы властным словом,
Счастливый, призван ты один;
Певец по ступеням суровым
Взошел, как королевский сын».

Когда он дошел до этого места в своей песне, присутствующих охватило странное волнение, ибо при последних строфах вдруг появились и стали за певцом никому неизвестные старик и рядом с ним закутанная в покрывало женщина высокого роста, с дивным младенцем на руках. Ребенок ласково глядел на чужих людей и с улыбкой тянулся маленькими ручками к сверкающему венцу короля. Но общее изумление возросло еще более, когда вдруг с верхушек старых деревьев слетел любимый орел короля, постоянно находившийся при нем; он держал в клюве золотую головную повязь, которую он, по-видимому, похитил из комнат короля. Орел спустился на голову юноши, и повязь обвилась вокруг кудрей чужеземца, в первую минуту испугавшегося. Орел отлетел к королю, оставив повязь. Юноша передал ее ребенку, потянувшемуся за нею, и продолжал растроганным голосом свою песню:

«Певец, от грезы пробужденный,
В волнение ринулся вперед,
Листвой зеленой осененный,
К порогу царственных ворот.
Блистают стены крепкой сталью,
Их песня победит шутя.
К нему с любовью и печалью
Стремится царское дитя.

Любовь их сводит тесно вместе,
Но гонит вдаль бряцанье брони;
Они таятся в мирном месте,
Их мучит сладостный огонь.
И оба, скрытые укромно,
Страшатся гнева короля,
Всегда — зарей и ночью темной —
Вдвоем восторг и боль деля.

И о надежде непрерывно
Поет над матерью певец,
И, привлеченный песней дивной
Приходит к ним король-отец.
И дочь протягивает внука,
Младенца в золотых кудрях;
Испуг, раскаянье и мука
Их вдруг повергнули во прах.

И нежностью душа родная
И звуком песен смягчена,
Зовет, страданья забывая,
К блаженству вечному она.
Любви настало искупленье,
Она свой давний платит долг,
И в поцелуях примиренья
Напев небесный не умолк.

Приди же, гений песнопений,
И здесь любви не измени,
Дочь возврати родимой сени
И дочери отца верни!
Ее и внука он обнимет,
А если счастьем нет конца,
Он в царственные руки примет,
Как сына милого, певца».

При этих словах, мягко прозвучавших по темным переходам, юноша приподнял дрожащею рукой покрывало, скрывавшее лицо женщины. Принцесса упала, обливаясь слезами, к ногам короля и протянула ему прекрасное дитя. Певец стал на колени рядом с нею и опустил голову. Тревожная тишина захватила у всех дыхание. Король стоял несколько минут с строгим лицом, ничего не говоря; потом он привлек принцессу к своей груди, долго прижимал ее к себе и громко плакал. Затем поднял также юношу и обнял его с глубокой нежностью. Светлое ликование овладело тесно окружившей их толпой. Король взял младенца и благоговейно поднял его к небу; потом он милостиво приветствовал старика. Проливались без числа радостные слезы. Певцы стали петь, и тот вечер сделался священным для всей страны, жизнь которой превратилась с этой поры в дивный праздник. Никто не знает, куда девалась эта страна. В сказаниях только говорится, что Атлантиду скрыли от взоров мощные волны.



ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Несколько дней пути прошли без всяких перерывов. Дорога была твердая и сухая, погода ясная и живительная; места, по которым вел путь, были плодородны, населены и разнообразны. Страшный тюрингенский лес оставался позади; купцы много раз совершали этот путь, имели всюду знакомых и встречали везде самый радушный прием. Они избегали ездить по пустынным местностям, где водились разбойники; а если приходилось непременно проезжать через них, то брали с собой достаточную охрану. Несколько владельцев соседних горных замков были в хороших отношениях с купцами. Купцы их навестили, спрашивая, нет ли у них поручений в Аугсбург. Путников всюду ласково угощали, а жены и дочери с любопытством обступали чужеземцев. Мать Гейнриха вскоре покорила всех своей общительностью и добротой. Всем было приятно познакомиться с женщиной из столичного города, которая охотно рассказывала о новых модах, а также учила готовить разные вкусные блюда. Молодого Офтердингена рыцари и дамы хвалили за его скромность и за непринужденное мягкое обращение. Дамам нравилась его привлекательная внешность, действовавшая на них как простое слово незнакомца, которого сначала почти даже не слышишь, пока оно, уже много времени спустя после его ухода, не начинает все более раскрываться, как невзрачный бутон, превращаясь, наконец, в дивный цветок и сверкая пестротой густо сросшихся лепестков; и потом уже никогда этого слова не забывают; его неустанно повторяют, и оно становится неисчерпаемым сокровищем. Тогда точнее вспоминают про незнакомца, начинают догадываться и, ясно понимают, что он явился из высшего мира. Купцы получили множество поручений и уехали, обменявшись взаимными пожеланиями свидеться вновь в ближайшее время. В одном из замков, куда они прибыли под вечер, было очень весело. Хозяин замка был старый воин, который праздновал и прерывал досуг мирного времени и одиночество своей жизни частыми пирами; кроме шума битв и охоты, он не знал иного времяпрепровождения, как за полной чашей.

Он принял путников с братским радушием, окруженный шумной толпой пирующих. Мать повели к хозяйке дома. Купцов и

Гейнриха усадили за веселый стол, вокруг которого оживленно ходили чаши. Гейнриху после его многократных просьб разрешили, в виду его юности, не участвовать в круговой чаше каждый раз, когда наступал его черед; но купцы зато не ленились и отважно пили старое франконское вино. Речь зашла о былых боях. Гейнрих слушал с большим вниманием новые для него рассказы. Рыцари говорили о святой земле, о чудесах Гроба Господня, о своих походах и своем плавании, о сарацинах, у которых некоторые из них были в плену, о веселой, полной очарования жизни на поле битвы и в лагере. Они возмущались тем, что небесная родина христианской веры все еще находится в дерзновенном владении неверных. Они восхваляли великих героев, заслуживших вечный венец славы отважной и неустанной борьбой против этого нечестивого народа. Владелец замка показывал драгоценный меч, который он собственной рукой отнял у одного из предводителей неверных, завладев его замком, умертвив его и взяв в плен его жену и детей; император разрешил ему носить этот меч в гербе. Все стали рассматривать прекрасный меч; Гейнрих тоже взял его в руку, и им овладела воинственная отвага. Он благоговейно приложился к мечу. Рыцари радовались его сочувствию. Старик обнял юношу, убеждая его навсегда посвятить себя освобождению Гроба Господня и возложить на плечи чудотворный крест. Он был поражен и ему все не хотелось выпускать из рук меч.

— Подумай, сын мой, — воскликнул старый рыцарь. — Предстоит вскоре новый крестовый поход. Сам император поведет наши полчища на восток. По всей Европе снова раздастся призыв креста, и всюду пробуждается геройская благочестивая отвага. Как знать, не будем ли мы сидеть все вместе через год в великом мировом граде Иерусалиме, радуясь победе и поминая отчизну за вином родной страны. У меня в доме живет восточная девушка; я могу показать ее тебе. Они очень привлекательны для нас, западных людей, и если ты хорошо владеешь мечом, то у тебя не будет недостатка в прекрасных пленницах. Рыцари громко запели крестовую песню, которую в то время пели по всей Европе:

«В руках неверных гроб священный,
Спасителя святая сень.
Ее клеймят хулой презренной,
Ее носят каждый день.
Нас заглушенный зов тревожит:
О, кто позор мой уничтожит!

Где рыцарские ополченья?
Христовой веры где оплот?
Кто принесет ей возрожденье?

Кто в наше время крест возьмет
И в ревности о Божьем склепе
Позорные сломает цепи?

Вот по ночным морям и нивам
Идет священная вражда;
Взывает к сонным и ленивым
В поля, в селенья, в города,
Повсюду буря восклицаний:
В поход и к бою, христиане!

И ангелы повсюду зримы,
Их лики немые и грустны,
И у порогов пилигримы
Стоят отчаянья полны;
Всех призраком истомил единый:
Неистовые сарацины.

Заря пылает алой кровью
В краю далеком христиан.
И каждый болью и любовью
И умилением обуян.
Хватают все — и крест, и латы,
Родной очаг покинуть рады.

И все горят, друг с другом споря,
Порывом Божий гроб спасти,
Стекаются на берег моря,
Чтоб путь священный обрести.
И дети прибегают тоже,
Восторженные толпы множа.

Высоко над толпой сияя
Колеблет знамя знак креста.
Вот верные у двери Рая,
Его распахнуты врата;
Все жаждут счастьем насладиться,
За веру смерти причаститься.

Вперед! Господне ополченье
Стремится в даль заветных стран.
Смирят неверных исступленья
Десница Бога христиан.
Мы Божий гроб, добытый боем,
В крови язычников омоем.

И реет Девы лик бессонный
Средь светлых ангелов небес,
И кто упал, мечом сраженный,
В Ее родных руках воскрес.
Она в сияньи и в печали
Склоняется к бряцанью стали.

К святыням! И за битвой битва!
Гуди, глухой могильный зов!
Прощен победой и молитвой
Великий грех земных веков!
Умрет языческая злоба,
И нам в удел — святыня Гроба.

Гейнрих был глубоко потрясен. Гроб Господень представился ему в виде бледного образа благородного юноши, сидящего на большом камне, среди дикой толпы, и подвергающегося страшным истязаниям; ему казалось, что он обращает горестное лицо к кресту, сверкающему в глубине и без конца повторяющемуся в вздымающихся морских волнах.

В эту минуту за Гейнрихом прислала мать; она хотела представить его хозяйке дома. Рыцари были так поглощены питьем и беседой о предстоящем походе, что не заметили как удалился Гейнрих. Он застал свою мать в сердечной беседе со старой доброй хозяйкой замка, которая ласково приветствовала его. Вечер был ясный; солнце спускалось к закату, и Гейнриху, которого тянуло к одиночеству и в золотистую даль, видневшуюся из мрачной залы через узкие глубокие сводчатые окна, разрешили погулять за воротами замка. Он поспешил выйти на воздух. Душа его была в смятении. С высоты старого утеса он увидел прежде всего лесистую долину, через которую мчался поток, приводивший в движение несколько мельниц; шум их колес едва доносился из глубины; далее расстилалась необозримая полоса гор, лесов и долин. От этого вида улеглась его внутренняя тревога. Прошло воинственное возбуждение, и в нем осталось только прозрачное, исполненное образов томление. Он чувствовал, что ему не достает лютни, хотя собственно не знал, какой она имеет вид и какие вызывает звуки. Мирное зрелище дивного вечера погружало его в нежные грезы; цветок его души мелькал перед ним временами, как зарница. Он шел, пробираясь сквозь кусты, и карабкался на мшистые скалы, как вдруг поблизости раздалось из глубины нежное, проникающее в душу женское пение, сопровождаемое волшебными звуками. Он не сомневался, что это звуки лютни; остановившись в глубоком изумлении, он услышал следующую песню, пропетую на ломаном немецком языке:

«Разве сердце на чужбине
Не изнает никогда?
Разве сердцу и доньне
Блещет бледная звезда?
О возврате тщетны грезы.
Катятся ручьями слезы,
Сердце рвется от стыда.

Я б тебя — лишь день свободы! —
Миртом темным оплела!
В радостные хороводы
К резвым сестрам увела,
Я бы в платьях златотканых,
В кольцах ярких и чеканных
Прежней девушкой была!

Много юношей склонялись
Жарким взором предо мной:
Нежные напевы мчались
За вечернею звездой.
Можно ль милому не верить?
Верность и любовь измерить?
До могилы милый — твой.

Здесь к ручьям сквозным и чистым
Наклонен небесный лик,
К волнам знойным и душистым
Утомленный лес приник.
Меж веселыми ветвями,
Меж плодами и цветами
Раздается птичий крик.

Где вы, грезы молодые,
Милая моя страна?
Срублены сады родные,
Башня замка сожжена.
Грозные, как буря в море,
Все смели войска в раздоре,
Рай исчез, и я одна.

Грозные огни взвивались
В воздух неба голубой,
На лихих конях ворвались
В город недруги гурьбой.
Наш отец и братья бьются.

Не вернутся! Не вернутся!
Нас умчали за собой.

Взор туманится печалью;
Родина, родная мать!
Вечно ли за этой далью
О тебе мне горевать?
Если б не ребенок милый,
Я давно нашла бы силы
Цепи жизни разорвать».

Гейнрих услышал рыдание ребенка и чей-то утешающий голос. Он спустился вниз сквозь кусты и увидел сидящую под старым дубом бледную, изможденную девушку. Прекрасное дитя, плача, обвивало ее шею; у нее тоже текли слезы из глаз, и на лугу подле нее лежала лютня. Она несколько испугалась, увидав незнакомого юношу, который приблизился к ней с грустным лицом.

— Вы, верно, слышали мое пение, — ласково сказала она. — Ваше лицо мне кажется знакомым; дайте припомнить. Память моя ослабела, но вид ваш будит во мне странное воспоминание о счастливом времени. О, да! Вы как будто похожи на одного из моих братьев, который еще до нашего несчастья расстался с нами и отправился в Персию к одному знаменитому певцу. Быть может, он еще жив и горестно воспевает несчастье своей семьи. Жаль, что я не помню хоть некоторые из тех дивных песен, которые он оставил нам! Он был благороден и нежен и самой большой радостью была для него его лютня.

Дитя, находившееся при ней, девочка, десяти или двенадцати лет, внимательно смотрела на незнакомого юношу, тесно прижимаясь к груди несчастной Зулеймы. Сердце Гейнриха преисполнилось жалости. Он стал утешать певицу добрыми словами и попросил ее подробнее рассказать ему свою историю. Она охотно исполнила его просьбу. Гейнрих сел против нее и услышал рассказ, часто прерываемый слезами. Более всего при этом прославляла она свою родину и свой народ. Она говорила о благородстве соотечественников, об их чистой, сильной отзывчивости к поэзии жизни, так же как к дивной, таинственной прелести природы. Она описывала романтические красоты плодородных аравийских земель, расположенных наподобие счастливых островов, среди недвижных песчаных пустынь. Они точно убежища для угнетенных и усталых, точно райские селения, полные свежих источников, журчащих среди густых лугов и сверкающих камней вдоль древних роц, населенных пестрыми птицами с звучными голосами, и привлекают разнообразием следов старинного достопримечательного времени.

— Вас бы поразили, — сказала она, — пестрые, светлые, странные письмена и изображения, которые вы увидели бы на древних каменных плитах. Они кажутся такими знакомыми и не без основания так хорошо сохранившимися. О них думаешь и думаешь, кое-что в отдельности начинает казаться понятным, и тем глубже загорается желание постигнуть глубокие соотношения этих древних начертаний. Неведомый дух их необычайно возбуждает работу мысли, и хотя и не находишь желанного, все же делаешь тысячу замечательных открытий в себе, и они придают жизни новый блеск, дают душе надолго плодотворные занятия. Жизнь на издревле населенной земле, уже некогда прославившейся благодаря прилежанию населения, благодаря его работоспособности и любви к труду, имеет особую прелесть. Природа кажется там более человеческой и более понятной; смутные воспоминания, при прозрачности настоящего, отражают картины мира в резких очертаниях; таким образом получается впечатление двойного мира, который теряет тем самым тяжесть и навязанность и становится волшебной поэмой наших чувств. Как знать, не сказывается ли в этом непонятное вмешательство прежнего, незримого теперь населения; быть может, это и тянет людей, в определенное время их пробуждения, из новых мест на старую родину их племени, с таким разрушительным нетерпением побуждая их отдавать кровь и достояние за владение этими землями.

После краткой паузы она продолжала: — Не верьте тому, что вам рассказывали о жестокости моего народа. Нигде с пленными не обходятся более великодушно, и ваши странники, являвшиеся в Иерусалим, встречали там гостеприимный прием; но они не всегда были достойны этого. Большинство из них были негодные, злые люди, которые оскверняли свои паломничества злодеяниями и, правда, претерпевали за это справедливое возмездие. Как спокойно могли бы христиане навещать Гроб Господень, не затеывая страшной ненужной войны, которая всех озлобила, принесла бесконечно много горя и навсегда отделила Восток от Европы. Что в имени владыц? Наши властители свято чтят гроб вашего святого, которого и мы признаем божественным пророком; как прекрасно мог бы его священный гроб стать колыбелью счастливого единения, основой вечных благодетельных союзов!

Среди беседы настал вечер. Спускалась ночь, и месяц показался над влажным лесом в умиротворяющем сиянии. Они стали медленно подниматься к замку; Гейнрих глубоко задумался, его воинственное воодушевление совершенно исчезло. Он видел странное смятение в мире; месяц явил ему лик утешающего созерцателя; он вознес его над неровностями земной поверхности, такими ничтожными, если смотреть на них с высоты, хотя бы они и казались дикими и неприсупными путнику. Зулейма тихо шла

рядом с ним и вела девочку. Гейнрих нес лютню. Он старался оживить у своей спутницы падающую надежду на то, что она снова когда-нибудь вернется на родину; он чувствовал мощное влечение стать ее спасителем, хотя и не знал, как бы он мог это сделать. Казалось, что какая-то особая сила была в его простых словах; Зулейма почувствовала необычайное успокоение и трогательно благодарила его за ласковые слова. Рыцари все еще сидели с кубками в руках, а мать Гейнриха погружена была в беседу о домашнем обиходе. Гейнриху не хотелось вернуться в шумную залу. Он был утомлен и вскоре направился с матерью в отведенный им спальный покой. Он рассказал ей, прежде чем лег спать, обо всем, что с ним произошло, и вскоре заснул, погружаясь в приятные видения. Купцы тоже рано удалились на покой и рано встали на следующее утро. Рыцари еще спали глубоким сном, когда они уехали; но хозяйка нежно попрощалась с ними. Зулейма мало спала; внутренняя радость не давала ей уснуть. Она присутствовала при отъезде путников, кротко и старательно прислуживая им. Когда они прощались, она со слезами принесла свою лютню Гейнриху и трогательно попросила его взять ее с собой на память о Зулейме.

— Это лютня моего брата, — сказала она: — он мне подарил ее на прощанье. Она — единственное достояние, которое я спасла. Вчера она, кажется, вам понравилась, а вы оставляете мне бесценный подарок: сладостную надежду. Примите же этот ничтожный знак моей признательности, и пусть эта лютня будет залогом вашей памяти о бедной Зулейме. Мы, наверное, снова увидимся, и тогда, быть может, я буду более счастливой.

Гейнрих заплакал; он отказался принять столь нужную ей лютню.

— Дайте мне, — сказал он, — золотую повязь с неизвестными буквами, которую вы носите в волосах, если только это не память у вас от ваших родителей или сестер; взамен возьмите покрывало; моя мать охотно вам его уступит.

Она склонилась, наконец, на его просьбы и дала ему повязь, сказав:

— Тут мое имя, начертанное буквами моего родного языка; я сама вышила его на этой повязи в более радостное время. Глядите на нее с добрым чувством и помните, что она в течение долгого скорбного времени связывала мои волосы и поблекла вместе со мною.

Мать Гейнриха взяла покрывало и передала его девушке, прижав ее к себе и со слезами обнимая ее.



ГЛАВА ПЯТАЯ

После нескольких дней пути приехали они в деревню у подножья нескольких остроконечных холмов, разделенных глубокими ложбинами. Местность была плодородная и привлекательная, хотя хребты холмов имели мертвый отталяющийся вид. Гостиница была чистая, хозяева приветливые; много людей — частью путешественники, частью просто пришедшие выпить — сидели за столами и мирно беседовали.

Наши путники присоединились к ним и вмешались в разговоры. Внимание собравшихся устремлено было на старого человека, который сидел у стола в чужеземном платье и охотно отвечал на вопросы, обращенные к нему. Он пришел из чужих стран, осмотрел с утра все окрестности и рассказывал о своем ремесле и о своих открытиях в этот день. Его называли искателем кладов. Он говорил очень скромно о своих знаниях и своем умении, но рассказы его носили отпечаток странности и новизны. Он рассказывал, что он родом из Богемии. С детства его мучило желание узнать, что скрыто в горах, откуда берется вода в источниках и где можно найти золото, серебро и драгоценные камни, так неотразимо влекущие к себе людей. Он часто рассматривал в находившейся поблизости монастырской церкви сверкающие драгоценности на образах и раках с мощами и мечтал о том, чтобы камни заговорили с ним и рассказали о своем таинственном происхождении. Он слышал, что драгоценности привозятся из далеких стран, но всегда думал, что и на родине его должны существовать такие же сокровища. Не напрасно ведь было столько гор вокруг, таких высоких и столь недоступных; ему казалось также иногда, что он видел в горах блестящие, сверкающие камни. Он усердно карабкался по расщелинам утесов, залезал в пещеры и с невыразимым наслаждением все оглядывал под этими древними сводами. Наконец, ему повстречался путешественник, который посоветовал ему сделаться рудокопом, ибо тогда он сможет удовлетворять свою любознательность. Он сказал, что есть рудники и в Богемии, и что если он будет идти вдоль берега вниз по течению десять-двенадцать дней, то придет в Эулу; там пусть он только скажет, что хочет сделаться рудокопом. Он не замедлил последовать совету и на следующий же день отправился в



путь. — После тяжелого перехода в несколько дней, — продолжал он, — я прибыл в Эулу. Не могу вам сказать, в какой я пришел восторг, когда увидел с высоты холма груду камней, промеж которых росли зеленые кусты; на них стояли хижинки, сколоченные из досок, и из долины поднимались облака дыма, стлавшиеся над лесом. Далекий грохот усилил мое ожидание; и вскоре я сам стоял с невыразимым любопытством и с тихим благоговением на таком возвышении или отвале, перед темными глубинами, которые внутри хижин круто вели во внутрь горы. Я поспешил спуститься вниз, в долину, и вскоре встретил нескольких людей, одетых в черное, с лампами в руках; я не без основания принял их за рудокопов и робко заявил им о своем желании. Они ласково выслушали меня и сказали, чтобы я спустился к плавильням и спросил штейгера, который начальствует над ними; от него я и узнаю, могу ли быть принят. Они сказали мне, что мое желание, вероятно, будет удовлетворено и научили меня приветствию «в добрый час», с которым мне следовало обратиться к штейгеру. Преисполненный радостных ожиданий, я все время повторял про себя знаменательное приветствие. Штейгер оказался почтенным старым человеком и принял меня очень приветливо; после того как я рассказал ему все про себя и выразил страстное желание изучить его редкое таинственное ремесло, он выразил готовность исполнить мою просьбу. Я, видимо, понравился ему, и он оставил меня у себя в доме. Я не мог дожидаться минуты, когда спущусь в рудник и увижу себя в очаровательной одежде рудокопа. Еще в тот же вечер он принес мне платье и объяснил мне способ пользования некоторыми орудиями, спрятанными в чулане.

Вечером к нему пришли рудокопы, и я внимал каждому слову их беседы, хотя и самый язык их, и в значительной степени содержание их рассказов было мне непонятно и неведомо. Но то немногое, что я понимал, еще более усилило мое любопытство и занимало меня ночью в снившихся мне странных снах. Я рано проснулся и отправился к моему новому хозяину, у которого собрались один за другим рудокопы, чтобы выслушать его приказания. Комната рядом была превращена в маленькую часовню. Явился монах и отслужил обедню, а затем произнес торжественную молитву, поручая рудокопов святому заступничеству неба, которое должно было охранить их в их опасной работе, защитить от преследований и коварства злых духов и наградить их богатством разработок. Я никогда не молился с таким рвением, как в этот день, и никогда так не чувствовал высокого значения литургии. Мои будущие товарищи представлялись мне подвизавшимися героями, которым предстояло побороть тысячи опасностей; вместе с тем они обладали, как мне казалось, завидным счастьем, ибо, благодаря своим таинственным знаниям и своему тихому общению с

древними горными сынами природы в своих темных дивных кельях, они были подготовлены к восприятию небесных даров и к тому, чтобы вознестись над миром и мирскими печальями. Штейгер дал мне, после того, как кончилось богослужение, лампу и маленькое деревянное распятие и отправился вместе со мной в шахту, как мы называем крутые сходы в подземные здания. Он научил меня, как спускаться вниз, объяснил мне необходимые меры предосторожности и назвал имена разных предметов и частей шахт. Он двинулся вперед и скатился по круглой балке, держась одной рукой за веревку, которая скользила узлом вдоль бокового шеста; в другой руке он держал зажженную лампу; я последовал его примеру, и мы довольно быстро очутились на значительной глубине. Я был в странном, торжественном настроении, и огонек предо мной мелькал, как счастливая звезда, указывающая мне путь в скрытые сокровищницы природы. Мы очутились внизу среди лабиринта переходов, и мой добрый наставник неумоимо отвечал на все мои вопросы и обучал меня своему искусству. Журчание воды, отдаленность от населенной поверхности земли, тьма и переплетенность ходов, а также далекий шум работающих рудокопов, бесконечно восхищали меня; я с радостью почувствовал себя в полном обладании всем, чего так пламенно желал. Трудно объяснить и описать чувство, вызванное удовлетворением врожденного желания, дивную радость, порожденную тем, что стоит в близкой связи с нашей сокровенной сущностью, с занятиями, для которых мы предназначены и подготовлены с колыбели. Быть может, всякому другому эта работа показалась бы ничтожной, низменной и отталкивающей; но мне она представлялась столь же необходимой, как воздух для груди и пища для желудка. Мой старый учитель радовался моему усердию и сказал мне, что при таком прилежании и внимании, я могу сделаться хорошим рудокопом. Как велико было мое благоговение, когда я впервые в жизни, шестнадцатого марта, уже сорок пять лет тому назад, увидел царя металлов в нежных листиках между расщелинами камней. Мне казалось, что он как бы заключен в темнице и приветливо сверкает навстречу рудокопу, который с такими опасностями и трудностями пробил себе путь к нему через крепкие стены, для того, чтобы вывести его на свет Божий и дать ему воссиять на царских венцах и на священной утвари, а также для того, чтобы он владел и управлял миром в виде всеми почитаемых и свято хранимых монет, украшенных портретами. С тех пор я все время работал в Эуле и дошел постепенно до должности высекальщика, который управляет работой в каменоломне; до того я был приставлен к нагрузке отколотых кусков в корзины.

Старый рудокоп остановился, чтобы передохнуть, и выпил, чокнувшись со своими внимательными слушателями. Они весело

подняли стаканы с кликами: «Бог в помощь!» Гейнриху рассказ старика очень понравился и ему захотелось слушать дальше.

Слушатели стали говорить про опасности и странности горного дела и вспоминали разные удивительные предания; старик только улыбался и ласково исправлял неточности в их рассказах.

Спустя несколько времени Гейнрих сказал: — Вы, вероятно, видели и испытали очень много любопытного на своем веку. Надеюсь, вы никогда не раскаивались в выборе своего образа жизни? Не будете ли вы столь любезны рассказать нам, как вам жилось с тех пор и куда вы держите путь. Вы, вероятно, много где бывали, и я предполагаю, что вы теперь более, чем простой рудокоп.

— Мне самому приятно, — сказал старик, — вспоминать про минувшие времена, когда я не раз имел основание убеждаться в милосердии и доброте Господней. Судьба дала мне радостную и веселую жизнь, и не было ни одного дня, когда бы я не лег спать с благодарностью в сердце. Я был всегда счастлив в моих начинаниях, и наш небесный отец сохранял меня от лукавого; мне дано было поседеть в почете. После Бога я всем обязан моему старому учителю, который уже давно отправился к праотцам; я не могу вспоминать о нем без слез. Он был человек старого времени, верный сердцу Господню. У него были высокие помыслы, и все же в делах своих он был кроткий младенец. Благодаря ему, стало процветать горное дело, и герцог богемский приобрел несметные богатства. Страна сделалась богатой, населенной и цветущей. Все рудокопы чтили в нем отца, и пока будет стоять Эула, имя его будет называть с умилением и благодарностью. Он был родом из Лаузица, и его звали Вернером. Его единственная дочь была еще ребенком, когда я поселился у него в доме. Мое усердие, моя верность и моя страстная привязанность к нему с каждым днем все более располагали его ко мне. Он дал мне свое имя и усыновил меня. Маленькая девочка выросла и сделалась милым созданием; лицо ее было таким же ясным, приветливым и светлым, как ее душа. Старик видел, как она привязалась ко мне и как охотно я болтаю и шучу с нею, не отводя взгляда от ее голубых, ясных, как небо, и сверкающих, как хрусталь, глаз и часто говорил мне, что если я сделаюсь хорошим рудокопом, то он не откажет мне в ее руке. И он сдержал слово. В тот день, когда я сделался мастером, он возложил руки на наши головы, благословил нас, и мы стали женихом и невестой; чрез несколько недель я увел ее, как жену, в свою комнату. В тот же день я вырубил, рано утром, когда взошло солнце, богатую жилу. Герцог прислал мне золотую цепь со своим портретом на большой медали и обещал мне место моего тестя. Как я был счастлив, когда в день свадьбы повесил эту цепь на шею моей невесте, и все глаза

устремились на нее. Наш старый отец дожил еще до того, что у него родилось несколько славных внуков; под осень прииски его жизни оказались более богатыми, чем он ожидал. Он смог с легким сердцем закончить работу и покинуть темную шахту сего мира, чтобы отдохнуть на покое и дожждаться великого расчетного дня.

Старик обратился к Гейнриху и утер несколько слез. — Горное дело, — сказал он, — пользуется благословением Господним. Ничто другое не дает счастья и не придает людям столько благородства. Никакое другое дело не укрепляет до такой степени веры в небесную мудрость, ничто так не сохраняет детскую невинность сердца, как работа в рудниках. Рудокоп рождается бедным и в бедности умирает. Он довольствуется тем, что знает, где обретаются металлы, и тем, что извлекает их наружу; но ослепляющий блеск их не имеет власти над его чистым сердцем. Не поддаваясь опасному безумию, он более радуется их своеобразной формации, таинственности их происхождения и местопребывания, чем обладанию ими. Металлы теряют для него притягательную силу, когда становятся товаром, и он предпочитает искать их, невзирая на трудность и опасность, в недрах земли, чем следовать их зову жизни, чем добывать их на земле обманом и коварством. Труд сохраняет свежесть его сердца и бодрость духа; он принимает с глубокой благодарностью скудную плату за свой труд и выходит на свет из недр земли каждый день с обновленной радостью. Только он и знает прелесть света и покоя, отраду чистого воздуха и широкого горизонта; только он один вкушает еду и питье благоговейно и радостно, как причастие. И с какой любящей чуткой душой встречается он с товарищами, ласкает жену и детей и радуется тихой беседе!

Его одинокий труд отделяет его в течение большей части его жизни от дневного света и от людей. Он поэтому не становится тупо равнодушным к этим неземным проникновенным благам и сохраняет детскую душу; все открывается ему в своей обособленности и непосредственной пестрой таинственности. Природа не желает быть исключительным достоянием отдельного человека. Превращаясь в собственность, она становится зловредным ядом, прогоняющим покой, и рождает пагубное желание захватить все во власть собственника; желание его ведет за собой бесчисленные заботы и дикие страсти. Природа тайно подкапывает почву под ногами собственника и вскоре хоронит его в раскрывающейся бездне для того, чтобы переходить самой из рук в руки; таким образом она постепенно удовлетворяет свое желание принадлежать всем.

Бедный, скромный рудокоп, напротив того, спокойно работает в своем глубоком отшельничестве, вдали от мятежной суеты дня,

воодушевленный только любознательностью и любовью к единению и миру. В своем одиночестве он вспоминает с искренней сердечностью о товарищах и о семье, и в нем все более укрепляется уверенность во взаимной друг для друга необходимости людей и в том, что все соединены кровными узами. Его труд научает его неутомимому терпению, не допуская, чтобы внимание рассеивалось в бесполезных мыслях. Ему приходится иметь дело с капризной, твердой, непреклонной силой, которую можно преодолеть только упорным трудолюбием и постоянной бдительностью. Но каким дивным цветом расцветает на этих страшных глубинах истинное доверие к небесному отцу, рука и забота которого открываются рудокопу ежедневно в самых несомненных знаках. Сколько раз я сидел в глубине рудника, благоговейно рассматривая при свете моей лампы простое распятие! И тогда только я вполне понял священный смысл этого таинственного изображения и проник в самый благородный тайник моего сердца, из которого мог потом черпать без конца.

Старик помолчал несколько времени и снова начал. — Я считаю, — сказал он, — истинно божественным того человека, который научил людей искусству рудокопов и указал в лоне скал на этот глубокий символ человеческой жизни. В одном месте жила пробивается мощно и ясно, но она бедная, а в другом утес втиснул ее в жалкое незаметное ущелье, и там обретается самая благородная руда. Другие жилы понижают ее благородство, пока к ней не проникнет родственная жила, бесконечно повышая ее достоинство. Часто жила раскалывается перед рудокопом на тысячу обломков. Но тот, у кого есть терпение, не уstraшен, а спокойно продолжает свой путь; усердие его вознаграждается, открывая ему новые возможности. Часто ложный след сбивает его с правильного пути; но он вскоре видит свою ошибку и прорезывает путь поперек, пока снова не находит жилу. Рудокоп близко знакомится таким образом со всеми прихотями случая; но вместе с тем он убеждается, что усердие и постоянство — единственное средство справиться со случаем и добыть сокровища, упорно им скрываемые.

— У вас, наверное, нет недостатка в песнях, поднимающих дух, — сказал Гейнрих. — Мне кажется, что ваше ремесло должно вдохновлять к пению и что музыка должна быть желанной спутницей рудокопа.

— Это верно, — ответил старик. — Пение и игра на цитре постоянные спутники рудокопа и никто так не чувствует все очарование музыки, как он. Музыка и танцы — истинные радости рудокопов; они — точно веселая молитва; воспоминание о них и ожидание их облегчает тяжелый труд и сокращает долгое одиночество.

Если хотите, я сейчас пропою вам песню, которую много пели
в моей молодости:

«Лишь тот земли властитель,
Кто в глубь ее проник,
В заветную обитель,
Где от сует отвык,

Кто понял скал строенье
И день свой трудовой
Проводит, полон рвения,
В великой мастерской.

Он отдал ей все силы,
С ней связан сердцем он
И, как невестой милой,
Всегда ей восхищен.

Огонь не гаснет нежный,
Любовь всегда сильна.
Не знает он, прилежный,
Ни отдыха, ни сна.

Есть дивные преданья
О временах былых.
От милой, в назиданье,
Услышит он о них.

Святая древность веет
Вокруг его чела,
И вечный свет лелеет
Пещер ночная мгла.

И каждый шаг вскрывает
Глухие тайники,
Земля благословляет
Труды его руки.

Ему на помощь воды
Ручьи свои стремят,
И каменные своды
Сокровища таят.

Струями золотыми
Обогащен дворец,

Украшен дорогими
Алмазами венеч.

Он королю приносит
Дневную дань труда,
Но многого не просит
И беден, как всегда.

Их золото раздавит,
Их сгубит алчный спор;
А он лишь вольность славит,
Владыка ясных гор».

Гейнриху песня чрезвычайно понравилась, и он попросил старика спеть еще одну. Старик охотно согласился и сказал: — Я знаю еще одну странную песню, происхождение которой неизвестно нам самим. Ее привез один странствующий рудокоп, приехавший издалека. Песня очень понравилась своей необычайностью. Она была темна и непонятна, как музыка, но именно этим она привлекла и занимала, как сон наяву:

«В далеком царстве замок есть,
Там день и ночь король проводит,
Чудесных слуг его не честь;
Но сам он к свету не выходит.
Покои тайные свои
Хранит он стражей неприметной;
И только с кровли разноцветной
Струятся вечные ручьи.

Все, что в созвездиях сквозь тьму
Они увидят светлым взором,
Рассказывают все ему,
И нет конца их разговорам.
Он моется в них вновь и вновь,
В них члены нежные купает,
И все лучи их отражает
Его сияющая кровь.

Тот замок был в пучине скрыт,
С тех пор прошло столетий много,
Он вниз ушел, но все стоит,
Лишь ввысь отрезана дорога.
И цепью окружил стальной
Всех подданных король могучий,

И веют, как знамена, тучи
Там, над скалистой вышиной.

У крепко запертых ворот
Столпились подданные вместе,
Здесь каждый короля поет,
Их песни полны сладкой лести.
Они довольны и горды,
Они не знают, что в неволе;
Они не просят лучшей доли,
Не чувствуют ни в чем нужды.

И лишь немногие хитрей.
Им царского не нужно дара;
Их замысел — скорей, скорей
Зарыть навеки замок старый.
Оковы тайны вековой
Падут, когда над темной бездной
Вдруг загорится луч небесный,
Блеснет свободы день живой.

Тому, кто смел, силен и прям,
Скала и пропасти не страшны;
Доверясь сердцу и рукам,
Он ищет короля, отважный.
Зовет его из тайных зал,
Воюет с духом, духом полный,
И необузданные волны
Текут, куда он приказал.

Но вот, чем ближе вышина,
Чем дальше от пещер холодных,
Тем боле власть усмирена,
И все растет число свободных.
Оковы упадут — и вот,
Ворвется в замок вал суровый
И на зеленых крыльях снова
Нас милой родине вернет».

Когда старик кончил, Гейнриху показалось, точно он уже где-то слышал эту песню. Он попросил повторить ее и записал себе ее на память. После того старик вышел, и купцы заговорили с другими гостями о прибыльности горного дела и о трудностях его.

Один сказал: — Старик, наверное, не напрасно сюда явился. Он сегодня карабкался по холмам и, наверное, напал на хорошие приметы. Спросим его, когда он снова войдет. — Знаете, — сказал другой, — его можно было бы попросить, чтобы он искал источник для нашей деревни. Вода от нас далека, и было бы очень приятно иметь хороший колодезь. — Мне пришло в голову, — сказал третий, — спросить его, не возьмет ли он с собой одного из моих сыновей, который все таскает домой камни. Он, наверное, мог бы сделаться хорошим рудокопом. Старик, кажется, человек хороший и мог бы сделать из моего сына толкового человека. — Купцы говорили также о том, что можно бы через рудокопа войти в сношения с Богемией и приобретать там металлы по хорошей цене. Старик снова вошел в комнату, и всем захотелось извлечь пользу из знакомства с ним. Он заговорил первый: — Как душно и жутко здесь в комнате, — сказал он. — Месяц ярко светит, и мне бы очень хотелось еще прогуляться. Я видел здесь днем по близости несколько замечательных пещер. Быть может, кто-нибудь из вас решится пойти со мной? И если мы запасемся светильниками, то без всякого затруднения можем осмотреть пещеры.

В деревне все хорошо знали эти пещеры, но никто не решался войти в них; ходили страшные слухи про драконов и разных чудовищ, таящихся там. Иные говорили, что сами их видели, и утверждали, что у входа находили кости похищенных и съеденных людей и животных. Другие говорили, что там живет дух, что несколько раз показывалась издали странная человеческая фигура, а ночью оттуда доносились песни.

Старик, видимо, не верил этим рассказам; он со смехом утверждал, что можно, во всяком случае, спокойно довериться охране рудокопа, потому что чудовища испугаются его, а что распевающий песни дух, наверное, благодетельное существо. Многие из любопытства приняли его предложение; Гейнрих тоже пожелал сопровождать его, и мать сдалась, наконец, на уговоры старика, пообещавшего охранять Гейнриха, и разрешила ему идти с ним. Купцы тоже присоединились. Набрали длинных лучин для факелов; часть общества, кроме того, запаслась лестницами, шестами, веревками и разными предметами для обороны. Так началось паломничество к близким холмам. Старик шел впереди с Гейнрихом и купцами. Крестьянин привел своего любознательного сына; тот с радостью взял факел и повел к пещерам. Вечер был ясный и теплый. Месяц мягко сиял над холмами и вызывал странные грезы. Он сам казался грезой солнца; он лежал над миром снов, погруженным в самосозерцание, и возвращал природу с ее бесчисленными гранями к мифическому первобытному времени, когда каждый зародыш еще покоился в непотревоженном одиночестве и тщето

стремился развернуть всю темную полноту своего безмерного бытия. В душе Гейнриха отражалась сказка вечера. У него было чувство, точно мир покоится в нем весь раскрытый и показывает ему, как дорогому гостю, все свои сокровища и скрытые красоты. Простое величие окружающего стало ему удивительно понятным. Природа казалась ему непостижимой лишь потому, что она нагромождает вокруг человека самое близкое и отрадное, с щедрым обилием разнообразных форм. Слова старика как бы раскрыли перед ним потайную дверь. Он увидел его маленькую комнату, расположенную вплотную у стены высокого собора, от каменных плит которого поднималось великое прошлое, в то время как с купола навстречу полному неслось ясное, радостное будущее в образе золотых ангелочков. Мощные звуки дрожали, врываясь в серебристое пение, и в широкие двери вступали существа, каждое из которых высказывало свою внутреннюю сущность на своем обособленном наречии. Он удивлялся, что это ясное понимание, уже столь необходимое теперь для его существования, так долго не открывалось ему. Он обозрел вдруг все свои отношения к широкому миру вокруг него, почувствовал, чем он сделался благодаря миру, и чем мир может стать для него, и понял все странные представления и откровения, которые часто являлись ему при созерцании мира. Рассказ купцов о юноше, который так неустанно созерцал природу и сделался зятем короля, снова вспомнился ему, и тысячи других воспоминаний его жизни сами собой потекли, связанные волшебной нитью. В то время, как Гейнрих предавался размышлениям, общество приблизилось к пещере. Вход был низкий; старик взял факел и пробрался во внутрь, карабкаясь по камням. Резкая струя воздуха подула ему в лицо, и старик заявил, что все могут спокойно следовать за ним. Самые боязливые шли позади и держали наготове оружие. Гейнрих и купцы следовали за стариком, а мальчик бодро шел рядом с ним. Дорога вела сначала по довольно узкому ходу, который, однако, вскоре привел в широкую и высокую пещеру; свет факелов не мог вполне ее осветить, но все же в глубине можно было различить несколько отверстий, терявшихся в скале. Почва была мягкая и довольно ровная; стены и потолок были тоже гладкие и довольно правильной формы. Но общее внимание привлечено было, главным образом, бесчисленным количеством костей и зубов, лежащих на земле. Многие сохранились в целости, на других были знаки разложения, а те, которые торчали в разных местах стены, казались окаменевшими. Большинство из них были необыкновенно большие и крепкие. Старик обрадовался этим останкам глубокой древности; крестьянам же было не по себе. Кости казались им явными следами близости хищных зверей, хотя старик ясно показывал им признаки глубокой древности на

костях: он спрашивал их при этом, заметили ли они опустошение в своих стадах и могут ли они признать эти кости костями известных им зверей или людей. Старик предложил идти дальше вглубь горы, но крестьяне сочли более благоразумным выйти из пещеры и ждать у входа его возвращения. Гейнрих, купцы и мальчик остались со стариком и запаслись веревками и факелами. Они вскоре попали во вторую пещеру, причем старик не забыл обозначить проход, из которого они вышли, фигурой, сложенной из костей. Вторая пещера похожа была на первую и там тоже находились в изобилии останки животных. Гейнриху сделалось страшно; ему казалось, что он бродит в преддверии подземного дворца. Небо и жизнь представились ему вдруг бесконечно далекими, а темные широкие своды показались частью странного подземного царства.

Возможно ли, думал он, что под нашими ногами движется целый мир со своей обособленной огромной жизнью? Возможно ли, что в недрах земли живут небывалые существа, и что внутренний огонь темного царства претворяется в гигантские, мощные духом создания? Могли ли бы эти страшные незнакомцы, выгнанные наружу проникающим во внутрь холодом, появиться когда-нибудь среди нас, причем, быть может, одновременно открылись бы нашим взорам небесные гости, живые, говорящие силы созвездий над нашими головами? Представляют ли собой эти кости остатки их устремления вверх, или же это знаки бегства вглубь?

Вдруг старик призвал остальных и показал им свежие следы человеческих ног на земле. Следы были только одного человека, и старик решил, что можно пойти по ним, не боясь наткнуться на разбойников. Они только что собрались выполнить свое намерение, как вдруг, словно под ногами их, далеко из глубины, раздалось пение. Они очень удивились, но стали внимательно прислушиваться:

«Смейся ночью голубою,
Милых уз земных не рви.
Каждый день перед тобою
Чаша полная любви.

Брызни, Божья влага, брызни,
В небо вознеси мой взгляд.
Опьяненный, в этой жизни
Я стою у райских врат.

В ласке сладостной витая,
Дух мой не страшится зла.

Мне Царица жен святая
Сердце верное дала.

Скорбью долгой и унылой
Прах мой бедный просветлен,
В нем сияет образ милый,
Вечность обещает он.

Как мгновенье, как мечтанье, —
Этих дней несчетный ряд.
Но взгляну я в день прощанья
С благодарностью назад».

Все были приятно поражены и загорелись желанием найти пещу.

После поисков, они увидели в углу, в правой боковой стене вход вниз, куда вели следы ног. Вскоре издали как будто мелькнул просвет, который все более определялся по мере их приближения. Открылась еще одна пещера, более просторная, чем другие, и в глубине ее они увидели человека, сидевшего за лампой; пред ним лежала на каменной плите большая книга, которую он читал.

При их появлении он обернулся, поднялся и пошел навстречу. Возраста его никак нельзя было угадать. Он казался ни молодым, ни старым; время не оставило на нем никаких следов, кроме серебристых волос, с гладким пробором на лбу. В глазах его светилась несказанная бодрость, точно он глядел со светлой горы на бесконечную весну. У него были привязаны к ногам подошвы и вся его одежда, по-видимому, заключалась в широком плаще, в который он завернулся; плащ этот ясно обрисовывал его благородный высокий стан. Неожиданное появление пришельцев как будто совсем не удивило его; он поздоровался с ними, как знакомый; казалось, что он принимает у себя в доме приглашенных гостей.

— Как хорошо, что вы навестили меня, — сказал он. — Вы первые друзья, которых я здесь вижу, хотя живу здесь давно. По-видимому, теперь начинают ближе присматриваться к нашему дивному большому дому.

— Мы не предполагали, — ответил старик, — что встретим здесь столь любезного хозяина. Нам говорили, что здесь обретаются дикие звери и призраки, и мы самым приятным образом обмануты в своих ожиданиях. Если же мы помешали вам предаваться вашим глубоким размышлениям, то простите нас за любопытство.

— Что может быть отраднее, — сказал незнакомец, — чем видеть бодрые, приятные лица. Не считайте меня нелюдимым только потому, что вы застали меня здесь в одиночестве. Я не

бежал от мира, а только искал места отдохновения, где мог бы спокойно предаваться моим размышлениям.

— А вы никогда не раскаивались в своем решении? Не бывает разве у вас часов, когда вам становится жутко и когда сердце ваше жаждет услышать человеческий голос?

— Теперь этого уже не бывает. Было время в моей молодости, когда горячая мечтательность побудила меня стать отшельником. Смутные предчувствия занимали мою юношескую фантазию. Я надеялся вполне утолить жажду моего сердца в уединении. Источник моей внутренней жизни казался мне неисчерпаемым. Но вскоре я понял, что нужно в пустыню принести богатый опыт, понял, что пока сердце молодо, оно будет томиться в одиночестве, и что человек приобретает некоторую самостоятельность только в общении с другими людьми.

— Я сам полагаю, — ответил старик, — что бывает естественное призвание ко всякого рода жизни и что, быть может, опытность надвигающейся старости естественно ведет к отчуждению от общества людей. Общество должно быть деятельным во имя самосохранения и ради своей пользы. Движущей силой в нем являются большие надежды или общие цели, так что дети и старики как бы исключены из его жизни. Детей исключает их беспомощность и их неведение, а стариков преисполняет надежда видеть цель осуществленной; отделившись от общества, они хотят углубиться в собственную душу и с достоинством готовиться к высшему общению. Но у вас, кажется, были еще особые причины, побудившие вас отдалиться от людей и отказаться от всех удобств общественности. Я полагаю, что все же иногда ваше душевное напряжение падало, и вам тогда бывало жутко.

— Я действительно испытывал жуткое чувство, но сумел победить его строгой правильностью жизни. Кроме того, я стараюсь сохранить здоровье при помощи движения и благодаря этому чувствовать себя хорошо. Я хожу каждый день по несколько часов и наслаждаюсь, насколько только возможно, солнечным светом и воздухом. Остальное время я провожу здесь и занимаюсь плетением корзинок и резьбой. Мои товары я обмениваю в далеких деревнях на жизненные припасы. Я также привез с собой книги, и время пролетает, как мгновение. У меня есть несколько знакомых, которым известно место моего пребывания, и которые сообщают мне о том, что делается на свете. Они похоронят меня, когда я умру, и возьмут мои книги.

Он подвел их к своему сиденью близ стены пещеры. На земле лежало несколько книг и, кроме того, цитра, а на стене висели рыцарские доспехи, по-видимому, очень драгоценные. Стол сделан был из пяти больших каменных плит, составленных в виде ящика. На верхней плите высечены были две человеческие фигуры, муж-

ская и женская, в полный рост; они держали в руках венки из лилий и роз. По бокам была надпись:

«Фридрих и Мария фон-Гогенцолерн вернулись здесь на свою родину».

Пустынный спросил своих гостей, откуда они родом и как попали в эти места. Он был очень приветлив, говорил открыто и обнаруживал большое знание света.

Старик сказал: — Вижу, что вы были воином; ваши доспехи выдают вас.

— Опасности и переменные судьбы войны, высокое поэтическое воодушевление, охватывающее войско в походах, вырвали меня из моего юношеского уединения и определили мою дальнейшую жизнь. Очень возможно, что постоянный шум, множество событий, в которых я принимал участие, еще более усилили во мне жажду одиночества: бесчисленные воспоминания составляют очень приятное общество. Минувшие события становятся все более занимательными по мере того, как меняется наш взгляд на них, потому что только изменившийся взгляд может раскрыть правду их соотношений, глубину их сцепления, а также и истинный их смысл. Понимание того, что происходит с людьми, появляется уже поздно и скорее под влиянием воспоминаний, чем под более напряженными впечатлениями текущей минуты. Самые близкие события кажутся лишь слабо связанными между собой, но тем чудеснее сплетаются они с более далекими. И только, когда есть возможность обозреть целый ряд происшествий и уже не принимать все непосредственно, но вместе с тем и произвольно не запутывать их действительное сцепление собственной фантазией, тогда начинаешь замечать тайное сплетение минувшего и грядущего, тогда начинаешь строить историю из надежды и воспоминаний. Но только тому, кто ясно помнит все минувшее, могут открыться простые законы истории. Мы приходим лишь к несовершенным и затруднительным формулам и рады, когда находим для самих себя пригодные правила, которые помогают нам справиться с нашей собственной короткой жизнью. Могу только сказать, что всякое тщательное созерцание жизненных судеб доставляет глубокое неисчерпаемое наслаждение и более всяких других мыслей возвышает нас над земными печалью. Юность читает историю только из любопытства, как занимательную сказку. В зрелом возрасте история становится небесной, утешающей и поучающей подругой, которая своими мудрыми речами мягко подготавливает человека к высшей, более широкой жизни и знакомит его с неведомым миром при посредстве понятных образов. Церковь — обиталище истории и кладбище — ее символический сад. Историю должны писать только старые благочестивые люди, собственной истории которых уже наступил конец, так что им остается надеяться лишь на то, что их пересадят в

кладбищенский сад. Их повествование будет не мрачным и не печальным; напротив того, луч из купола покажет им все в прекрасном и истинном свете, и святой дух будет носиться над этими странно бушующими водами.

— Как правдива и убедительна ваша речь, — сказал старик. — Конечно, следовало бы с большим рвением точно записывать все достопримечательное своего времени и передавать, как благочестивый завет, грядущим поколениям. Есть тысячи более отдаленных дел, которым посвящают силу и труд, а как раз о самом близком и важном, о судьбах собственной жизни и жизни наших близких, нашего рода, некоторую упорядоченность которой мы постигаем в понятии о провидении — об этом как раз мы менее всего думаем и легкомысленно даем изгладиться следам пережитого в нашей памяти. Как святыню, более мудрое потомство будет изучать все, что касается событий минувшего. Даже жизнь отдельного незначительного человека не будет казаться безразличной, ибо в ней, наверное, так или иначе отражается великая жизнь его современников.

— Печально только то, — сказал граф Гогенцолерн, — что даже те немногие, которые записывали деяния и события своего времени, делали это не размышляя и не старались придать своим наблюдениям цельность и связность; они совершенно произвольно выбирали и собирали свои сведения. Каждый легко видит по себе, что он мог бы записать ясно и цельно лишь то, что знает в точности во всех составных явлениях, во всей последовательности; иначе выйдет не описание, а путанный набор разрозненных замечаний. Пусть дадут ребенку описать машину или крестьянину — корабль; из их слов никто не извлечет никакой пользы. Точно так же обстоит дело с большинством историков; они, быть может, умеют рассказывать и даже чрезмерно словоохотливы. Но вместе с тем они забывают самое важное, то, что делает историю историей и объединяет случайное в поучительное целое. Вникая в это, я вижу, что историк непременно должен быть поэтом; только поэты обладают искусством умело связывать события. В их рассказах и вымыслах я с тихой радостью подмечал тонкое проникновение в таинственную сущность жизни. В их сказках больше правды, чем в ученых летописях. Хотя их герои и судьбы их выдуманы, но все же смысла выдумок правдивый и жизненный. Для нашего наслаждения и назидания в сущности безразлично, действительно ли жили или не жили те, чья жизнь отражает нашу собственную. Мы требуем, чтобы нам показали великую, простую душу современности, и если наше желание исполнено, то нам нет дела до случайного существования внешних обликов.

— Я тоже, — сказал старик, — всегда любил поэтов по той же причине. Жизнь и мир стали для меня более ясными и действитель-

ными через их посредство. Мне казалось, что они, наверное, в дружбе с духами света, пронизывающими все существа и набрасывающими на все своеобразный, нежно окрашенный покров. При звуке их песен моя собственная душа легко раскрывалась; казалось, она может свободнее двигаться, радоваться своим желаниям, переживать тысячи очаровательных ощущений.

— Жили ли в ваших местах какие-нибудь поэты? Дала ли вам судьба такое счастье? — спросил отшельник.

— Бывало иногда, что у нас жили поэты, но они любили путешествовать и большей частью не долго у нас оставались. Впоследствии я встречал поэтов во время моих странствований по Иллирии, по Саксонии и Швеции, и о них у меня сохранились самые светлые воспоминания.

— Так вы, значит, далеко ездили и, наверное, видели много достопримечательного.

— Наше дело такое, что почти по необходимости приходится много где бывать. Рудокопа гонит с места на место как бы подземное пламя. Одна гора отсылает его к другой. Ему открывается бесконечно многое, и всю свою жизнь он учится той своеобразной архитектуре, которая создала и выровняла почву под нашими ногами. Наше мастерство старинное и широко распространенное. Оно, быть может, пришло с востока вместе с солнцем и направилось, как весь род человеческий, на запад, а также от середины к окраинам. Ему приходилось всюду бороться с разными трудностями, и так как всегда потребность ведет человеческий дух к полезным открытиям, то и рудокоп увеличивает всюду свое понимание и свое умение и обогащает родину своим опытом.

— Вы точно астрологи наизнанку, — сказал отшельник. — Как те, не отводя глаз, созерцают небо и блуждают по его необозримым пространствам, так вы устремляете взор на поверхность земли и постигаете ее строение. Они изучают силы и влияние звезд, а вы исследуете свойства утесов и гор и разнообразные влияния земляных и каменных пластов. Для них небо — книга будущего, вам же земля являет памятники самой глубокой древности.

— Это сопоставление не лишено смысла, — с улыбкой сказал старик. — Сияющие пророки играют, быть может, главную роль в древней истории чудесного строения земли; быть может, со временем их лучше узнают и объяснят из их творений, а творения их из них самих. Быть может, великие горные цепи являют следы их прежних путей; быть может, они хотели сами себя питать и следовать по небу собственным путем. Некоторые смело поднялись, чтобы тоже сделаться звездами, и зато они лишены прекрасного зеленого одеяния более низких мест. Они за это ничего не получили, кроме того, что помогают своим отцам устанавливать

погоду, и того, что они стали пророками для долин, то охраняя их, то наводняя бурями.

— С тех пор, как я живу в этой пещере, — продолжал пустынный, — я научился больше размышлять о старине. Нельзя выразить, до чего это увлекательно, и я могу себе представить, как рудокоп должен любить свое дело. Глядя на странные старые кости, которых здесь такое огромное количество, я переношусь мыслью в то дикое время, когда эти неведомые огромные животные врывались толпами сюда в пещеры, быть может, охваченные страхом, и здесь находили смерть; а потом я думаю о тех временах, когда эти пещеры срослись, когда бесконечные потоки покрыли землю, и я кажусь самому себе мечтой о будущем, сыном вечного мира. Как спокойна и миролюбива, как кротка теперь природа в сравнении с теми временами исполинского насилия. Самые страшные бури, самые ужасающие землетрясения наших дней лишь слабый отзвук тех страшных родовых мук. Быть может, даже животный и растительный мир, быть может, и тогдашние люди, если они существовали на отдельных островках в этом океане, имели другое, более крепкое и более грубое сложение; во всяком случае, не следовало бы считать выдумками сказания о племени великанов.

— Отрадно, — сказал старик, — отмечать постепенное успокоение природы. Образовалось шаг за шагом более тесное единение, более мирное общение, взаимная поддержка и оживление, так что мы можем ожидать все лучших и лучших времен. Возможно, конечно, что от времени до времени проявится еще старое брожение и, несомненно, предстоит еще несколько страшных сотрясений, но все же чувствуется мощное стремление к свободному, мирному строю, и каждое сотрясение будет свершаться в таком духе и приближать к великой цели. Возможно, что природа уже не так плодородна, как прежде, что теперь уже не зарождаются металлы и драгоценные камни, не появляются новые горы и скалы, что растения и животные уже не достигают прежней изумительной величины и прежней силы; но по мере того, как истощалась производительность природы, увеличивались ее созидающие, облагораживающие и общительные силы; ее душа становилась более чуткой и нежной, ее фантазия более богатой и творческой, ее рука более легкой и искусной. Природа приближается к человеку, и если прежде она была диким утесом, то теперь сделалась тихо развивающимся растением, безмолвной человеческой художницей. Да и зачем было бы умножать сокровища, избытка которых хватит на неисчислимые времена? Как мало пространства, по которому я прошел, и какие бесчисленные богатства я сразу увидел на нем, пользоваться которыми уже дано будет потомству. Сколько богатств таят горы на севере, сколько нашел я их в моем отечестве,

в Венгрии, у подошвы Карпатских гор, в скалистых долинах Тироля, Австрии и Баварии. Я был бы богатым человеком, если бы смог взять с собой все, что мне стоило только поднять с земли, отломать. Во многих местах я точно попадал в волшебный сад. То, что я видел, было искусно составлено из прекрасных металлов. На прелестных завитках и на ветвях из серебра висели сверкающие, красные, как рубин, прозрачные плоды, и тяжелые деревья стояли на хрустальных подножках неподражаемой работы. Трудно было верить своим глазам, озираясь в этих волшебных местах, и хотелось без усталы бродить по дивным пустыням и восхищаться их сокровищами. Во время моего теперешнего путешествия я тоже видел много диковинок, а в других странах земля, наверно, такая же плодородная и щедрая.

— Если вспомнить, — сказал незнакомец, — о сокровищах, имеющих на востоке, то в этом нет никакого сомнения; точно так же дальняя Индия, Африка и Испания известны были уже в древности богатствами своей почвы. На войне люди, конечно, не вглядываются в расщелины гор; но все же я иногда обращал внимание на сверкающие полосы, которые, точно странные почки, предвещают неожиданные цветы и плоды. Я и не представлял себе, когда проходил, радуясь сиянью солнца, мимо этих темных жилищ, что закончу свою жизнь в недрах горы. Моя любовь гордо уносила меня в высь и я надеялся, что когда-нибудь усну на веки в ее объятиях. Война кончилась, и я вернулся домой в радостном ожидании благодатной осени. Но дух войны сделался властителем моей судьбы. Моя Мария родила мне на востоке двух детей. Они были радостью нашей жизни. Морское плавание и резкий западный воздух расстроили их здоровье. Я похоронил их вскоре после того, как вернулся в Европу. Горестно повез я мою безутешную жену на родину. Тихая скорбь подточила ее жизнь. Во время путешествия, которое мне пришлось предпринять вскоре после того, она внезапно тихо умерла на моих руках. Здесь, по близости от этой пещеры, кончилось наше земное странствование. Мое решение созрело сразу. Я нашел, чего никогда не ожидал; божественное внушение озарило меня, и с того дня, как я ее здесь сам похоронил, неземная рука сняла всю скорбь с моего сердца. Гробницу я воздвиг потом. Часто событие кажется свершившимся, когда оно собственно только что начинается; это произошло и в моей жизни. Да ниспошлет вам всем Господь счастливую старость и такое спокойствие души, как у меня.

Гейнрих и купцы внимательно слушали его, и Гейнрих в особенности почувствовал, как в его отзывчивой душе раскрываются новые силы. Некоторые слова, некоторые мысли падали, как животворящая пыль, в его душу и быстро поднимали его из тесного круга его юности на высоту мира. Точно на долгие годы

назад отодвинулись от него только что пережитые часы, и ему казалось, что он никогда иначе не думал и не чувствовал.

Отшельник показал им свои книги. Это были старые летописи и стихи. Гейнрих стал перелистывать большие красивые фолианты; короткие строчки стихов, заглавия, отдельные места и прекрасные картины, которые, словно воплощенные в образы слова, приходили на помощь воображению читателя, сильно возбуждали его любопытство. Отшельник это заметил и объяснил ему содержание странных картин. На них изображены были самые разнообразные события: битвы, погребения, свадьбы, кораблекрушения, пещеры и дворцы. Короли, герои, священники, старики и юноши, люди в чужеземных одеждах и странные животные появлялись в разных сочетаниях. Гейнрих не мог наглядеться на них, и ему ничего так не хотелось, как остаться у отшельника, неотразимо привлекавшего его, и слушать его объяснения книг. Старик спросил, нет ли еще других пещер, и отшельник сказал ему, что есть еще несколько очень больших по близости, и предложил повести его туда. Старик охотно согласился; отшельник, видя, что его книги так нравятся Гейнриху, предложил ему остаться и продолжать читать. Гейнрих с радостью согласился, искренно поблагодарив отшельника. Он стал с бесконечным наслаждением перелистывать книги. Наконец, ему в руки попала книга, написанная на чужом языке, несколько похожим на латинский и на итальянский. Ему страстно захотелось знать этот язык, так как книга ему очень понравилась, несмотря на то, что он ни слова не понимал в ней. Книга не имела заглавия, но он нашел в ней несколько картинок; они показались ему удивительно знакомыми. Продолжая разглядывать их, он открыл свое собственное изображение среди других фигур. Он испугался, не поверил своим глазам, но, продолжая глядеть, уже не мог более сомневаться в полном сходстве. Он прямо не поверил себе, когда вскоре увидел на другой картине пещеру, отшельника и старика подле себя. Постепенно он нашел на других картинах восточную женщину, своих родителей, тюрингенского ландграфа и ландграфиню, своего друга, придворного капеллана, и много других знакомых; но одежда на них была другая, и они точно были людьми другого времени. Множество других фигур он не знал по имени, но все же они казались ему знакомыми. Свое изображение он увидел в различных видах. К концу он нашел себя представленным более высоким и более благородной осанки. В руках у него была гитара, и ландграфиня передавала ему венки. Он увидел себя при императорском дворе, на корабле, обнимающим стройную красивую девушку, в бою с дикими на вид людьми, и в дружеской беседе с сарацинами и маврами. Рядом с ним часто появлялся человек с серьезным лицом. Он чувствовал глубокое благоговение перед этим высоким

человеком, и ему было приятно стоять рука об руку с ним. Последние картины были темные и непонятные; но некоторые фигуры его сновидения восхитили его. Конца книги видимо не доставало. Гейнрих был очень огорчен и ему страстно захотелось прочесть книгу и получить ее в собственность. Он несколько раз просмотрел картины и почти испугался, услышав шум шагов, когда вернулись старик и отшельник. Станный стыд овладел им. Он не решался рассказать о своем открытии, захлопнул книгу и только спросил отшельника, как она называется, и на каком языке она написана. Отшельник сказал, что книга написана на провансальском наречии.

— Я уже очень давно читал ее, — сказал отшельник, — и не могу хорошенько вспомнить ее содержания. Насколько знаю, это роман об удивительных судьбах одного поэта, и в романе этом дар поэзии превозносится и изображается в самых разнообразных проявлениях. Конца рукописи не достает. Я привез ее из Иерусалима, где нашел ее среди имущества, оставшегося после умершего друга, и сохранил в память о нем.

Они попрощались, и Гейнрих был тронут до слез. Пещера явила ему так много достопримечательного, и отшельник ему очень понравился.

Все сердечно обняли отшельника, и он, видимо, тоже всех их полюбил. Гейнриху показалось, что он смотрит на него ласковым, пронизательным взором. Слова, которые он сказал ему на прощанье, были особенно знаменательны. Он точно знал об открытии Гейнриха и дал ему это понять. Он проводил их до выхода из пещер и затем попросил их, и в особенности мальчика, не говорить о нем крестьянам, потому что иначе ему не будет житья от приставаний.

Они все обещали. Когда они попрощались с ним и просили его помянуть их в своих молитвах, он сказал: — Пройдет время и мы снова увидимся и будем с улыбкой вспоминать о сегодняшних речах. Небесный день будет окружать нас и, мы будем радоваться, что дружески встретились в долинах испытания и были воодушевлены одинаковыми мыслями и чувствами. Это ангелы, которые верно направляют здесь наши шаги. И если ваш взор будет прикован к небу, вы никогда не собьетесь с пути на родину. — Они расстались с тихой грустью, затем вскоре вернулись к своим несмелым товарищам и дошли среди разговоров до деревни, где мать Гейнриха сильно встревоженная его долгим отсутствием, радостно встретила их.



ГЛАВА ШЕСТАЯ

Людам, рожденным для деятельной жизни, нужно очень рано все самим постигать и оживлять. Им необходимо приложить всюду самим руку, закалить дух против впечатлений нового положения, против рассеивающего влияния многих и разнообразных предметов, и они должны приучиться идти к цели даже под напором великих событий и умело проводить ее через них. Они не должны уступать соблазну тихого созерцания. Душа их не должна быть сосредоточенной в себе зрительницей; она должна неустанно проявляться и быть ревностной, решительной служанкой разума. Они герои, и вокруг них теснятся события, которые требуют управления и разрешения. Все случайности становятся историей под их влиянием, и жизнь их непрерывная цепь замечательных и блестящих, запуганных и своеобразных событий.

Иначе обстоит дело со спокойными неведомыми людьми, мир которых составляет их дух, деятельность которых — созерцание, жизнь которых — медленное нарастание внутренних сил. Никакое беспокойство не влечет их в открытую жизнь. Тихое обладание удовлетворяет их и необозримое зрелище того, что происходит вне их, не вызывает в них желания принимать самим участие во всем, а кажется достаточно значительным, достаточно изумительным для того, чтобы отдать весь свой досуг созерцанию. Потребность познать смысл событий заставляет их держаться вдали, и это предназначает их для таинственной роли души мира, в то время, как люди деятельные являются членами окружающей среды, органами ее чувства, наглядно выступающими силами ее.

Большие и многообразные события помешали бы им. Их назначение — простая жизнь, и лишь из рассказов и писаний знакомятся они с богатым содержанием и бесчисленными явлениями мира. Лишь редко в течение их жизни какое-нибудь событие может на некоторое время втянуть их в свой быстрый вихрь, чтобы точнее ознакомить их путем опыта с положением и характером людей деятельных. Но зато их тонкое чутье достаточно занято близкими незначительными явлениями, которые представляют им великий мир помолодевшим, и они делают на каждом шагу удивительнейшие открытия в самих себе относительно суще-

ности и значения этих явлений. Таковы поэты, эти редкостные залетные птицы среди нас; они проходят иногда по нашим селениям и всюду обновляют старый великий культ человечества и первых его богов, звезд, весны, любви, счастья, плодородия, здоровья и радости. Они, которые уже обрели небесный покой, и не подвластны никаким суетным желанием, вдыхают лишь аромат земных плодов, не поедая их, и потому не прикованы безнадежно к низменному миру. Они свободные гости; их золотая нога легко ступает и в присутствии их у всех невольно распускаются крылья. Поэта, как доброго короля, можно узнать по ясным веселым лицам окружающих, и он один вправе назваться мудрецом. Если сравнить его с героем, то окажется, что песни поэта нередко рождают геройство в молодых сердцах, но геройские поступки никогда еще ни в ком не пробуждали духа поэзии.

Гейнрих был рожден поэтом. Самые разнообразные обстоятельства соединились для его развития, и ничто не нарушало его внутренней отзывчивости. Все, что он видел и слышал, как бы отодвигало в нем новые засовы и раскрывало новые окна. Мир лежал перед ним в своих великих меняющихся судьбах. Но он еще был для него немой; душа мира, слово, еще не проснулось. Уже близился поэт, держа за руку милую девушку, чтобы звуками родного языка и прикосновением нежных губ раскрыть неискусные уста и претворить простое созвучие в беспредельные мелодии.

Путь кончился. Под вечер наши путники благополучно и радостно въехали в знаменитый город Аугсбург. Окрыленные ожиданием, они направились по высоким улицам к почтенному дому старого Шванинга.

Гейнриху уже самая местность показалась очаровательной. Оживленный шум города и большие каменные дома приятно поразили его. Он искренно восхищался своим будущим местопребыванием. Его мать радовалась тому, что после долгого, трудного пути она прибыла в любимый родной город, с надеждой вскоре обнять отца и своих старых друзей, представить им Гейнриха и на время забыть о всех домашних заботах среди отрадных воспоминаний юности. Купцы надеялись вознаградить себя городскими удовольствиями за тяжелый путь, а также преуспеть в делах.

Дом старого Шванинга был освещен, и оттуда доносилась веселая музыка.

— Вот увидите, — сказали купцы, — что у вашего дедушки сегодня веселый пир. Мы попали как раз во время. Как он изумится незваным гостям. Ему и не снится, что настоящий пир еще впереди. Гейнрих был несколько смущен, а мать его была озабочена только своей одеждой. Они подъехали к дому; купцы остались при лошадях, а Гейнрих с матерью вступили в пышный дом.

Внизу не оказалось никого из слуг. Им пришлось подняться по широкой винтовой лестнице. Мимо них прошли несколько слуг, которых они попросили доложить старому Шванингу о прибытии незнакомцев, желающих с ним поговорить. Слуги сначала колебались, так как вид путешественников был не очень внушительный, но все же пошли доложить хозяину. Старый Шванинг вышел к ним. Он не узнал их сразу и спросил, кто они и что им нужно. Мать Гейнриха заплакала и бросилась ему на шею.

— Неужели вы не узнали вашу дочь? — спросила она в слезах. — Я привезла вам моего сына.

Старик был крайне растроган. Он долго прижимал ее к груди; Гейнрих опустился на колени и нежно поцеловал его руку. Он обнял мать и сына.

— Войдемте скорее, — сказал Шванинг. — У меня собрались все друзья и знакомые, которые разделят мою радость.

Мать Гейнриха сначала колебалась, но у нее не было времени одуматься. Отец провел обоих в высокую освещенную залу.

— Вот моя дочь и мой внук из Эйзенаха, — объявил Шванинг веселому, нарядному собранию.

Все взоры обратились к дверям; все сбежались, музыка замолкла, и путники стояли ослепленные и смущенные в своих пыльных одеждах среди пестрой толпы. Тысячи радостных восклицаний переходили из уст в уста. Старые знакомые обступили мать. Начались бесчисленные распросы. Каждый хотел поздороваться первым. В то время как старшие члены общества были заняты матерью, внимание молодежи обращено было на незнакомою юношу, который стоял, опустив глаза, и не решался взглянуть на незнакомые лица. Дедушка познакомил его с обществом и осведомился об его отце и о впечатлениях путешествия.

Мать вспомнила о купцах, которые из любезности остались при лошадях. Она сказала об этом отцу, который тотчас же послал пригласить путников наверх. Лошадей отвели в конюшню, и купцы вошли в залу.

Шванинг сердечно поблагодарил их за их заботы о дочери. У них было много знакомых среди присутствовавших, и они дружески поздоровались с ними. Матери хотелось почиститься и переодеться. Шванинг повел ее к себе. Гейнрих последовал за ними. Среди гостей Гейнриху бросился в глаза человек, которого, как ему казалось, он много раз видел в книге с изображениями около себя. Его благородная внешность выделяла его среди всех других. Лицо его было серьезное и ясное; открытый широкий лоб, большие, черные, проницательные глаза, лукавая складка у веселого рта и мужественная фигура — все это делало его значительным и привлекательным. Он был сильного сложения, движения его были спокойны и выразительны, и ему точно хотелось

вечно стоять там, где он стоял. Гейнрих спросил дедушку про него.

— Я рад, — сказал старик, — что ты его сейчас же заметил. Это мой добрый друг Клингсор; он поэт. Его знакомством и близостью ты можешь больше гордиться, чем дружбой короля. Но как насчет твоего сердца? У Клингсора красивая дочь; быть может, она затмит в твоих глазах своего отца. Неужели ты ее не заметил в зале?

Гейнрих покраснел.

— Я не успел внимательно осмотреть гостей, милый дедушка, — сказал он. — Общество слишком многочисленное, и я смотрел только на вашего друга.

— Видно, что ты приехал с севера, — ответил Шванинг. — У нас ты оттаешь. Мы научим тебя замечать красивые глаза.

Гейнрих и его мать переоделись и вернулись в залу, где тем временем сделаны были приготовления к ужину. Старый Шванинг подвел Гейнриха к Клингсору и сказал ему, что юноша его сразу заметил и выразил желание познакомиться с ним.

Гейнрих смутился. Клингсор ласково заговорил с ним о его родине и о его путешествии. Его голос был такой ласковый, что Гейнрих скоро оправился и заговорил с ним совершенно свободно. Через несколько времени к ним подошел Шванинг с красавицей Матильдой.

— Займитесь моим робким внуком, — сказал он, — и простите ему, что он заметил вашего отца раньше, чем вас. Блеск ваших глаз пробудит в нем спящую юность. На его родине весна приходит поздно.

Гейнрих и Матильда покраснели. Они с удивлением взглянули друг на друга. Она едва слышно спросила его, любит ли он танцы. Как раз в ту минуту, когда он ответил утвердительно, раздались звуки веселой музыки для танцев. Гейнрих молча протянул руку Матильде, она дала ему свою и они вмешались в ряды пар, кружившихся в вальсе. Шванинг и Клингсор следили за ними взглядами. Мать и купцы восхищались ловкостью Гейнриха, а также его очаровательной дамой. Мать неустанно говорила с подругами юности, которые поздравляли ее с таким красивым и многообещающим сыном.

Клингсор сказал Шванингу: — У вашего внука привлекательное лицо. Оно свидетельствует о ясной, отзывчивой душе, и голос его звучит сердечно.

— Я надеюсь, — ответил Шванинг, — что он делается вашим учеником и многому от вас научится. Мне кажется, он рожден стать поэтом. Да снизойдет на него ваш дух. Он похож на своего отца, но, кажется, не так вспыльчив и не так упрям.

Отец его был в молодости очень одарен, но ему недоставало широты духа. А то бы из него вышло нечто большее, чем прилежный и умелый работник.



Гейнриху хотелось, чтобы танец никогда не кончался. Он с искренней радостью глядел на зарумянившееся лицо своей дамы. Ее невинный взор не избегал его. Она казалась как бы духом своего отца в очаровательном преображении. В ее больших спокойных глазах светилась вечная молодость. На светлоголубом фоне мягко блестели звезды карих зрачков. Лоб и нос нежно сочетались с ними. Лицо ее казалось лилией, обращенной к восходящему солнцу, и от белой стройной шеи поднимались голубые жилки по нежным щекам. Голос ее был точно далекое эхо, и темная кудрявая головка как бы парила над легким станом.

Стали вносить блюда, и танцы кончились. Старшие сели с одной стороны стола, а молодежь — с другой.

Гейнрих сел рядом с Матильдой. Одна молодая родственница села с его левой стороны, а Клингсор сел напротив. Насколько молчалива была Матильда, настолько словоохотливой оказалась другая его соседка, Вероника. Она сразу вошла с ним в дружбу и рассказала ему о всех присутствующих. Гейнрих многого не слышал. Он занят был Матильдой и ему хотелось почаще обращаться направо. Клингсор положил конец болтовне Вероники. Он спросил Гейнриха о ленте со странными фигурами, которую юноша прикрепил к сюртуку. Гейнрих рассказал о восточной женщине так трогательно, что Матильда заплакала, и Гейнрих сам тоже едва сдерживался от слез. Благодаря этому, он вступил с ней в беседу. Все разговорились; Вероника смеялась и шутила со своими знакомыми. Матильда рассказала о Венгрии, куда часто ездил ее отец, и о жизни в Аугсбурге. Всем было весело. Музыка рассеяла стеснение и вовлекла всех в веселую игру. Пышные корзины цветов благоухали на столе, и вино порхало между блюдами и цветами; потряхивая своими золотыми крыльями, оно ставило пестрые перегородки между внешним миром и пирующими. Теперь только Гейнрих понял, что такое пир. Ему казалось, что тысяча веселых духов резвится вокруг стола, радуется радостями людей и опьяняется их наслаждениями. Радость жизни возникла перед ним точно звучащее дерево, отягченное золотыми плодами. Зла не было видно; ему казалось невозможным, чтобы когда-либо людям хотелось обратиться от этого золотого дерева к опасным плодам познания, древу войны. Теперь он стал понимать, что такое вино и яства. Все казалось ему необыкновенно вкусным. Небесный елей приправлял ему пищу, а в бокале сверкала дивная прелесть земной жизни. Несколько девушек принесли старому Шванингу свежий венок. Он надел его, поцеловал девушек и сказал: — Нашему другу Клингсору принесите тоже венок; в благодарность мы оба научим вас несколькими новыми песнями. Мою песню я вам сейчас спою. Он дал знак музыке и запел громким голосом:

«Наш ли жребий да не жалок?
Нам ли бедным не роптать?
Выростая из-под палок,
В прятки учимся играть.
Да и жаловаться тоже
Часто — упаси нас Боже!

Нет, с родительским уроком
Нам не сжиться никогда,
Жаждем мы упиться соком
Запрещенного плода.
Милых мальчиков так сладко
К сердцу прижимать украдкой!

Как? И мысли даже грешны?
И на мысли есть налог?
У малютки безутешной
Даже грезы отнял рок?
Нет, вам цели не достигнуть,
И из сердца грез не выгнать!

За молитвою вечерней
Мы боимся пустоты.
Все страстнее, все безмерней
И тоскливее мечты.
Ах, легко ль сопротивляться?
И не слаще ль вдруг отдаться!

Мать дает нам предписание
Прятать прелести — но вот,
Не поможет и желанье, —
Сами просятся вперед!
От тоски, от страстной жажды
Узел разорвется каждый.

Быть глухой ко всяким ласкам,
Каменной и ледяной,
Не мигнуть красивым глазкам,
Быть прилежной, быть одной,
Отвечать на вздох презреньем: —
Это ль не назвать мученьем?

Отняли у нас отраду,
Мука девушку гнетет,
И ее за все в награду

Поцелует блеклый рот.
Век блаженный, возвращайся!
Царство стариков, кончайся!»

Старики и юноши смеялись. Девушки покраснели и улыбались, глядя в сторону. Среди тысячи шуток принесли второй венок и надели его на голову Клингсору. Его попросили спеть менее легкомысленную песню. — Конечно, — сказал Клингсор, — я ни за что не решусь дерзостно говорить о ваших тайнах. Скажите сами, какую песню вы хотите. — Только не про любовь, — воскликнули девушки. — Лучше всего застольную песню, если можно.

Клигсор начал:

«Где блещет зелень по вершинам,
Там чудотворный бог рожден.
Его избрало солнце сыном,
Он пламенем его пронзен.

Зачатый радостью и маем
В нежнейших недрах он затих.
Когда плоды мы собираем,
Он, новорожденный, меж них.

И в колыбели заповедной,
В подземном трепетном ядре,
Во сне он видит пир победный
И замки в легком серебре.

Не подойдет никто к затворам,
Где он кипит, и юн и дик,
Под молодым его напором
Оковы разорвутся в миг.

И много стражей сокровенных
Лелеют детище свое,
И всех, кто до дверей священных
Дотронется, пронзит копьё.

Свои сияющие вежды,
Как крылья, он раскрыть готов,
Исполнить пастырей надежды,
И выйти на умильный зов

Из колыбели — в свет и росы,
В хрустальной ткани и в венке;
И символ единенья — розы
Качаются в его руке.

И вокруг него повсюду в сборе
Все, в ком кипит живая кровь.
К нему летят в веселом хоре
И благодарность, и любовь.

И брызжет жизнью, как лучами,
Он в мир оцепенелый наш,
И медленными пьет глотками
Любовь из заповедных чаш.

И чтоб железный век расплавить,
Поэту он вручает власть,
Кто в пьяных песнях будет славить
Его веселье, смех и страсть.

Он право на уста прекрасной
В награду передал певцам.
Так знайте все, что вы не властны
Противиться его устам».

— Прекрасный пророк! — воскликнули девушки. Шванинг имел очень довольный вид. Они стали было возражать, но это им не помогло. Им пришлось протянуть ему прелестные губы. Гейнриху было совестно перед своей серьезной соседкой, а не то он бы радовался, что у певцов такие права. Вероника была в числе принесших венки. Она радостно вернулась и сказала Гейнриху: — Правда, хорошо быть поэтом? — Гейнрих не рещался воспользоваться этим вопросом.

Избыток радости и смущение первой любви боролись в его сердце. Прелестная Вероника стала шутить с другими, и он выиграл, благодаря этому, время для того, чтобы побороть свою чрезмерную радость. Матильда рассказала ему, что играет на гитаре:

— Ах, — сказал Гейнрих, — как бы я хотел поучиться у вас игре на гитаре. Я уже давно питаю это желание.

— Меня учил отец; он играет с неподражаемым совершенством, — ответила она, покраснев.

— А все-таки я полагаю, — возразил Гейнрих, что я скорее бы научился у вас. Мне так хочется услышать ваше пение.

— Не ждите слишком многого.

— О, — сказал Гейнрих — чего только я не мог бы ожидать, когда одна речь ваша — уже пение, и вид ваш возвещает небесную музыку.

Матильда ничего не ответила. Отец ее вступил с ним в разговор, и Гейнрих говорил с необычайным воодушевлением. Сидевшие рядом изумлялись разговорчивости юноши и образности его речи. Матильда смотрела на него с тихим вниманием. Она, видимо, наслаждалась его речами, еще более красноречивыми, благодаря выразительности его лица. Глаза его сверкали необычным блеском. Он часто оглядывался на Матильду, которая изумлялась выражению его лица. В пылу разговора он незаметно схватил ее руку, и она невольно подтверждала многое из его слов легким пожатием. Клингсор искусно поддерживал в нем его увлечение и постепенно вызвал всю его душу на уста. Наконец, все встали и поднялся общий гул. Гейнрих остался подле Матильды. Они стояли в стороне никем не замеченные. Он держал ее руку и нежно поцеловал ее. Она не отняла руки и взглянула на него с неопишуемой ласковостью. Он не мог сдержать себя, наклонился к ней и поцеловал ее в губы. Она, захваченная врасплох, невольно ответила горячим поцелуем. — Милая Матильда! — Милый Гейнрих! — Вот все, что они были в состоянии сказать друг другу. Она пожалала его руку и пошла к другим. Гейнрих чувствовал себя точно на небе. К нему подошла мать, и он излил на нее всю свою нежность. Она сказала: — Правда, хорошо, что мы поехали в Аугсбург? Тебе, ведь, здесь, кажется, нравится? — Милая мать, — сказал Гейнрих, — таким я все же не представлял себе Аугсбург. Тут дивно хорошо.

Остальная часть вечера прошла среди нескончаемого веселья. Старики играли, болтали и смотрели на танцующих. Музыка вздымалась морем радости и поднимала упоенную молодежь.

Гейнрих ощущал радостные пророчества и первой радости, и первой любви. Матильда тоже охотно отдавалась власти обаятельных волн и скрывала свою нежную доверчивость, свою распускающуюся любовь к юноше лишь под прозрачным покрывалом. Старый Шванинг заметил их близящееся согласие и дразнил их обоих.

Клингсору Гейнрих понравился, и его радовала нежность юноши к Матильде. Другие юноши и девушки вскоре заметили, что с ними, стали дразнить серьезную Матильду и молодого тюрингенца и открыто радовались, что не придется более опасаться Матильды в их собственных сердечных делах.

Была уже глубокая ночь, когда гости стали расходиться.

— Вот первое и единственное празднество в моей жизни, — говорил себе Гейнрих, когда остался один, и мать его, утомленная, легла спать. — У меня такое же чувство в душе, как при виде

голубого цветка во сне. Что за странная связь между Матильдой и этим цветком? То лицо, которое склонялось ко мне из чашечки цветка, было небесное лицо Матильды, и теперь я вспоминаю, что видел ее лицо и в той книге. Но почему там оно не трогало моего сердца? О, она воплощенный дух песни, достойная дочь своего отца. Она претворит мою жизнь в музыку, сделается моей душой, хранительницей моего священного пламени. Какую вековую верность чувствую я в себе! Я рожден лишь для того, чтобы поклоняться ей, вечно ей служить, чтобы думать о ней и ощущать ее. Нужна целая нераздельная жизнь для созерцания и поклонения ей. И неужели я тот счастливец, чья душа дерзает быть отзвуком ее души? Не случайно я встретил ее в конце моего путешествия и не случайно блаженное празднество отметило величайшее мгновение моей жизни. Иначе и быть не могло: ее близость превращает все в праздник.

Он подошел к окну. Хор звезд стоял на темном небе и светлая полоса на востоке возвещала день.

Восхищенный Гейнрих воскликнул: — Вас, вечные звезды, тихие путники, вас призываю в свидетели моей клятвы. Я буду жить для Матильды, и вечная верность сплотит мое сердце с ее сердцем. И для меня наступает утро вечного дня. Ночь миновала. Я возжигаю себя самого, как неугасимую жертву восходящему солнцу.

Гейнрих был взволнован и заснул лишь поздно под утро. Мысли и чувства его перелились в странные сны. Глубокий синий поток сверкал среди зеленой равнины. На гладкой поверхности плыла лодка. Матильда сидела и управляла рулем. Она была украшена венками, пела простую песню и оглядывалась на него с глубокою грустью. Грудь у него жглась. Он сам не знал почему. Небо было ясно, поток спокоен. Его небесное лицо отражалось в волнах. Вдруг лодка стала поворачиваться. Он испуганно окликнул ее. Она улыбнулась и положила руль в лодку, которая все время кружилась. Бесконечный страх овладел им. Он бросился в поток, но не мог плыть; вода понесла его. Она кивала ему головой, точно хотела что-то ему сказать. В лодку уже проникла вода; но она все еще улыбалась с невыразимой нежностью и весело глядела в водоворот. Но вдруг ее потянуло вниз. Легкий ветерок пронесся по воде, которая текла по-прежнему спокойной сверкающей струей. Безумный ужас лишил его сознания. Сердце его перестало биться. Он пришел в себя лишь тогда, когда почувствовал себя на твердой почве. Он, видимо, уплыл далеко. Место, где он очутился, было совершенно неизвестное. Он не понимал, что с ним случилось. Ничего не соображая, он пошел вглубь новой местности. Он чувствовал себя безумно утомленным. Маленький ручеек, выступая из холма, звенел как чистый колокольчик. Он набрал несколько

капель в руку и омочил свои засохшие губы. Страшное событие казалось ему далеким страшным сном. Он шел все дальше и дальше, цветы и деревья заговаривали с ним. Ему становилось радостно на душе. Тогда он снова услышал ту простую песенку. Он побежал навстречу звукам. Вдруг кто-то удержал его за платье.

— Милый Гейнрих, — воскликнул знакомый голос. Он обернулся, и Матильда заключила его в свои объятия. — Почему ты убежал от меня, любимый друг? — воскликнула она тяжело дыша. — Я едва могла нагнать тебя.

Гейнрих заплакал. Он прижал ее к себе.

— Где поток? — воскликнул он со слезами. — Разве ты не видишь его синие волны над нами? — Он поднял глаза: голубой поток медленно плыл над их головами.

— Где мы, милая Матильда?

— У наших родителей.

— Останемся ли мы вместе?

— Вечно, — сказала она, прижав свои губы к его губам и так обняла его, что уже не могла оторваться. Она шепнула ему в уста волшебное тайное слово, отозвавшееся во всем его существо. Он хотел повторить его, как вдруг раздался голос его бабушки, и он проснулся. Он готов был бы отдать свою жизнь за то, чтобы еще раз услышать это слово.



ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Клингсор стоял у его постели и ласково пожелал ему доброго утра. Он сразу проснулся и бросился на шею Клингсору.

— Это относится не к вам, — сказал Шванинг.

Гейнрих улыбнулся и прижался к щеке матери, чтобы не видно было, как он покраснел.

— Хотите позавтракать со мной за городом, на красивом пригорке? — спросил Клингсор. — Дивное утро освежит вас. Одевайтесь. Матильда уже ждет.

Гейнрих радостно поблагодарил за приглашение, которое было ему очень приятно. Он в одну минуту оделся и с глубоким чувством поцеловал руку Клингсору.

Они пошли к Матильде, которая была очаровательна в своем простом утреннем платье и ласково приветствовала его. Она уже уложила завтрак в корзиночку, которая висела у нее на руке, и непринужденно протянула Гейнриху другую руку. Клингсор последовал за ними, и так они прошли через город, уже оживившийся, и направились к маленькому холму у реки; там, под несколькими высокими деревьями, открывался широкий вид вдаль.

— Я уже часто, — воскликнул Гейнрих, — наслаждался видом пестрой природы и мирной близостью ее многообразных владений; но такой творческой и полной радости, как сегодня, я никогда еще не переживал. Та даль близка моей душе, а пышный пейзаж кажется мне моим собственным внутренним видением. Как изменчива природа, хотя поверхность земли кажется неизменной. До чего она становится другой, когда подле нас ангел или более сильный дух, чем тогда, когда какой-нибудь несчастный жалуется на свое горе, или поселанин рассказывает, как неблагоприятна для него погода и как ему нужны для посева хмурые, дождливые дни. Вам, дорогой учитель, я обязан этим наслаждением; именно наслаждением. Никакое другое слово не могло бы вернее определить состояние моего сердца. Радость, удовольствие и восторг только части наслаждения, которое объединяет их с высшей жизнью. Он прижал руку Матильды к сердцу и проник пламенным взглядом в ее краткие открытые глаза.

— Природа, — продолжал Клингсор, — то же для нашей души, что тело для света. Тело удерживает свет, преломляет его в своеобразные краски; оно зажигает вне или внутри себя свет, который, если он равен темноте тела, делает это тело ясным и прозрачным; если же он превосходит темноту тела, то выходит из него, чтобы осветить другие тела. Но даже самое темное тело можно сделать светлым и блестящим через посредство воды, огня и воздуха.

— Я вас понимаю, милый учитель. Люди — кристаллы для нашей души. Они — прозрачная природа. Милая Матильда, вас я хотел бы назвать дивным, чистым сапфиром. Вы ясны и прозрачны, как небо, вы светитесь мягким светом. Но, скажите, милый учитель: мне кажется, что именно тогда, когда яснее всего сблизаться с природой, менее всего можешь и хочешь о ней говорить.

— Это зависит от взгляда, — возразил Клингсор. — Природа иное для нашей радости и нашей души, чем то, что она для нашего разума, для руководящей власти наших мировых сил. Нужно прежде всего не забывать одно из-за другого. Многие знают только одну сторону и пренебрегают другой. Но можно соединить их, и это поведет к благу. Жаль, что лишь немногие думают о том, чтобы свободно и умело разобраться в своем внутреннем мире и умелым разделением обеспечить себе самое целесообразное и естественное пользование своими душевными силами. Обыкновенно одно мешает другому, и таким образом постепенно возникает беспомощная вялость. Когда такие люди хотят выступить во всеоружии всех сил, то начинается страшное смятение и спор, и все неумело валится одно на другое. Я настойчиво предлагаю вам усердно и старательно развивать ваш разум, ваше естественное влечение, знать как все происходит и по каким законам связывается одно с другим. Нет ничего более необходимого поэту, чем понимание сущности всякого дела, ознакомление со средствами достижения каждой цели и умение выбирать самое подходящее по времени и обстоятельствам. Воодушевление без разума бесполезно и опасно, и поэт не в силах будет никого поражать, если сам будет всем поражаться.

— Но разве не необходима поэту внутренняя вера в способность человека управлять судьбой?

— Конечно, необходима, потому что он не может иначе представить себе судьбу, если достаточно об этом поразмыслить; но как далека эта радостная уверенность от тревожной неуверенности, от слепого страха современных людей. Точно так же умеренная, живительная теплота поэтической души прямо противоположна дикому жару болезненного сердца. Такой пыл ничтожен, оглушительен и мимолетен; теплота же поэта ясно разграничивает все образы, способствует развитию самых разнообразных обстоятельств и ста-

новится вечной в самой себе. Молодой поэт должен быть как можно более умерен и разумен. Для истинно-звучного красноречия нужна широкая, внимательная и спокойная душа. Когда дикий поток бушует в груди, и внимание переходит в дрожащее отсутствие мысли, то получается спутанная болтовня. Я еще раз повторяю, что искренняя душа подобна свету, столь же спокойна и чутка, столь же гибка и проникновенна, столь же властна и столь же незаметна, могущественна, как дивная стихия, которая распределяется равномерно на все предметы и проявляет их в дивном разнообразии. Поэт — чистая сталь, столь же чувствительная, как хрупкая стеклянная нить, и столь же твердая, как неподатливый бумажник.

— Я уже часто чувствовал, — сказал Гейнрих, — что в самые глубокие минуты менее оживлен, чем в другое время, когда мог спокойно ходить и охотно предавался всем занятиям. Тогда меня пронизывало острое духовное сознание, и я мог, как угодно, пользоваться каждым чувством, переворачивать каждую мысль, как настоящее тело, рассматривая ее со всех сторон. Я с молчаливым интересом стоял в мастерской моего отца и радовался, когда мог в чем-нибудь помочь ему или что-нибудь смастерить. Ловкость имеет особенную живительную прелесть, и сознание ее доставляет более длительное и несомненное наслаждение, чем быющее через край чувство непостижимого, чрезмерного восторга.

— Не думайте, — сказал Клингсор, — что я порицаю это чувство; оно должно явиться само собой, и его не должно искать. Редкость его появлений благотворна; появляясь чаще, оно утомляет и ослабляет. Нужно как можно скорее вырваться из сладкого одурения, которое остается после него, и вернуться к правильному и напряженному труду. Это тоже, что с мыльми утренними снами; из их усыпительного вихря вырываешься с усилием, но вырваться необходимо, чтобы не впасть в утомительную вялость и потом не влечься весь день в болезненном изнеможении.

— Поэзия требует, — продолжал Клингсор, — чтобы к ней относились, как к строгому искусству. Превращаясь в одно только наслаждение, она перестает быть поэзией. Поэт не должен проводить весь день в праздности, охотясь за образами и чувствами. Это совершенно ложный путь. Чистая, открытая душа, способность мыслить и созерцать, а также умение направлять все свои силы на взаимно оживляющую деятельность и сохранять их напряженность, — вот в чем требование нашего искусства. Если вы захотите довериться мне, то не пройдет ни одного дня, в который вы не приобриели бы несколько полезных сведений. Город богат художниками всякого рода. Есть здесь несколько опытных государственных деятелей, несколько образованных купцов. Можно легко познакомиться со всеми сословиями, со всеми ремеслами, со всеми

условиями и требованиями общественной жизни. Я с радостью преподам вам ремесленную сторону нашего искусства, и мы будем читать с вами самые замечательные произведения. Вы можете брать уроки вместе с Матильдой, а она охотно будет учить вас играть на гитаре. Каждое занятие будет подготовкою для других; если вы хорошо распределите часы дня, то разговоры и радости вечеров, проведенных в обществе, и виды прекрасных местностей будут доставлять вам каждый раз наново самые светлые наслаждения.

— Какую дивную жизнь вы передо мной открываете, дорогой учитель. Только под вашим руководством я пойму, какая у меня впереди благородная цель. Нет сомнения, что только внимая вашим советам, я могу надеяться достигнуть ее.

Клингсор ласково обнял его. Матильда принесла им завтрак, и Гейнрих нежным голосом спросил ее, разрешает ли она ему учиться вместе с нею, а также согласна ли она принять его в ученики.

— Я вечно буду вашим учеником, — сказал он, в то время, как Клингсор отвернулся от него. Она едва заметно склонилась к нему. Он обнял ее и поцеловал мягкие губы покрасневшей девушки. Она слегка отклонилась от него, но с детской грацией передала ему розу, которую носила у груди. Затем она занялась своей корзинкой. Гейнрих с тихим восхищением посмотрел на нее, поцеловал розу, приколот ее к груди и направился к Клингсору, который глядел по направлению города.

— Откуда вы приехали? — спросил Клингсор.

— Мы спустились с того холма, — ответил Гейнрих. — Там вдали теряется наш путь.

— Вы верно видели красивые местности по дороге?

— Мы почти непрерывно созерцали очаровательные виды природы.

— А ваш родной город тоже красиво расположен?

— Местность наша довольно разнообразна, но она еще дикая, и нам недостает большой реки. Вода — очи природы.

— Рассказ о вашем путешествии, — сказал Клингсор, — доставил мне большое удовольствие вчера вечером. Я вижу, что вас сопровождал дух поэзии. Ваши спутники незаметно сделались голосами его. Вокруг поэта всюду возникает поэзия. Родина поэзии, романтический восток, приветствовал вас своей сладостной скорбью; война открылась вам во всем своем диком величии, а природа и история встретились вам в образе рудокопа и пустынника.

— Вы забываете самое лучшее, милый учитель — небесное откровение любви. Только от вас зависит, чтобы любовь стала навеки моей.

— А ты что скажешь на это? — спросил Клингсор, обращаясь к Матильде, которая подошла к нему. — Хочешь быть неразлучной спутницей Гейнриха? Там, где будешь ты, останусь и я.

Матильда смутилась и бросилась в объятия отца. Гейнрих задрожал от бесконечной радости.

— Разве он захочет быть моим вечным спутником, милый отец?

— Спроси его сама, — растроганно сказал Клингсор.

Она с глубокой нежностью взглянула на Гейнриха.

— Моя вечность — твоё создание, — воскликнул Гейнрих, и слезы потекли по его нежному лицу. Они обняли друг друга. Клингсор заключил их в свои объятия.

— Дети мои, — воскликнул он, — будьте верны друг другу до самой смерти. Любовь и верность превратят вашу жизнь в вечную поэзию.



ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Днем Клингсор повел к себе в комнату своего нового сына, в счастья которого приняли живейшее участие его мать и дедушка, видя в Матильде его ангела-хранителя. Он стал показывать юноше свои книги, и они завели разговор о поэзии.

— Не знаю, — сказал Клингсор, — почему считают, что признавать природу поэтом значит творить поэзию. Природа не всегда проявляет свой поэтический дар. В ней, как и в человеке, есть противоположное начало, слепое вожделение, тупое бесстрашие и вялость, ведущие неустанный спор с поэзией. Эта мощная борьба могла бы быть прекрасным сюжетом для поэмы. Некоторые страны и времена, как и большинство людей, по видимому, совершенно во власти этого врага поэзии; в других же, напротив того, поэзия жива и проявляется во всем. Для историка периоды этой борьбы в высшей степени интересны, а изображение их — приятное и благодарное дело. В такие времена и рождаются обыкновенно поэты. Противной стороне неприятнее всего, что она, противопоставляя себя поэзии, сама становится поэтичной, и нередко в пылу обменивается с нею оружием, так что ее ранят ее собственные коварные стрелы; а раны поэзии, причиненные ей собственным оружием, легко заживают и делают ее еще более очаровательной и сильной.

— Вообще, война, — сказал Гейнрих, — как мне кажется, возникает всегда из поэтических побуждений. Люди думают, что должны сражаться ради какого-то жалкого достояния, и не замечают, что ими управляет романтический дух, стремящийся уничтожить ненужное зло им же самим. Они сражаются во имя поэзии, и оба войска следуют за невидимыми знаменами.

— В войне, — сказал Клингсор, — сказывается движение первобытных сил. Должны возникнуть новые части света, из великого разложения должны вырасти новые поколения. Истинная война — война религиозная; она ведет прямо к гибели, и безумие людей проявляется во всей своей полноте. Многие войны, в особенности те, которые вызваны национальной враждой, относятся к тому же разряду, и это настоящие поэмы. Они создают истинных героев,

которые, как самый благородный противоположный образ поэтов, ничто иное, как мировые силы, произвольно проникнутые поэзией. Поэт, который был бы вместе с тем героем, сам по себе небесный посланник, но изобразить его наша поэзия не в силах.

— Что вы хотите этим сказать, милый отец? — спросил Гейнрих. — Может ли что-нибудь быть слишком высоким для поэзии?

— Конечно. Но в сущности не для поэзии, а только для наших земных средств и возможностей. Уже каждый отдельный поэт должен ограничиваться своей областью, в пределах которой ему приходится оставаться, чтобы устоять и не задохнуться; точно так же для всей совокупности человеческих сил есть определенная граница воссоздаваемости; за этими пределами изображенное не может быть достаточно осязательным и превращается в пустое, обманное уродство. В особенности в период учения нужно чрезвычайно беречься всяких излишеств, ибо живая фантазия любит подходить к границам и, возгордившись, стремится охватить чрезмерное и выразить его. Более зрелый опыт учит избегать несообразности и предоставляет мудрости отыскивать самое простое и высокое. Поэт постарше не стремится подняться выше, чем нужно для того, чтобы распределить весь свой богатый запас в легко понятном порядке; он сознательно не отказывается от многообразия, которое ему дает достаточно материала и нужные сравнения. Я хочу сказать, что во всяком поэтическом произведении должен сквозить хаос сквозь ровную дымку согласованности. Богатство творческой выдумки делается понятным и привлекательным только при легком изложении, в то время как одна только равномерность имеет неприятную сухость арифметики. Хорошая поэзия та, которая нам близка, и нередко ее любимым содержанием становится нечто самое обыденное. Орудия поэтического творчества ограничены; именно это и делает поэзию искусством. Язык вообще имеет определенные границы. Еще более тесен объем каждого народного наречия. Поэт научается своему языку путем упражнения и размышления. Он точно знает, что может сделать своим языком и не станет тщетно напрягать его выше сил. Лишь редко обращает он все силы языка на один пункт; этим бы он утомил и сам уничтожил драгоценное действие умело примененных и сильных выражений. К странным вывертам приучает язык лишь фокусник, а не поэт. Вообще, поэты должны как можно более учиться у музыкантов и живописцев. В этих отраслях искусства видно, до чего экономно следует обходиться с вспомогательными средствами искусства и как важно во всем умелое распределение. Зато, конечно, музыканты и живописцы должны были бы с благодарностью заимствовать у нас поэтическую независимость и внутренний дух каждого стихотворного произведения и измыш-

ления, вообще каждого истинного произведения искусства. Им следовало бы сделаться более поэтичными, а нам более музыкальными и живописными, — конечно, в духе нашего искусства. Не содержание цель искусства, а выполнение. Ты сам увидишь, какие песни тебе лучше всего удаются; наверное, те, содержание которых тебе наиболее ясно и знакомо. Поэтому можно сказать, что поэзия основывается всецело на опыте. Я сам знаю, что в молодые годы я охотнее всего воспевал самое далекое и незнакомое. Что же из этого выходило? Пустая, жалкая шумиха слов, без искры истинной поэзии. Поэтому даже сказка очень трудная задача, и молодой поэт редко в состоянии хорошо выполнить ее.

— Мне бы хотелось, чтобы ты рассказал мне сказку, — сказал Гейнрих. — Те немногие, которые я знаю, несказанно нравятся мне, как бы они ни были незначительны.

— Сегодня вечером я исполню твое желание. Я помню одну сказку, которую написал в еще сравнительно молодые годы. Это ясно в ней сказывается; но, может быть, она будет для тебя тем более поучительной и напомнит тебе многое из того, что я тебе говорил.

— Язык, — сказал Гейнрих, — действительно маленький мир знаков и звуков. Так же, как человек владеет ими, он бы хотел владеть всем миром и свободно проявлять себя в нем. И именно в этом желании проявить в мире то, что находится вне его, в этом стремлении, которое является основным влечением нашего бытия, и лежит основа поэзии.

— Очень жалко, — сказал Клингсгор, — что поэзия имеет обособляющее ее название и что поэты составляют отдельное сословие. В поэзии нет ничего необычайного. Она основное свойство духа человеческого. Разве каждый человек не творит и не мыслит в каждую минуту? — Матильда только что входила в комнату, когда Клингсгор еще прибавил: — Возьмем, например, любовь. Ни в чем необходимость поэзии для сущности человеческой жизни так ясно не проявляется, как именно в любви. Любовь безмолвна, и только поэзия может говорить за нее: или же можно сказать, что любовь не что иное, как высшая поэзия природы. Но зачем говорить тебе то, что ты сам знаешь лучше меня.

— Ведь ты отец любви, — сказал Гейнрих, обняв Матильду, и оба они поцеловали ему руку.

Клингсгор обнял дочь и вышел из комнаты.

— Милая Матильда, — сказал Гейнрих после долгого поцелуя, — мне кажется сном то, что ты моя; но еще более изумляет меня, что ты не была всегда моей.

— Мне кажется, — сказала Матильда, — что я знаю тебя с незапамятных времен.

— Неужели ты действительно меня любишь?

— Я не знаю, что такое любовь, но одно могу тебе сказать: у меня такое чувство, точно я только теперь стала жить, и я так привязана к тебе, что хотела бы отдать за тебя жизнь.

— Дорогая Матильда, только теперь я понимаю, что значит быть бессмертным.

— Милый Гейнрих, как ты бесконечно добр. Какой дивный дух говорит твоими устами! Я бедная, незначительная девушка.

— Как глубоко ты меня пристыдила! Ведь то, что есть во мне, исходит от тебя. Без тебя я был бы ничем. Дух без неба ничто, а ты небо, которое меня держит и сохраняет.

— Каким бы я была блаженным существом, если бы ты была такой же верный, как мой отец. Мать моя умерла вскоре после моего рождения. Отец мой до сих пор почти каждый день плачет о ней.

— Я этого не заслуживаю, но я хотел бы быть счастливее его.

— Я бы хотела долго жить подле тебя, милый Гейнрих. Я наверное сделаюсь гораздо лучше, благодаря тебе.

— Ах, Матильда! Даже смерть не разлучит нас.

— Нет, Гейнрих; где буду я, будешь и ты.

— Да, где будешь ты, Матильда, буду вечно и я.

— Я не понимаю вечности, но мне кажется, что вечность это то, что я испытываю, когда думаю о тебе.

— Да, Матильда, мы вечны, потому что мы любим друг друга.

— Ты не поверишь, милый, с каким глубоким чувством я сегодня утром, когда мы вернулись домой, опустила на колени перед образом Небесной Матери и как несказанно молилась ей. Я точно изливалась в слезах. Мне показалось, что она улыбнулась мне. Теперь только я знаю, что такое благодарность.

— О, возлюбленная, небо дало мне тебя для поклонения. Я молюсь тебе. Ты святая, ты возносишь мои желания к Богу; в тебе он является мне, в тебе он показывает мне всю полноту своей любви. Что такое религия, если не беспредельное согласие, не вечное единение любящих сердец? Где сошлись двое, там Он среди них. Я буду вечно дышать тобой; грудь моя никогда не перестанет вдыхать тебя. Ты божественное величие, вечная жизнь в очаровательнейшей оболочке.

— Ах, Гейнрих, ты знаешь судьбу роз. Будешь ли ты целовать поблекшие уста и бледные щеки с прежней нежностью? Не сделаются ли следы старости следами минувшей любви?

— О, если бы ты могла взглянуть моими глазами в мою душу! Но ты любишь меня и, значит, веришь мне. Я не понимаю, как можно говорить о бренности красоты. Она неуявдаема. То, что меня так неразрывно влечет к тебе, что разбудило во мне вечное стремление к тебе, то не во времени. Если бы ты могла видеть,

какой ты мне кажешься, какой дивный образ проникает сквозь тебя и светится мне отовсюду, ты бы не боялась старости. Твой земной образ лишь тень того очарования. Земные силы стремятся сохранить его, но природа еще не совершенна. Тот образ — вечный прообраз, частица неведомого святого мира.

— Я понимаю тебя, милый Гейнрих; я тоже вижу нечто подобное, когда гляжу на тебя.

— Да, Матильда, высший мир ближе к нам, чем мы обыкновенно думаем. Мы уже здесь живем в нем и видим его тесно переплетенным с земной природой.

— Ты откроешь мне еще много дивного, любимый мой.

— О, Матильда, только от тебя я получил дар прорицания. Все, что у меня есть — твое; твоя любовь поведет меня в святаята жизни, в святую святых духа; ты вдохновишь меня на самые высокие мысли. Как знать, не претворится ли наша любовь в пламенные крылья, которые поднимут нас и понесут на нашу небесную родину, прежде чем смерть достигнет нас. Разве не чудо то, что ты моя, и я держу тебя в моих объятиях, что ты меня любишь и хочешь быть навеки моей?

— И мне теперь все кажется возможным, и я чувствую отчетливо, как во мне горит тихий огонь; как знать, может быть, он преобразит нас и разобьет земные оковы. Скажи мне только, Гейнрих, питаешь ли ты ко мне такое же бесконечное доверие, как я к тебе? Я никогда еще не испытывала ничего подобного, не питала такого чувства даже к моему отцу, хотя я его бесконечно люблю.

— Милая Матильда, я истинно страдаю, что не могу сказать тебе сразу все, что не могу сразу отдать тебе моего сердца. Я в первый раз в жизни говорю с полной откровенностью. Никакой мысли, никакого чувства я от тебя больше не могу утаить: ты должна все знать. Все мое существо должно слиться с твоим. Только самая безграничная преданность может удовлетворить моей любви; ведь в преданности любовь и состоит. Она таинственная гармония нашей самой таинственной сущности.

— Гейнрих, так двое людей никогда еще не любили друг друга.

— Я в этом уверен. Ведь прежде еще не было никогда Матильды.

— Не было и Гейнриха.

— Ах, поклянись еще раз, что ты моя навеки! Любовь — бесконечное повторение.

— Да, Гейнрих, я клянусь быть вечно твоей, клянусь невидимым присутствием моей матери.

— Я клянусь быть вечно твоим, Матильда, клянусь тем, что любовь — знак того, что с нами Господь.

Объятия, бесчисленные поцелуи запечатлели вечный союз блаженной любящей четы.



ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Вечером пришли гости; дедушка выпил за здоровье жениха и невесты и обещал вскоре устроить пышный свадебный пир.

— Зачем медлить? — сказал старик. — Ранняя свадьба — долгая любовь. Я знаю по опыту, что ранние браки самые счастливые. В позднейшие годы супружество не бывает столь благоговейным, как в молодости. Вместе проведенная молодость создает неразрывную связь. Воспоминание самая твердая основа любви.

После обеда пришло еще несколько человек. Гейнрих попросил своего нового отца выполнить обещание.

Клингсор сказал гостям: — Я обещал Гейнриху рассказать сказку; если вы согласны, то, так и быть, расскажу.

— Это Гейнрих умно придумал, — сказал Шванинг. — Вы уже давно ничего не рассказывали.

Все сели вокруг камина, в котором пылал огонь. Гейнрих сел рядом с Матильдой и обнял ее. Клингсор начал:

— Долгая ночь только что наступила. Старый герой ударил о щит, и звук гулко раздался по пустынным улицам города. Он трижды повторил свой сигнал. Тогда высокие цветные окна дворца озарились изнутри и фигуры на них зашевелились. Они двигались все быстрее, по мере того, как усиливался красноватый свет, который начал озарять улицы. Постепенно стали освещаться мощные колонны и стены; наконец, все они засверкали чистой молочной голубизной, переливаясь нежнейшими красками. Все вокруг осветилось. Отблеск фигур, мелькание копий, мечей, щитов и шлемов, которые отовсюду наклонялись к появлявшимся с разных сторон венцам, и, наконец, когда они исчезли, уступая место простому зеленому венку, окружили его широким кругом: все это отражалось в недвижимом море, окружавшем горы, на которых высился город; и даже дальняя высокая цепь гор, опоясывавшая море, покрылась до середины мягким отсветом. Нельзя было ничего ясно различить; но слышался странный гул, как бы из огромной, далекой мастерской. Город же казался на этом фоне светлым и ясным. Его гладкие прозрачные стены отражали нежные лучи и обнаружилась удивительная гармония, благородный стиль всех зданий, их искусное размещение. Перед всеми окнами стояли

красивые, глиняные сосуды с множеством дивно сверкавших ледяных и снежных цветов.

Всего прекраснее был сад на большой площади перед дворцом. В саду были металлические деревья и хрустальные растения, и весь он был усеян пестрыми цветами и плодами из драгоценных камней. Разнообразие и грация фигур, яркость света и красок являли очаровательное зрелище, величие которого довершалось высоким оледеневшим фонтаном посреди сада. Старый герой медленно прошел мимо ворот. Чей-то голос окликнул его из дворца. Он прислонился к воротам, которые открылись с мягким шумом, и вошел в залу, прикрывая глаза щитом.

— Ты еще ничего не видишь? — спросила прекрасная дочь Артура жалобным голосом. Она лежала на шелковых подушках на троне, искусно сооруженном из большого серного кристалла, и несколько девушек старательно растирали ее нежные члены, точно выточенные из молока, слившегося с багрянцем. Во все стороны из-под рук девушек лился очаровательный свет, так волшебным озарявший дворец. Благоуханное дуновение ветра пронеслось по зале. Герой молчал.

— Дай мне дотронуться до твоего щита, — кротко сказала она.

Он приблизился к трону и вступил на пышный ковер. Она схватила его руку, нежно прижала ее к своей небесной груди и коснулась его щита. Доспехи его зазвенели, и проникновенная сила оживила его тело. Глаза его сверкнули, и сердце громко застучало о панцырь. Прекрасная Фрея повеселела, и свет, исходивший из нее, сделался более жгучим.

— Идет король, — крикнула великолепная птица, сидевшая в глубине, за тронном.

Служанки возложили голубое покрывало на принцессу, которое закрыло ее выше груди. Герой опустил щит и взглянул вверх на купол, к которому вели две широкие лестницы по обе стороны залы. Тихая музыка предшествовала королю, который вскоре появился в куполе с многочисленной свитой и спустился оттуда вниз.

Прекрасная птица расправила свои сверкающие крылья, нежно взмахнула ими и запела, точно тысячью голосов, навстречу королю:

«Нас чужестранец милый не обманет,
Наступит вечность, и дохнет тепло.
От сновидений королева встанет,
Когда морей расплавится стекло.
Глухая ночь земли не затуманит.
К нам царство Басни прежнее пришло —
И вспыхнет мир на лоне Фреи страстной,
И каждый вздох отыщет вздох согласный».

Король нежно обнял свою дочь. Духи созвездий окружили трон, и герой занял свое место. Бесчисленное количество звезд наполнило залу милovidными группами. Служанки принесли стол и ящик, в котором лежало множество листков; на них изображены были святые, сокровенные знаки, составленные из созвездий. Король благоговейно поцеловал листки, заботливо смешал их и передал несколько листков дочери. Остальные он оставил себе. Принцесса вынула их по порядку и положила на стол; потом король пристально осмотрел свои листки и, осмотрительно выбирая, стал прибавлять к лежавшим на столе по одному листку. Иногда он точно вынужден был выбирать тот или другой листок. Часто видно было, как он радуется, когда ему удавалось верно выбранным листком создать красивую гармонию знаков и фигур. Как только началась игра, все окружающие стали обнаруживать самый живой интерес и делать странные движения, такие, точно у каждого в руках было невидимое орудие, которым он усердно работал. В то же время в воздухе раздавалась нежная, трогательная музыка, которая как бы исходила от своеобразно сплетавшихся в зале звезд, а также от других странных движений. Звезды качались, то медленно, то быстро, в вечно меняющихся очертаниях и воспроизводили в такт музыке фигуры листков. Музыка беспрестанно менялась, как картинки на столе, и хотя нередко переходы были очень странные и резкие, все же вся музыка объединялась одной простой темой. Звезды с невероятной легкостью летали вслед картинкам. Они то все составляли большую группу, то распадались на маленькие кучки, а то длинный ряд рассыпался, как луч, на бесконечные искры, или же среди разрастающихся маленьких кругов и узоров появлялась снова большая изумительная фигура. Пестрые фигуры в окнах продолжали спокойно стоять. Птица неустанно шевелила на разные лады своими драгоценными перьями. Старый герой тоже все время делал свое невидимое дело, как вдруг король радостно воскликнул: — Все уладится. Железо, брось свой меч в пространство, чтобы люди знали, где находится мир. — Герой сорвал меч, которым был опоясан, повернул его острием к небу, потом схватил и бросил в открытое окно, туда, где был город и ледяное море. Меч пролетел по воздуху, точно комета, со светлым звоном разбился о горную цепь и рассыпался искрами.

В это время прекрасный юноша Эрос лежал в колыбели и мирно спал, между тем как его кормилица Гинистана качала его колыбель и кормила грудью его молочную сестру Басню. Свой пестрый платочек она накинула на колыбельку для того, чтобы яркая лампа писца не мешала ребенку своим светом. Писец продолжал свое дело и только иногда ворчливо оборачивался на детей и хмуро смотрел на кормилицу, которая добродушно улыбалась ему и молчала.

Отец все время входил и выходил из комнаты, каждый раз глядел на детей и ласково кланялся Гинистане. Он непрерывно что-то говорил писцу. Тот внимательно выслушивал, записывал и потом передавал листки благородной, богоподобной женщине, прислонившейся к алтарю: на алтаре стояла темная чаша с прозрачной водой, и женщина глядела в чашу с ясной улыбкой. Она погружала туда листки, и когда, вынимая их, замечала, что на них остались письмена, сделавшиеся блестящими, то отдавала листок писцу. Он вшивал их в большую книгу и видимо досадовал на то, что труд его пропадал даром и что все стиралось. Женщина обращалась время от времени к Гинистане и детям, обмакивала палец в чашу и брызгала на них водой; как только капли воды касались кормилицы, ребенка или колыбели, они превращались в синий пар, который, являя тысячи странных картин, носился вокруг них и видоизменялся. Когда пар этот случайно касался писца, то появлялось множество чисел и геометрических фигур, которые он старательно нанизывал на нитку и вешал себе, в виде украшения, на тощую шею. Мать ребенка, олицетворенная прелесть и очарование, часто входила в комнату. Она казалась непрерывно занятой и, выходя, уносила с собой каждый раз какой-нибудь предмет домашнего обихода; если это замечал подозрительный писец, зорко следивший за нею, то он начинал длинное увещание, на которое никто не обращал внимания. Все, по-видимому, привыкли к его ненужным протестам. Мать стала кормить грудью маленькую Басню; но вскоре ее отозвали, и тогда Гинистана взяла Басню обратно. Ребенок видимо предпочитал брать грудь у нее. Вдруг отец принес тонкий железный прутик, который он нашел во дворе. Писец осмотрел его, проворно повертел и вскоре увидел, что прутик, если его привесить за середину на нитке, сам собой обращается к северу. Гинистана тоже взяла в руки прутик, согнула его, сдавила, подула на него и вскоре придала ему вид змеи, которая внезапно укусила себя за хвост. Писцу вскоре надоело заниматься разглядыванием прутика. Он все точно записал, очень пространно рассуждая о возможной пользе находки. Но к великой его досаде, все его писание не выдержало испытания и бумага вышла белой из чаши. Кормилица продолжала вертеть прутик. Вдруг она коснулась им колыбели, и тогда мальчик стал просыпаться, откинул одеяло, защитил себя одной рукой от солнца, а другой потянулся к змейке. Схватив ее, он вскочил с такой силой, что Гинистана испугалась, а писец чуть не упал со стула от ужаса. Выпрыгнув из колыбели, мальчик стал посреди комнаты, покрытый только своими золотыми волосами, созерцая с невыразимой радостью сокровище, которое в его руках вытягивалось к северу и, видимо, сильно его волновало. Он вырастал на глазах у всех.

— София, — сказал он трогательным голосом женщине, — дай мне выпить из чаши. Она беспрекословно протянула ему чашу; он пил, не отрываясь, причем чаша оставалась полной. Наконец, он ее вернул Софии и нежно поцеловал благородную женщину. Он поцеловал также Гинистану и попросил у нее ее пестрый платок, которым перевязал чресла. Маленькую Басню он взял на руки. Он ей, видимо, очень нравился, и она начала болтать. Гинистана суетилась вокруг него. У нее был очаровательно-легкомысленный вид, и она горячо прижимала его к себе, точно невеста. Что-то ему нашептывая, она увлекала его к дверям, но София строго указала на змею; тогда вошла мать, и он быстро кинулся к ней, приветствуя ее горячими слезами. Писец ушел с мрачным лицом. Вошел отец и, увидав нежные объятия матери с сыном, подошел за ее спиной к очаровательной Гинистане и поцеловал ее. София поднялась по лестнице. Маленькая Басня взяла перо писца и стала писать. Мать и сын углубились в тихий разговор, а отец ушел с Гинистаной в опочивальню, чтобы отдохнуть в ее объятиях от дневных трудов. Через несколько времени вернулась София. Вошел писец. Отец вышел из опочивальни и отправился по своим делам. Гинистана вернулась с пылающими щеками. Писец прогнал с руганью маленькую Басню со своего места и нескоро смог привести в порядок свои вещи. Он передал Софии листки, исписанные Басней, чтобы получить их назад чистыми, но вскоре пришел в ярость, когда София вынула из чаши написанное сверкающим и нетронутым и положила перед ним. Басня прижалась к матери, которая покормила ее грудью и убрала комнату, открыла окно, пустила свежий воздух и принялась за приготовления к пышной трапезе. Из окна открывался очаровательный вид; ясное небо протянулось над землей. На дворе отец усердно работал. Когда он уставал, он поднимал голову к окну, где стояла Гинистана, бросая ему сверху разные лакомства. Мать и сын вышли, чтобы распорядиться и выполнить принятое решение. Писец быстро писал и строил гримасы каждый раз, когда ему приходилось спросить о чем-нибудь Гинистану; у нее была хорошая память, и она помнила все, что произошло. Эрос явился вскоре в красивых доспехах, перевязав через плечо шарфом пестрый платок. Он спросил совета у Софии, когда и как ему отправиться в путь. Писец вмешался непрошено в разговор и предложил составить тотчас же точный маршрут; но на его предложение никто не обратил внимания.

— Ты можешь ехать сейчас; Гинистана поедет с тобой, — сказала София. — Она знает все дороги, и ее всюду хорошо знают. Она примет вид твоей матери, чтобы не вводить тебя в искушение. Если ты найдешь короля, вспомни обо мне; я тогда явлюсь тебе на помощь.

Гинистана переменялась обликом с матерью, что, видимо, доставило удовольствие отцу. Писец был рад их уходу, тем более, что Гинистана подарила ему на прощание свою записную книгу, в которой была обстоятельно изложена семейная хроника. Теперь помехой ему была только маленькая Басня. Ничего бы он так не желал для своего спокойствия и довольства, как того, чтобы и она уехала. София благословила опустившихся на колени путников и дала им сосуд, полный воды из чаши; мать была очень опечалена. Маленькой Басне тоже хотелось отправиться с ними; отец же был слишком занят вне дома, чтобы очень горевать. Наступила ночь, когда они уехали, и месяц высоко стоял на небе.

— Милый Эрос, — сказала Гинистана, — поспешим к отцу. Он меня долго не видел и с такой тоскою ищет меня всюду на земле. Видишь, какое у него бледное, изможденное лицо? По твоему свидетельству он узнает меня и под чужим обликом.

Любовь скользила в темноте,
Лишь месяцу видна.
Теней в чудесной красоте
Раскрылась глубина.

И золотом краев горя,
Ее одеда мгла,
Их за поля и за моря
Фантазия вела.

Высоко подымалась грудь,
Взволнованно дыша,
Предвидела блаженный путь
Безумная душа.

О, Страсть, не плачь, поймешь ли ты,
Что вновь любовь близка?
Зачем мрачат твои черты
Унынье и тоска.

А змейка тонкая ведет,
Лишь северу верна.
И оба мчатся без забот,
Куда манит она.

Любовь летит в пустой простор
Сквозь облака и ночь.
И входит к месяцу во двор;
За нею следом дочь.



На троне ясном он сидит
Один в тоске своей.
Ах, голос дочери звенит!
Он пал в объятия к ней.

Эрос стоял растроганный, глядя на их нежные объятия. Наконец, потрясенный старик сделал усилие над собой и приветствовал гостя. Он схватил свой огромный рог и мощно затрубил в него. Громкий клич пронесся по древнему замку. Остроконечные башни с их сверкающими вышками и глубокими черными крышами зашатались. Замок остановился, ибо он попал на гору за морем. Со всех сторон сбегали слуги; их странные облики и одежды бесконечно тешили Гинистану и не пугали храброго Эроса. Гинистана приветствовала своих старых знакомых, и все предстали перед нею с новой силой и во всем своем природном великолепии. Бурный дух прилива следовал за кротким отливом. Древние ураганы приникли к трепетной груди пламенных, страстных землетрясений. Нежные ливни оглядывались на пеструю радугу, которая побледнела вдали от влекущего ее солнца. Суровый гром негодовал на безумие молний из-за бесчисленных облаков, которые стояли, чаруя тысячами прелестей, и манили пламенных юношей. Две милovidные сестры, утренняя и вечерняя заря, радостно встретили прибывших. Они проливали сладкие слезы, обнимая их. Вид этого удивительного двора был неопишум. Старый король не мог наглядеться на дочь. Она чувствовала себя безмерно счастливой в отцовском замке и неустанно оглядывала вновь и вновь знакомые ей диковины. Радость ее была беспредельна, когда король дал ей ключ от своей сокровищницы и разрешил ей устроить там представление для Эроса, которое бы заняло его до того, как дадут знак к отбытию. Сокровищница короля была садом неопишумого разнообразия и богатства. Между огромными полосатыми облаками расположены были бесчисленные воздушные замки поразительного строения, одни очаровательнее других. Там бродили стада овец с серебристо-белой, золотистой и розовой шерстью; самые разнообразные животные оживляли чашу своим присутствием. Самые изумительные картины представлялись взорам, и внимание было непрерывно занято праздничными шествиями, странными колясками, появлявшимися со всех сторон. На грядках росли пестрые цветы. Здания были переполнены всевозможным оружием, прекраснейшими коврами, обоями, занавесами, кубками, необозримыми рядами утвари и оружия. На возвышении они увидели романтическую местность, усеянную городами и замками, храмами и кладбищами; она соединяла прелесть населенных равнин с страшным обаянием пустыни и скалистых стран. Прекраснейшие краски являли гармоничные сочетания.

Вершины гор сверкали, как фейерверк в своих ледяных и снежных покровах. Равнина улыбалась нежной зеленью. Даль наряжалась всеми оттенкам синевы, и из морского мрака выступали бесчисленные пестрые флаги больших флотов. Тут, в глубине, виделось кораблекрушение, а вперед веселый пир поселян; там грозно-прекрасное извержение вулкана, гибельное землетрясение, а на переднем плане нежные ласки любящей четы под тенью дерев. На крутом спуске шла кровопролитная битва, а под нею представлялся взорам театр с забавнейшими масками. С другой стороны, на переднем плане, виделось молодое мертвое тело на катафалке, у которого стоял безутешный возлюбленный; рядом плачущие родители. А в глубине сидела миловидная мать с ребенком у груди; ангелы расположились у ног ее и выглядывали из-за ветвей над ее головой. Сцены непрерывно менялись и, наконец, слились в большое таинственное представление. Небо и земля пришли в полное смятение. Все ужасы вырвались наружу. Мощный голос призывал к оружию. Страшное войско скелетов с черными знаменами вихрем спустилось с темных гор и напало на жизнь, которая со своими юными полчищами предавалась веселым празднествам в светлой долине и не ожидала нападения. Поднялся страшный шум, земля задрожала, буря ревела и ночь осветилась чудовищными метеорами. Полчище привидений стало разрывать с неслыханной жестокостью нежные члены живых. Воздвигся костер, и пламя стало, среди ужасающего воя, пожирать детей жизни. Вдруг из темной груди пепла разлился во все стороны молочно-синий поток. Призраки хотели броситься в бегство, но поток рос на глазах и, наконец, поглотил отвратительные создания. Вскоре все ужасы были уничтожены. Небо и земля слились в сладкую музыку. Дивной красоты цветок плыл, сверкая, по мягким волнам. Сияющая дуга перекинулась через поток, а на дуге сидели на спусках по обе стороны божественные фигуры на пышных престолах. София восседала на самом верху, с чашей в руках, рядом с величественно прекрасным человеком; у него был веноч из дубовых листьев на кудрях, а в правой руке держал он вместо скипетра пальму мира. Лилейный листок склонялся к чашечке плавающего цветка; маленькая Басня сидела на нем и пела под звуки арфы нежные песни. В чашечке лежал сам Эрос, склоненный над прекрасной спавшей девушкой, которая крепко охватила его руками. Маленький бутон обвил их обоих так, что они, начиная с бедер, как бы превратились оба в один цветок.

Эрос поблагодарил Гинистану, выражая безграничный восторг. Он нежно обнял ее, и она охотно отвечала на его ласки. Утомленный тяжким путем и всем виденным им, он почувствовал желание удобно расположиться и отдохнуть. Гинистана, испытывая сильное влечение к прекрасному юноше, конечно, не напомнила

ему о питье, которое София дала ему с собой в путь. Она повела его в отдаленную купальню, сняла с него вооружение, а сама надела ночную одежду, в которой имела странно-обольстительный вид. Эрос погрузился в опасные волны и вышел из них опьяненный. Гинистана осушила его и стала растирать его сильное юношеское тело. Он вспомнил с пламенной тоской свою возлюбленную и обнял в сладком забвении очаровательную Гинистану. Он беззаботно отдался бурной нежности и, наконец, заснул после сладостного наслаждения на прекрасной груди своей спутницы.

Тем временем дома произошла печальная перемена. Писец запутал слуг в опасный заговор. Его злобная душа уже давно искала случая завладеть управлением дома и сбросить свое иго. Этот случай теперь представился. Сначала его приверженцы завадели матью, которую они заковали в железные цепи. Отца тоже посадили на хлеб и на воду. Маленькая Басня услышала шум в комнате. Она залезла на алтарь и, увидав, что позади его есть потайная дверь, быстро открыла ее. За дверью оказалась лестница. Басня закрыла дверь за собой и спустилась в темноте вниз по лестнице. Писец стремительно бросился к алтарю, чтобы отомстить маленькой Басне и взять в плен Софию. Но обе они исчезли. Чаши тоже не оказалось. В своем гневе он разбил алтарь на тысячу кусков, но все-таки не смог найти потайную дверь.

Маленькая Басня долго спускалась вниз. Наконец, она вышла на площадь, окруженную великолепной колоннадой и запертую большими воротами. Все там было темное. Воздух был точно огромная тень; в небе стояло черное сверкающее тело. Все можно было ясно различить, потому что каждая фигура была другого черного оттенка и отбрасывала светлое сияние; свет и тень как будто переменялись здесь ролями. Басня обрадовалась, что очутилась в новом мире. Она оглядывалась с детским любопытством. Наконец, она подошла к воротам, у которых лежал прекрасный сфинкс на тяжелом пьедестале.

— Что тебе здесь надобно? — спросил сфинкс.

— Я ищущу то, что мне принадлежит, — ответила Басня.

— Откуда ты пришла?

— Из древности.

— Ты еще ребенок.

— Я всегда буду ребенком.

— Кто защитит тебя?

— Я сама себе защита. Где сестры? — спросила Басня.

— Везде и нигде, — ответил сфинкс.

— Ты знаешь меня?

— Еще не знаю.

— Где любовь?

— В воображении.

— А София?

Сфинкс пробормотал что-то невнятное и зашелестел крыльями.

— София и Любовь! — торжествующе воскликнула Басня и вошла в ворота. Она вступила в огромную пещеру и радостно подошла к старым сестрам, которые при тусклом мраке лампы, горевшей черным светом, свершали свое странное дело. Они не подавали виду, что узнают маленькую гостью, которая приветливо суетилась вокруг них.

Наконец, одна сердито крикнула, с злобной гримасой: — Что тебе здесь надо, лентяйка? Кто тебя впустил? Твоя ребяческая возня колеблет тихое пламя. Масло горит без всякой пользы. Лучше бы ты села и взялась за какое-нибудь дело.

— Милая тетенька, — сказала Басня, — я совсем не люблю бездельничать. Какая у вас смешная привратница. Ей хотелось взять меня и покормить грудью, но она верно слишком наелась и не могла подняться. Позвольте мне сесть у дверей и дайте мне пряжу. Здесь мне не видно. К тому же, сидя за прялкой, я люблю петь и болтать, а это могло бы помешать вам в ваших важных думках.

— Из пещеры мы тебя не выпустим, но в комнате рядом есть свет; луч из верхнего мира проникает сквозь расщелины скал. Там ты можешь прясть, если умеешь. Тут целые груды старых концов. Их ты можешь скрутить. Но берегись: если ты будешь прясть лениво, или если порвется нитка, то нити обовьются вокруг тебя и задуют тебя. — Старуха злобно засмеялась и продолжала прясть.

Басня схватила охапку нитей, взяла прялку и веретено и выскочила, напевая, из комнаты. Она выглянула в отверстие и увидела созвездие Феникса. Радуюсь этому счастливому знаку, она весело взялась за пряжу, раскрыла немного дверь коморки и стала тихо напевать:

«Проснитесь в темной келье,
Вы, жившие века.
Покиньте подземелье,
Заря недалека.

Я скоро ваши нити
В одну соединю.
Раздоры прокляните,
Пойдем навстречу дню.

Один — во всех разлейся,
И все — в одном живи.
Единым, сердце, бейся
Дыханием любви!

Пока вы — дух без плоти,
Видение и вздох.
Но если в ад сойдете,
Спугните этих трех».

Веретено завертелось с невероятной быстротой между маленькими ножками, в то время как она крутила обеими руками тонкую нить. Во время песни появились бесчисленные огоньки, которые проскальзывали в замочную скважину и наполняли пещеру уродливыми личинами. Старухи в это время продолжали ворчливо прясть и ждали криков и плача маленькой Басни. Но до чего они испугались, когда вдруг за их плечами показался какой-то страшный нос и когда, обернувшись, они увидели, что вся пещера полна страшных существ, производивших всевозможные бесчинства. Они бросились друг к дружке, завывали страшным голосом и окаменели бы от ужаса, если бы в эту минуту не вошел в пещеру писец, имевший при себе волшебный корень мандрагоры. Огоньки заползли в ущелья скал, и в пещере стало светло, потому что черная лампа среди общего смятения упала и потухла. Старухи обрадовались приходу писца, но негодовали против маленькой Басни. Они позвали ее, закричали на нее хриплыми голосами и запретили ей продолжать работу. Писец насмешливо ухмыльнулся, считая, что теперь маленькая Басня в его власти, и сказал: — Хорошо, что ты здесь и что можно заставить тебя работать. Надеюсь, что тебя будут в достаточной мере наказывать. Это тебя твой добрый гений привел сюда. Желаю тебе долгой жизни и много удовольствия.

— Благодарю за добрые пожелания, — сказала Басня. — Видно, что тебе теперь хорошо живется. Недостает только песочных часов и серпа, а то ты был бы на вид совсем точно брат моих красавиц теток. Если тебе нужно будет гусиное перо, выщипни горсточку нежного пуха из их щек.

Писец хотел было броситься на нее. Она улыбнулась и сказала: — Если тебе милы твои густые волосы и умные глаза, то берегись; вспомни мои ногти. У тебя и так немного осталось.

Он раздраженно повернулся к старухам, которые терли глаза и ощупью искали прялку. Они ничего не могли найти, потому что лампа потухла, и стали осыпать Басню бранными словами.

— Отправьте ее, — злобно сказал он, — ловить таранулов для изготовления вашего масла. Я хотел сказать вам в утешение, что Эрос без усталости летает, и вашим ножницам будет много работы. Его мать, которая часто заставляла вас прясть слишком длинные нити, станет завтра добычей пламени.

Он пощекотал себя, чтобы засмеяться, когда увидел, что Басня при этом известии пролила немало слез, затем дал кусочек корня старухам и ушел, морща нос.

Сестры сердитым голосом приказали Басне отправиться за тарантулами, хотя у них была еще достаточный запас масла. Басня быстро побежала. Она сделала вид, точно открывает ворота, затем громко снова захлопнула их и тихонько прокралась вглубь пещеры, где свешивалась сверху лестница. Она поспешно вскарабкалась вверх по ней и вскоре дошла до западной двери, которая открывалась в покои Арктура.

Король сидел, окруженный своими советчиками, когда появилась Басня. Северная корона украшала голову короля. Он держал лилию в левой, весы в правой руке. Орел и лев сидели у ног его.

— Государь, — сказал Басня, почтительно преклоняясь перед ним. — Слава твоему твердо укрепленному престолу! Радостные вести твоему раненному сердцу! Скорое возвращение мудрости! Вечное пробуждение миру! Покой мятежной любви! Просветление сердца! Жизнь древности и воплощение будущему!

— Король коснулся ее открытого лба лилией. — Все, чего ты просишь, будет исполнено.

— Я буду трижды просить, а когда приду в четвертый раз, то любовь будет стоять перед дверью. Теперь дай мне лиру.

— Эридан! Принеси ее сюда, — воскликнул король.

Эридан шумно низринулся с потолка и Басня извлекла лиру из его сверкающих струй.

Басня взяла несколько вещей аккордов; король велел подать ей кубок; она отпила глоток и убежала после многократных выражений благодарности. Она скользила очаровательными волнистыми движениями над ледяным морем, извлекая из струн радостную музыку.

Лед издавал очаровательнейшие звуки под ее стопами. Утес скорби принял их за голоса его ищущих возвращающихся детей и отвечал тысячекратным эхо.

Басня вскоре дошла до берега. Она встретила свою мать. У нее было бледное изможденное лицо, она сделалась стройной и строгой, и ее благородные черты носили следы безнадежного горя и трогательной верности.

— Что с тобой случилось, дорогая мать? — спросила Басня. — Ты стала совсем другой; без потаенного знака я бы тебя не узнала. Я надеялась найти утешение у твоей груди. Я давно тоскую по тебе.

Гинистана нежно приласкала ее, и лицо ее сделалось радостным и приветливым. — Я знала, что писец тебя не поймает. Твой вид оживляет меня. Мне очень тяжело, но я скоро утешусь. Может быть, у меня будет минута покоя. Эрос здесь поблизости, и если он тебя увидит и ты с ним поболтаешь, он, быть может, останется несколько времени. А пока возьми мою грудь; я дам тебе, что у

меня есть. — Она взяла Басню на колени, протянула ей грудь и продолжала, улыбаясь, говорить с малюткой, которая жадно пила:

— Я сама виновата, — сказала она, — в том, что Эрос сделался таким диким и непостоянным. Но я не раскаиваюсь, ибо те часы, которые я провела в его объятиях, сделали меня бессмертной. Я таяла от его пламенных ласк. Точно небесный хищник, он яростно тщился уничтожить меня и потом с гордостью торжествовал над своей трепетной жертвой. Мы поздно проснулись после нашего запретного упоения в странно-измененном виде. Длинные серебристо-белые крылья скрывали его белые плечи и очаровательную полноту гибкого стана. Сила, которая его внезапно превратила из мальчика в юношу, точно вся ушла в его сверкающие крылья, и он снова сделался мальчиком. Тихий зной его лица превратился в капризный, блуждающий огонек, священная строгость — в притворное лукавство, внушительное спокойствие — в детское непостоянство, благородная степенность — в изменчивую подвижность. Я почувствовала непреодолимое страстное влечение к своему равному мальчику, и его веселье насмешки и равнодушие, в ответ на мои нежнейшие просьбы, причиняли мне страдание. Я увидела, как изменился мой облик. Моя беспечная веселость исчезла и уступила место печальной озабоченности, нежной робости. Мне хотелось скрыться с Эросом от всех глаз. У меня не хватало духа взглянуть в его оскорбляющие глаза, и я чувствовала себя пристыженной и униженной. Он один занимал мои мысли, и я готова была бы отдать жизнь, чтобы освободить его от его недостатков. Я продолжала его обожать, как глубоко он ни ранил мои чувства.

С того времени, как он ушел и покинул меня, как трогательно и слезно я ни молила его остаться со мной, я всюду следовала за ним. Он точно нарочно дразнит меня. Едва я настигаю его, как он коварно улетает от меня. Его стрелы вносят всюду опустошение. Я должна все время утешать несчастных, а между тем, сама нуждаюсь в утешении. Голоса несчастных, призывающих меня, указывают мне путь, а их горестный плач, когда мне приходится снова покинуть их, западает мне глубоко в душу. Писец преследует нас с ужасающей яростью и мстит бедным жертвам. Плодом той таинственной ночи было множество странных детей, похожих на своего деда и названных по нем. Окрыленные, как их отец, они постоянно сопровождают его и мучат несчастных, в которых попадает его стрела. Но вот приближается веселый караван. Я должна оставить тебя. Прощай, милое дитя. Его близость будит мою страсть. Будь счастлива в своем начинании.

Эрос прошел мимо, не удостоивая Гинистану, побежавшую ему навстречу, нежного взгляда. Но к Басне он отнесся приветливо, и его маленькие спутники весело заплясали вокруг нее. Басня

обрадовалась свиданию со своим молочным братом и спела под звуки лиры веселую песенку. Эрос задумался и уронил лук. Спутники его заснули на траве. Гинистана обняла его, и он не отклонил ее ласки. Наконец, и Эрос стал дремать; он прижался к Гинистане и заснул, распростерши над нею свои крылья. Утомленная Гинистана была бесконечно счастлива и не спускала глаз со спавшего прекрасного юноши. Во время пения со всех сторон появились тарантулы. Они протянули сверкающую сеть над травой и оживленно двигались в такт по нитям. Басня стала утешать мать и обещала ей скорую помощь. С утеса раздавались нежные отголоски музыки, баюкая оснувших. Гинистана брызнула несколько капель из бережно сохраненного сосуда в воздух и прелестнейшие сны сошли на спавших. Басня взяла сосуд с собой и снова двинулась в путь. Ее струны не умолкали, и тарантулы следовали на быстро сотканых нитях за волшебными звуками.

Вскоре она увидела издали высокое пламя костра, поднимавшегося над зеленым лесом. Она грустно взглянула на небо и обрадовалась, увидав синее покрывало Софии; оно тянулось волнами по земле и покрыло на веки страшную бездну. Солнце стояло в небе огненно-красное от гнева; мощное пламя всасывало его похищенный свет, и как сильно оно ни старалось сохранить себя, все же оно становилось все более бледным и пятнистым. Пламя делалось все более белым и гогучим по мере того, как бледнело солнце. Оно все сильнее всасывало в себя свет, и вскоре сияние, окружавшее дневное светило, было все пожрано. Солнце превратилось в тусклый блестящий круг, и каждый новый порыв зависти и ярости увеличивал извержение убегающих световых волн. Наконец, от солнца остался только черный выгоревший шлак, упавший затем в море. Пламя сделалось невыразимо блестящим. Костер выгорел. Оно медленно поднялось в высь и направилось к северу. Басня вступала во двор, имевший запущенный вид; дом тем временем развалился. Кусты терновника росли в скважинах оконных карнизов, и насекомые ползали по сломанным ступеням. Она услышала страшный шум в комнате. Писец и его товарищи радовались смерти сгоревшей матери, но сильно испугались, увидев гибель солнца.

Они тщетно силились затушить огонь и при этом сильно потерпели. Терзаемые болью и страхом, они выкрикивали неистовые проклятия и жалобы. Они еще сильнее испугались, когда вошла в комнату Басня, и с бешеным криком кинулись к ней, чтобы излить на нее свой гнев. Басня пробралась за колыбель, и ее преследователи попали в своем неистовстве в сеть тарантулов, которые отместили им за это бесчисленными укусами. Вскоре все вместе пустились в бешеный пляс под звуки веселой песенки, которую стала играть Басня. Смеясь над их забавными гримасами,

Басня подошла к обломкам алтаря и отодвинула их, чтобы найти потайную дверь; по ней она спустилась вниз вместе со своей свитой из тарантулов.

Сфнкс спросил: — Что быстрее молнии?

— Мечь, — ответала Басня.

— Что всего непрочнее?

— Обладание не по праву.

— Кто знает мир?

— Тот, кто знает себя.

— Что составляет вечную тайну?

— Любовь.

— У кого покоится эта тайна?

— У Софии.

Сфинкс жалобно съежился и Басня вошла в пещеру.

— Вот я вам принесла тарантулов, — сказала она старухам, которые снова зажгли лампу и усердно работали. Они испугались, и одна подбежала к Басне с ножницами, чтобы заколоть ее. Но она нечаянно ступила на тарантула, который ужалил ее в ногу. Она жалобно крикнула от боли. Другие старухи бросились ей на помощь, но их тоже стали жалить обозленные тарантулы. Так они и не могли подступиться к Басне и дико прыгали по пещере.

— Сотки нам тотчас же, — гневно крикнули они девушке, — легкие одежды для танцев. Мы не можем пошевелиться в тугих юбках и изнашиваем от жары; но непременно смочи нитку паучьим соком, чтобы она не порвалась; и нужно заткать пряжу цветами, что выросли в огне; а не то тебе грозит смерть.

— Хорошо, — сказала Басня и ушла в соседнюю комнату.

— Я добуду вам трех больших мух, — сказала она паукам-крестовикам, которые укрепили свою воздушную пряжу вокруг потолка и на стенах, — но зато вы должны тотчас же соткать мне три красивых легких платья. Цветы, которыми нужно заткать платья, я сейчас принесу. — Крестовики согласились и взялись быстро за работу. Басня пробралась к лестнице и направилась к Арктуру. — Государь, — сказала она, — злые пляшут, а добрые отдыхают. Прибыло ли пламя? — Прибыло, — сказал король. — Ночь миновала и лед тает. Моя супруга показалась издалека. Враг мой уничтожен. Все оживет. Но я не могу еще показаться, ибо один я не король. Проси, чего ты хочешь. — Мне нужны, — сказала Басня, — цветы, выросшие в огне. Я знаю, что у тебя есть искусный садовник, который умеет возвращать их.

— Цинк, — позвал король, — дай нам цветов. — Садовник выступил вперед, взял горшок, полный огня, и стал сыпать в него сверкающую семенную пыль. Через короткое время оттуда взлетели цветы. Басня собрала их в передник и направилась в обратный путь. Пауки много наработали за это время и оставалось только

прикрепить цветы, за что они тотчас же принялись, работая проворно и проявляя много вкуса. Басня благоразумно не обрывала концов, которые висели еще на ткачах.

Она снесла платья уставшим плясуньям; те упали, обливаясь потом, и несколько времени отдыхали от непривычного напряжения. Она ловко раздела тощих красавиц, которые при этом ругали маленькую служанку, и надела на них новые платья, очень изящные и отлично на них сидевшие. Одевая их, она все время расхваливала чары и доброту своих повелительниц, и старухи были восхищены ее лестью и красотой нарядов. Они успели отдохнуть и, снова увлекшись танцами, стали весело кружиться, коварно обещая девочке долгую жизнь и хорошую награду. Басня вернулась в комнатку рядом и сказала крестовикам: — Теперь вам разрешается съесть мух, которых я заманила в вашу ткань. — Пауков и без того раздражало дергание ниток, концы которых были еще при них; а старухи кружились, как безумные. Они поэтому все выбежали и бросились на плясуний. Те хотели защититься ножницами, но Басня потихоньку их унесла. Старухи таким образом были побеждены своими товарищами по ремеслу. Пауки давно так не лакомились; они высосали старух до мозга костей. Басня выглянула из ущелья и увидела Персея с большим железным щитом. Ножницы сами налетели на щит, и Басня попросила Персея образовать ими крылья Эроса и затем увековечить сестер щитом и завершить великое дело.

После того она покинула подземное царство и радостно поднялась в дворец Арктура.

— Лен весь соткан. Неживое снова бездыханно. Живое будет царствовать, создавать безжизненное и пользоваться им. Внутреннее выявится, внешнее сокроется. Занавес скоро поднимется и представление начнется. Еще один раз я обращаюсь к тебе с просьбой, а потом я буду пряхь дни вечности. — Счастливого дитя, — сказал растроганный монарх, — ты наша избавительница. — Я только крестница Софии, — сказала девочка. — Разрешите Турмалину, Цинку и Золоту проводить меня. Мне нужно собрать пепел моей приемной матери, и древний Носитель должен снова подняться для того, чтобы земля опять вознеслась, а не лежала на хаосе.

Король позвал всех троих и велел им проводить девочку. В городе было светло и на улицах заметно было большое оживление. Море с ревом прибывало к высокому утесу, и Басня проехала туда в коляске короля со своими провожатыми. Турмалин тщательно собрал взлетевший пепел. Они обошли вокруг земли, пока не добрались до старого великана, по плечам которого они сползли вниз. Он казался разбитым параличом и не мог шевельнуться. Золото положил ему в рот монету, а садовник пододвинул миску

под его чресла. Басня коснулась его глаз и вылила воду из сосуда на его лоб. Как только вода стекла с глаз в рот и вниз в миску, по всем его мышцам пробежала молнией искра жизни. Он открыл глаза и мощно выпрямился. Басня прыгнула к своим провожатым на вздымавшуюся землю и ласково поздоровалась с ним. — Ты снова пришла, милое дитя? — спросил старик. — Я все время видел тебя во сне. Я знал, что ты явишься прежде, чем отяжелеют мои глаза и земля станет мне бременем. Я верно долго спал. — Земля опять стала легкой, как и была всегда легка добрым, — сказала Басня. — Старые времена возвращаются. Скоро ты будешь снова среди старых знакомых. Я сотку тебе радостные дни и у тебя будет помощник для того, чтобы ты иногда принимал участие в наших радостях и мог бы, опираясь на подругу, вдыхать молодость и силу. Где наши старые приятельницы, геспериды? — У Софии. Вскоре их сад снова зацветет и золотой плод будет по-прежнему благоухать. Они ходят и собирают сладостные растения.

Басня удалилась и поспешила к дому. Он превратился в развалины. Плющ обвился вокруг стен. Высокие кустарники покрывали своею тенью прежний двор и мягкий мох устилал старые ступени. Она вошла в комнату. София стояла у вновь отстроенного алтаря. Эрос лежал у ее ног, в доспехах, более серьезный и благородный, чем когда-либо. Великолепная люстра свисала с потолка. Пол был выложен пестрыми камнями; они широким кругом обводили алтарь, образуя благородно-значительные фигуры. Гинистана наклонилась над ложем, на котором лежал отец, видимо, погруженный в глубокий сон, и плакала. Ее цветущую грацию бесконечно возвышало выражение благочестия и любви. Басня передала урну, в которой собран был пепел святой Софии, которая ее нежно обняла.

— Милое дитя, — сказала она, — твое рвение и твоя верность обеспечили тебе место среди вечных звезд. Ты избрала бессмертное в себе. Феникс принадлежит тебе. Ты будешь душой нашей жизни. Теперь разбуди жениха. Глашатай зовет, Эрос должен отправиться в поиски за Фреей и разбудить ее.

Басня несказанно обрадовалась этим словам. Она позвала своих провожатых, Золото и Цинка, и подошла к ложу. Гинистана смотрела на нее, преисполненная ожидания. Золото расплавил монету и наполнил вместилище, где лежал отец, сверкающе струею. Цинк обвил грудь Гинистаны цепью. Тело поплыло по дрожащим волнам. — Наклонись, милая мать, — сказала Басня, — и положи руку на сердце возлюбленного.

Гинистана наклонилась. Она увидела свой многократно отраженный образ. Цепь коснулась потока, ее рука — его сердца; он проснулся и привлек восхищенную невесту к себе на грудь. Металл сплавился и превратился в светлое зеркало. Отец поднялся, глаза

его сверкнули, и как ни была прекрасна и значительна его фигура, все же тело его казалось как бы тонкой, бесконечно подвижной влагой, которая передавала каждое впечатление разнообразнейшими и очаровательнейшими движениями.

Счастливая чета подошла к Софии, которая благословила их и внушила им, чтобы они усердно глядели в зеркало, ибо оно отражает все в истинном виде, уничтожает всякую мишуру и вечно хранит первообраз. Она взяла затем урну и высыпала пепел в чашу на алтаре. Мягкое шипение возвестило о том, что пепел растворился, и легкий ветер пронесся по одежде и кудрям присутствовавших.

София передала чашу Эросу и он другим. Все отведали божественного питья и ощутили несказуемую внутреннюю радость, внимая приветствию матери. Ее близость ощущалась всеми, и ее таинственное присутствие точно все преображало.

Ожидание исполнилось выше меры. Все поняли, чего им недоставало, и комната сделалась обиталищем блаженных. София сказала: — Великая тайна всем открыта и остается на веки разгаданной. Из страданий рождается новый мир; в слезах пепел растворяется и становится нектаром вечной жизни. В каждом обитает небесная мать, чтобы вечно рождать новое дитя. Чувствуете ли вы сладостное рождение в ударах вашего сердца?

Она вылила на алтарь остаток из чаши. Земля сотряслась в своих глубинах. София сказала: — Эрос, поспеши вместе с сестрой к твоей возлюбленной. Вскоре вы снова меня увидите.

Басня и Эрос поспешили уйти со своими провожатыми. По земле разлилась мощная весна. Все поднялось и зашевелилось. Земля неслась ближе к покрову. Месяц и облака мчались с веселым гамом на север. Королевский замок дивно сиял над морем, и на зубцах стоял окруженный свитой король во всем своем великолепии. Со всех сторон поднимались вихри пыли, в которых вырисовывались знакомые фигуры. Они встречали толпы юношей и девушек, которые стремились в замок и восторженно приветствовали их. На многих холмах сидели счастливые, только что проснувшиеся влюбленные пары и заключали друг друга в объятия, по которым давно истосковались. Новый мир казался им сновидением, и они неустанно радовались прекрасной действительности.

Цветы и деревья мощно росли и зеленели. Все казалось одушевленным. Все говорило и пело. Басня приветствовала всюду старых знакомых. Звери подходили к проснувшимся людям, радостно приветствуя их. Растения угощали их плодами и ароматами и очаровательно наряжали их. Ни один камень не давил более человеческой груди, и все тяжести сплотились вместе, образуя твердую почву. Они пришли к морю. Судно из полированной стали было привязано к берегу. Они сели в него и отвязали веревку. Нос повернулся

к северу, и судно прорезали, точно на лету, ласкающиеся к нему волны. Шелестящий камыш затих; они тихо пристали к берегу и быстро поднялись по широкой лестнице. Любовь была поражена царственным городом и его богатствами. Во дворе бил оживший фонтан, роща шелестела сладчайшими звуками, и в ее жарких стволах и листьях, в ее сверкающих цветах и плодах точно зарождалась и цвела жизнь. Старый герой встретил их у дверей дворца. — Почтенный старец, — сказала Басня. — Эросу нужен твой меч. Он получил от Золота цепь, которая одним концом спускается в море, а другим охватывает его грудь. Возьмись за нее вместе со мной и поведи нас в зал, где покоится принцесса.

Эрос взял из рук старика меч, приставил его к груди и наклонил острие вперед. Двери зала распахнулись и Эрос, восхищенный, подошел к спавшей Фрее. Вдруг произошло сильное сотрясение. Светлая искра пролетела от принцессы к мечу; меч и цепь блеснули, герой поддержал маленькую Басню, которая чуть не упала. Султан на шлеме Эроса заколыхался. — Брось меч, — крикнула Басня, — и разбуди твою возлюбленную. Эрос уронил меч, устремился к принцессе и пламенно поцеловал ее сладостные уста. Она открыла свои большие темные глаза и узнала возлюбленного. Долгий поцелуй запечатлел вечный союз.

С купола спустился вниз король, держа за руку Софию. Созвездия и духи природы следовали за ними блестящими рядами. Несказанно-ясный день заполнил залу, дворец, город и небо. Бесчисленная толпа излилась в огромный королевский зал и смотрела с тихим умилением, как любящие склонили колени перед королем и королевой, которые торжественно благословили их. Король снял с головы венец и возложил его на золотые кудри Эроса. Старый герой снял с него доспехи и король набросил на него свою мантию. Затем он дал ему лилию в левую руку, и София надела очаровательное запястье на соединенные руки любящих, а также увенчала вендом темные волосы Фреи.

— Слава нашим повелителям! — воскликнул народ. — Они всегда жили среди нас, но мы их не знали. Благо нам! Они будут вечно властвовать над нами! Благословите и нас!

София сказала новой королеве: — Брось запястье, знаменующее ваш союз, на воздух, для того, чтобы народ и мир оставались в союзе с вами. Запястье разлилось в воздухе и вскоре над каждой головой появились светлые круги; сверкающая лента протянулась над городом, над морем и землей, которая праздновала вечный праздник весны. Вошел Персей; в руках у него были веретено и корзинка.

— Вот, — сказал он, — останки твоих врагов. — В корзинке лежала каменная доска с черными и белыми квадратами и рядом множество фигур из алебаstra и из черного мрамора.

— Это шахматы, — сказал София; — все войны сведены к этой доске и к этим фигурам. Это памятник старого смутного времени. — Персей обратился к Басне и дал ей веретено.

— В твоих руках это веретено будет вечно нас радовать, и ты будешь нам прясть из самой себя золотую неразрывную нить.

Феникс прилетел с звучным шумом к ее ногам, распростер перед нею свои крылья, на которые она села, и пронесся с нею над тронном, на который более не спускался. Она пропела небесную песню и стала прясть, причем нить как бы вилась из ее груди. Народ снова пришел в восторг и все взоры устремились на милое дитя. Потом снова в дверях раздалось ликование. Старый месяц явился со своей удивительной свитой, и за ним народ нес на руках, как бы в триумфальном шествии, Гинистану и ее жениха.

Их обвивали венки цветов. Королевская семья встретила их с сердечной нежностью, и новая королевская чета провозгласила их своими наместниками на земле.

— Отдайте мне, — сказал месяц, — царство парок, причудливые строения которого только что выступили из-под земли на дворцовом дворе. Я позабавлю вас там представлением, для чего понадобится помощь маленькой Басни.

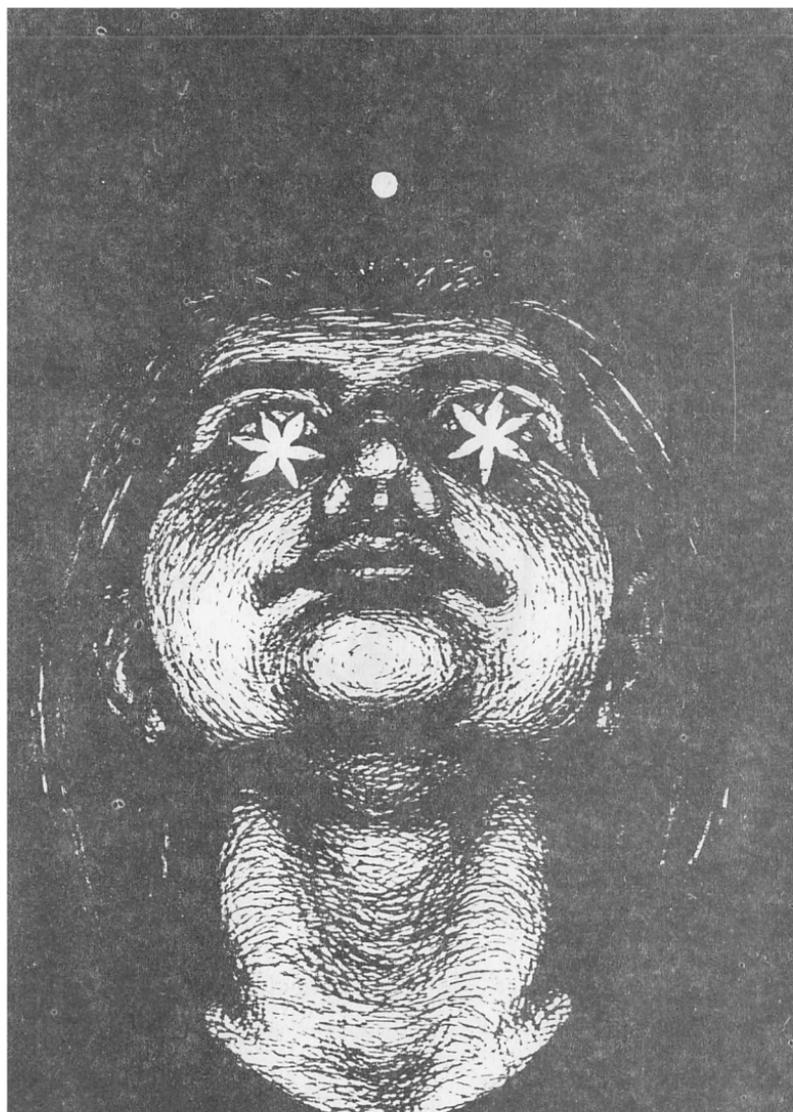
Король согласился; маленькая Басня ласково кивнула головой, и народ обрадовался странному, занимательному времяпрепровождению. Геспериды поздравляли поздравления с восшествием на престол и попросили защиту для своих садов. Король велел принять их, и так следовали одно за другим бесчисленные радостные посольства. Тем временем трон незаметно преобразился и сделался пышным брачным ложем, над пологом которого носились Феникс и маленькая Басня. Три кариатиды из темного порфира подхватывали полог сзади, а спереди он покоился на базальтовой фигуре сфинкса. Король обнял свою зардевшуюся возлюбленную, и народ последовал примеру короля: все стали обниматься. Слышны были только нежные поцелуи и шепот. Наконец, София сказала: — Мать среди нас, ее присутствие принесет нам счастье навеки. Последуйте за нами в наше жилище; мы будем вечно жить там в храме и будем хранить тайну мира. Басня стала усердно прясть и громко запела:

«Основан Вечности заветный град.
В любви и мире позабыт разлад.
Прошли, как сон, страданья вековые.
Властительница душ навек София».

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

СВЕРШЕНИЕ







МОНАСТЫРЬ ИЛИ ПРЕДДВЕРИЕ

Astralis.

Я летним утром вдруг помолодел;
И я почувствовал, как бьется жизнь
Впервые, — и пока моя любовь
В восторгах изливалась без конца,
Я больше просыпался, и стремленье
К сильнейшему, последнему слиянью
Во мне росло и крепло каждый миг.
Я силой сладострастья был зачат.
Я — середина, я — священный ключ,
Откуда каждое томленье льет
Струи свои, куда стремится опять,
Разбитое, покорную волну.
Вы видели меня, не зная.
Вы помните, как я при вас
Ночным скитальцем в первый раз вошел
В тот вечер радостный? Как в тот же миг
Вы дивной дрожью были зажжены?
Я, затаенный в чашечках медовых,
Благоухал и колыхал цветы
В тумане золотом. Я был незримым
Ручьем, бореньем тихим, все текло
Ко мне и сквозь меня, волнуя нежно.
И вот пыльца, упавшая на пестик,
— Вы помните вечерний поцелуй? —
Запенила холодную волну,
Как молния; в меня движенья влились,
Все нити тонкие зашевелились,
Что было тайным помыслом моим,
Вдруг становилось зримым и земным.
Но был я слеп, и только звезд горенье
В таинственном манило отдаленье,
И чудилось мне много теней странных.
Времен былых, времен обетованных.

Рожденный мудрой мукой и любовью
Недолго жил сознания росток.
Кто сладострастие во мне зажег,
Тот напоил меня и горькой кровью,
И мир зацвел по склонам озаренным,
И прорицанье стало окрыленным.
Нет Гейнриха, Матильды нет в сознании,
Они слились в одном очаровании!
Исполнилось! Взросло земное семя,
Меня к лазури вихри вознесли!
Блаженный миг, приди и утоли!
Свои права утратившее время
Дары свои отъемлет у земли.

Иного мира близки дни.
В них померкнут солнечные огни,
И вспыхнут в запустенье мшистом
Дни грядущие в торжестве лучистом.
И все, что длилось каждый день,
Как сказочная встанет тень.
Любви опять настала власть,
И Басня начинается пряхь.
Вот древние игры естества.
Вот новые, мощные слова.
Так дух великий, мировой
Зацветает всюду, всегда живой.
Все должно друг в друга проникнуть,
Все друг от друга зардеть, возникнуть.
Каждый — со всем соединен.
В единстве крепком пали покровы,
В заветные недра входит он,
Там воскресает для жизни новой,
Новым сознанием там окрылен.
И сон — как мир, и мир — как сон.
Все, что казалось, — свершено,
Лишь в отдаленье унесено.
Все перепутав нити, строит
По воле свободное воображенье:
Здесь что-то завесит, а здесь приоткроет,
В волшебном развеется дуновенье.
Горечь и сладость, жизнь и тленье
Слиты в одно для души живой, —
И не узнает исцеленья,
Кто предан страсти роковой.
С болью повязка разорвется,

Упав с духовных наших глаз,
Во все сердце не вернется,
С печальным миром разлучась.
И тело изойдет рыданьем
И мир могилой назовет,
И в мир, сожженное страданьем,
Как пепел, сердце упадет.

По узкой тропинке, которая поднималась в горы, шел странник, погруженный в глубокие мысли. Полдень миновал. Сильный ветер свистел в синем воздухе и его глухие многообразные голоса замирали, едва раздавшись. Не пронесся ли он через страны детства? Или через другие, говорящие страны? То были голоса, звук которых отдавался в глубине души, и все же странник как будто не знал этих голосов. Он дошел до горы, где надеялся обрести цель своего пути.

— Надеялся? — Он уже ни на что не надеялся. Мучительный страх, а также сухой холод равнодушнейшего отчаяния погнали его к диким ужасам гор. Трудности пути смирили разрушительную игру внутренних сил. Он устал, но успокоился. Он еще не видел того, что постепенно заполняло пространство вокруг него, когда сел на камень и оглянулся. Ему показалось тогда, что он спит и видит сон или же был во сне до того. Необозримое величие открылось его взорам; вскоре у него потекли слезы, и силы оставили его. Ему захотелось выплакать всего себя, чтобы не осталось и следа его существования. Посреди сильных рыданий он, наконец, как будто пришел в себя; мягкий, ясный воздух пронизал его, мир снова открылся его чувствам, и старые мысли повели утешающую беседу.

Перед ним был Аугсбург с его башнями. Вдали на горизонте блистало зеркало страшного таинственного потока. Огромный, суровый лес повернулся, с утешением, к страннику, зубчатые горы внушительно покоились над равниной и, вместе с лесом, как бы говорили: — Мчись, поток, сколько хочешь, ты от нас не уйдешь. Я последую за тобой на окрыленных судах; я сломаю тебя, схвачу и поглочу тебя! Доверься нам, странник, этот поток и наш враг, которого мы сами создали. Как бы он ни мчался со своей добычей, все равно он от нас не уйдет.

Бедный странник вспомнил старые времена с их несказанными очарованиями. Но как тускло проносились эти милые воспоминания! Широкая шляпа закрывала молоджавое лицо. Оно было бледно, как ночной цветок. Бальзам молодой жизни претворился в слезы, его вздымающееся дыхание — в глубокие стоны. Все краски поблекли и слились в пепельно серый цвет.

В стороне, на склоне, он увидел как будто монаха, стоявшего на коленях под старым дубом. — Неужели это старый придворный капеллан? — подумал он почти без изумления. Монах казался ему все более высоким и бесформенным, по мере того, как он к нему подходил. Наконец, он увидел, что ошибся; перед ним стоял высокий утес, над которым склонилось дерево. Он в тихом умилении обнял камень и, громко плача, прижал его к груди. — О, если бы теперь исполнились твои слова и святая мать подала бы мне знак! Я так несчастен и покинут всеми. Неужели же в моей пустыне нет святого, который помолился бы за меня? Помолись же ты, дорогой отец, в этот миг за меня.

В то время, как он это подумал, дерево начало дрожать; камень глухо зазвенел, и точно откуда-то из глубины подземной раздались несколько ясных голосов. Они запели:

«Она лишь радость знала,
 Не мучась, не грустя,
 И к сердцу прижимала
 Любимое дитя,
 Целуя лобик милый,
 Целуя вновь и вновь.
 И в ней с непомерной силой
 Росла и крепла любовь».

Тонкие голоса пели, видимо, с бесконечной радостью. Они повторили песню несколько раз. Затем все снова затихло и изумленный странник услышал, как кто-то сказал из дерева:

— Если ты в честь меня сыграешь песню на твоей лютне, то сюда придет бедная девушка. Возьми ее с собой и не отпускай ее. Помни обо мне, когда ты придешь к императору. Я избрала это место, чтобы жить здесь с моим ребенком. Вели выстроить мне здесь крепкий теплый дом. Мой ребенок преодолел смерть. Не печалься. Я с тобой; ты еще пробудешь несколько времени на земле, но девушка будет утешать тебя, пока ты тоже не умрешь и не приобщишься нашим радостям.

— Это голос Матильды! — воскликнул странник и пал на колени, молясь. Тогда взора его коснулся сквозь ветви длинный луч, и сквозь этот луч он узрел в небольшом виде далекую дивную красоту, которую невозможно было бы ни описать, ни искусно изобразить красками. То, что он видел, были необычайно тонкие фигуры, и глубокая их радость и наслаждение, их небесное блаженство сказывались в том, что даже неживая утварь, колонны, ковры, украшения, словом, все, что представлялось взорам, казалось не сделанным руками, а как бы выросшим и составившимся, подобно полному соков растению, из собственной жажды радости.

А среди этих предметов двигались люди очаровательного вида, в высшей степени любезные и ласковые друг с другом. Впереди всех стояла возлюбленная странника, и казалось, что она хочет с ним заговорить. Но ее слов не было слышно, и странник только смотрел с голубоким томлением на ее очаровательные черты и на то, как она с ласковой улыбкой кивнула ему и приложила руку к левой стороне груди. Вид ее был ему бесконечно отраден, и странник долго еще лежал в блаженном восторге, когда видение исчезло. Святой луч извлек все страдание и заботы из его сердца; душа его сделалась снова чистой и легкой и дух свободным и веселым. Ничего не оставалось, кроме тихого глубокого темления и грустного отзвука на самой глубине. Дикие муки одиночества, суровая боль несказанной утраты, ужасающее чувство пустоты и земной слабости исчезли, и странник снова почувствовал себя в полном значении мире. Голос и речь снова в нем ожили, и все показалось ему более знакомым и пророческим, чем прежде; смерть представилась ему высшим откровением жизни; на свое собственное быстротечное существование он глядел теперь с детским чувством светлой растроганности. Грядущее и минувшее соприкоснулись в нем и заключили тесный союз. Он очутился далеко вне действительности, и мир стал дорог ему лишь теперь, когда он потерял его и стал в нем чужим; лишь недолго предстояло ему блуждать по большим пестрым залам. Наступил вечер, и земля лежала перед странником словно старый, милый дом, который он нашел покинутым после долгого отсутствия. Тысячи воспоминаний теснились в нем. Каждый камень, каждое дерево, каждый холм будили память. Каждый предмет в отдельности напоминал о старой были.

Странник взял лютню и запел:

«Слезы счастья, пламя жизни,
Брызги, брызги,
Освяти мой храм веселый,
Где я призван раем вечным.
Взвейтесь, слезы, словно пчелы,
В славословье бесконечном.

Вас родные ветви примут
И обнимут,
И спасут от гороз и града.
Чудом станет и святыней
Это дерево в долине
Ей взлелеянного сада.

Даже камень, весь склоненный,
Опьяненный,
К Матери припал, рыдая.
Если в камнях — благочестье,
Людам ли не плакать вместе,
Кровь за Деву отдавая?

Угнетенные, столпитесь
И склонитесь
Здесь в неутомимом хоре.
Здесь от жалоб все отвыкнут,
Все счастливые воскликнут:
Некогда мы знали горе!

Стены каменные встанут,
Ввысь воспрянут.
Пусть в долинах вопль молений
В трудное и злое время:
Сердцу сладко это бремя,
Вверх на светлые ступени!

Матерь Божья, лик любимый!
Я, гонимый,
Удаляюсь в озаренье.
Вечной кротости внимаю.
Ты — Матильда! Знаю, знаю,
О тебе мое томленье.

Не спрошу я, нечестивый,
Но призыву
Пламенному вечно внемлю.
Грезя о твоей отчизне,
В тысячах волшебных жизней
Я прославляю эту землю.

Чудеса времен застывших
И небывших —
Вас навеки я взлелеял.
Славься, храм мой незабвенный,
Где поток лучей священный
Грезы горькие развеял».

Занятый пением, он ни на что не обращал внимания, когда же оглянулся, то увидел, что около него, подле утеса, стояла молодая девушка. Она ласково приветствовала его, как старого

знакомого, и пригласила его пойти с нею в ее дом, где она уже приготовила ему ужин. Он нежно заключил ее в свои объятия. Все в ее существе было ему мило. Она просила его подождать несколько мгновений, стала под дерево, с невыразимой улыбкой взглянула вверх и высыпала из передника множество роз на траву. Затем она тихо стала на колени подле них, но тотчас же поднялась и увела странника.

— Кто сказал тебе обо мне? — спросил странник.

— Наша мать.

— Кто твоя мать?

— Матерь Божия.

— С которых пор ты здесь?

— С тех пор, как вышла из гроба.

— Разве ты уже раз умерла?

— А то как бы я теперь жила?

— Ты здесь живешь совсем одна?

— В моем доме живет старик, но я знаю еще много других, которые жили.

— Тебе хочется остаться у меня?

— Я ведь тебя люблю.

— Откуда ты меня знаешь?

— С давнего времени. И о тебе рассказывала моя прежняя мать.

— У тебя еще есть мать?

— Да, но она все та же.

— Как ее звали?

— Мария.

— Кто был твой отец?

— Граф Гогенцолерн.

— Я его тоже знаю.

— Конечно, знаешь; ведь он и твой отец.

— Мой отец в Эйзенахе.

— У тебя есть еще другие родители.

— Куда же мы идем?

— Всякий путь ведет домой.

Они вышли на открытое просторное место в лесу, где стояло несколько развалившихся башен за глубокими рвами. Юный кустарник вился вокруг старых стен, как юношеский венок вокруг серебристых волос старца. Тому, кто глядел на серые камни, на молниеобразные трещины и на очертания страшных, высоких фигур, открывалась безмерность времен, и продолжительнейшие периоды истории казались сосредоточенными на пространстве мгновений. Так небо являет безграничные области облеченных в глубокую синеву и окутывает дальние полчища своих тяжелых, огромных облаков молочным блеском, невинным, как щеки мла-

денца. Они вошли в старые ворота, и странник немало удивился, когда очутился среди редких растений и увидел скрытый среди развалин очаровательный сад. Позади был маленький каменный домик новой архитектуры, с большими светлыми окнами. Там стоял старый человек за широколиственными кустами и привязывал слабые ветви к палочкам. Спутница странника подвела его к старику и сказала:

— Вот Гейнрих, о котором ты так часто меня спрашивал.

Когда старик обернулся к нему, Гейнриху показалось, что перед ним стоит рудокоп.

— Это врач Сильвестр, — сказала девушка. Сильвестр обрадовался Гейнриху и сказал:

— Много времени прошло с тех пор, как меня посетил твой отец таким же молодым, как ты теперь. Я тогда познакомил его с сокровищами минувшего, с драгоценным наследием слишком рано угасшего мира. Я увидел в нем задатки большого скульптурного дарования. У него были глаза, преисполненные радости, истинно творческие глаза. Лицо его выражало внутреннюю твердость и упорное рвение. Но непосредственная действительность пустила слишком глубокие корни в нем. Он не слушался зова своей истинной природы; хмурая суровость неба его родины убила в нем нежные ростки благороднейшего растения. Он сделался искусным ремесленником, и его воодушевление превратилось в безрассудство.

— Я действительно часто с грустью замечал в нем скрытое недовольство, — сказал Гейнрих. — Он работает без усталости по привычке, но без внутреннего желания. Ему точно чего-то недостает, чего ему не может заменить мирная тишина его жизни, удобства его обеспеченности, радостное сознание того, что его уважают и любят его сограждане и что к нему обращаются за советами во всех городских делах. Его знакомые считают его очень счастливым человеком; но они не знают, до чего он пресыщен жизнью и каким пустым иногда кажется мир, как страстно ему хочется покинуть его; не знают они также и того, что он так прилежно работает не из стяжательства, а только для того, чтобы рассеять это настроение.

— Что меня более всего удивляет, — возразил Сильвестр, — это то, что он предоставил ваше воспитание вашей матери и старательно избегал вмешательства в дело вашего развития, не предназначал вас ни к какой определенной деятельности. Вы должны радоваться тому, что выросли, не терпя ни в чем ограничения от своих родителей. Ведь большинство людей лишь остатки пышного пиршества, расхищенного людьми разных аппетитов и вкусов.

— Я не знаю, — возразил Гейнрих, — что такое воспитание, если только это — не жизнь и взгляды моих родителей и препо-

давание моего учителя, придворного капеллана. Мне кажется, мой отец, при всей холодности его образа мыслей, побуждавшего его видеть во всех обстоятельствах лишь кусок металла и искусственную работу, все же невольно, и сам того не зная, питает тихое благоговение и страх Божий ко всем непостижимым явлениям высшего порядка; расцвет ребенка он не может поэтому не созерцать со смиренным самоотвержением. Тут действует дух, исходящий из непосредственного источника бесконечности. Чувство превосходства ребенка в самом возвышенном, неотразимая мысль о необходимости руководить этим невинным существом, которое собирается вступить на столь опасный путь, при его первых шагах, отпечаток дивного мира, еще не ставшего неузнаваемым в потоке земного, и, наконец, обаяние собственных воспоминаний о тех баснословных временах, когда мир казался нам более светлым, более дружественным и более заманчивым, и дух прозрения почти видимо нас сопровождал — все это расположило моего отца к благоговейному и скромному обращению.

— Сядем здесь на терновую скамейку среди цветов, — прервал его старик. — Циана нас позовет, когда будет готов ужин, и я прошу вас продолжить рассказ о вашей прежней жизни. Мы, старики, больше всего любим слушать про детские годы, и мне кажется, что, благодаря вам, я вдыхаю аромат цветка, которого не вдыхал с детства. Только скажите мне сначала, как вам нравятся моя пустыня и мой сад; эти цветы мои друзья. Мое сердце здесь, в этом саду. Все, что вы здесь видите, любит меня и любимо мною нежной любовью. Я здесь среди моих детей и кажусь себе старым деревом, из корней которого выросла вся эта веселая молодежь.

— Счастливый отец, — сказал Гейнрих, — ваш сад — мир. Развалины — матери этих цветущих детей. Пестрое живое мироздание извлекает пищу из развалин минувших времен. Но неужели мать должна была умереть для того, чтобы процвели дети, и неужели отец должен сидеть у ее могилы в вечных слезах?

Сильвестр протянул руку рыдающему юноше и встал, чтобы принести ему только что расцветшую незабудку, скрепленную веткой кипариса. Вечерний ветер как-то особенно шумел в верхушках сосен, за развалинами. Доносился их глухой шелест. Гейнрих спрятал заплаканное лицо, обняв шею доброго Сильвестра, и когда снова встал, вечерняя звезда поднялась во всем своем блеске над лесом.

Помолчав, Сильвестр начал: — Я хотел бы вас видеть в Эйзенахе среди ваших сверстников. Ваши родители, почтенная ландграфиня, славные соседи вашего отца, и старый придворный капеллан составляют прекрасное общество. Их беседы должны были рано повлиять на вас, в особенности ввиду того, что вы были единствен-

ным ребенком. Я представляю себе также местность, где вы жили, в высшей степени приятной и значительной.

— У меня является действительное знание моей родины, — возразил Гейнрих, — лишь с тех пор, как я покинул ее и увидел много других мест. Каждое растение, каждое дерево, каждый холм и каждая гора имеют свой особый кругозор, свою характерную для каждого из них местность. Она принадлежит данной горе, и ею объясняется строение горы, весь ее состав. Только животное и человек могут передвигаться с места на место; им принадлежит весь мир. Все местности вместе взятые являют большую мировую местность, бесконечный кругозор, влияние которого на человека и на животных столь же явственно, как влияние ближайшей среды на растение. Вот почему люди, которые много путешествовали, так же как перелетные птицы и хищные звери, отличаются от других своим более развитым умом и некоторыми удивительными свойствами и способностями. Но, конечно, среди них есть и более и менее восприимчивые к воздействию этих мировых сфер, их разнообразного содержания и распределения. Кроме того, многим людям недостает нужного внимания и спокойствия, чтобы вникнуть сначала в смену зрелищ и их связь, а потом уже подумать и сделать нужные сравнения. Я теперь только часто чувствую, до чего моя родина окрасила неизгладимыми красками мои самые ранние мысли; образ ее сделался таинственным выражением моей души, и я тем яснее вижу это, чем глубже понимаю, что судьба и душа человеческая названия одного и того же понятия. — На меня, — сказал Сильвестр, — всегда наиболее сильное впечатление производила природа, живой покров земли. Я всегда тщательнейшим образом изучал все разновидности растительного царства... Растения — непосредственный язык почвы. Каждый новый листок, каждый своеобразный цветок являет какую-нибудь тайну, пробивающуюся наружу; она становится немой, спокойным растением только потому, что от любви и радости не может двинуться и сказать слово. Когда в глуши видишь такой цветок, не кажется ли, точно все вокруг просветилось и точно звуки маленьких пернатых существ охотнее всего носятся поблизости этого цветка? Хочется плакать от радости и, отделившись от мира, зарыться руками и ногами в землю, чтобы пустить корни и никогда не лишаться отрадной близости. Весь мир, сухой, устлан этим таинственным зеленым ковром любви. Каждой весной он обновляется, и его странные письма понятны лишь тому, кто любим — как восточный букет цветов. Он будет вечно и ненасытно читать, и с каждым днем ему будет раскрываться новый смысл, новые все более и более чарующие тайны любящей природы. В этом бесконечном наслаждении и состоят для меня скрытые чары блуждания по всей поверхности земли: каждая местность в отдельности

разрешает для меня другие загадки и все более объясняет мне, откуда идет путь и куда он ведет.

— Да, — сказал Гейнрих, — мы начали говорить о детских годах и о воспитании, потому что находились в вашем саду; истинное откровение детства, невинный мир цветов, незаметно разбудил в нас вылившееся в слова воспоминание о цветах прежнего времени. Мой отец тоже большой любитель садоводства; самые счастливые часы своей жизни он проводит среди цветов. Благодаря этому душа его осталась открытой для понимания детей, ибо цветы подобны детям. Щедрое богатство бесконечной жизни, мощные силы позднейшего времени, величие конца мира и золотое будущее всего сущего здесь еще теснее слиты, но все же наиболее ясно и понятно раскрываются. Всемогущая любовь уже дает ростки, но еще не зажигает. Это не пожирающее пламя, а рассеивающееся благоухание, и как ни тесно единение нежных душ, все же оно не сопровождается резкими движениями и всепожирающим неистовством, как у животных. Так детство в своих глубинах ближе всего к земле; облака же, быть может, явления второго, высшего детства, вновь обретенного рая; поэтому они изливаются на первое благотворными росами.

— Есть, конечно, нечто очень таинственное в облаках, — сказал Сильвестр, — и они оказывают часто самое чудотворное влияние на нас. Они несутся, и им точно хочется поднять и унести нас со своей холодной тенью. И если очертания их прелестны и пестры, как вздох, выражающий наше затаенное желание, то ясность облаков, дивный свет, проливающийся из-за них на землю, становится предвестием неведомого, несказанного очарования. Но бывают также мрачные, строгие и страшные облака, которые как бы грозят всеми ужасами древней ночи. Небо точно никогда не хочет проясниться, радостная синева уничтожена и тусклый меднокрасный цвет на иссеро-черном фоне вызывает ужас и страх в груди каждого. Когда после того сверкнут пагубные молнии и насмешливым хохотом зазвучат раскаты грома, мы пугаемся до глубины души. И если в нас тогда не возникает возвышенное чувство нашего нравственного превосходства, то нам кажется, что мы во власти злых духов и ужасов ада.

Это просыпаются в нас отзвуки старой дочеловеческой природы, но вместе с тем это и будящие звуки высшей природы, божественной совести. Смертное содрогается в своих основах, но бессмертное начинает ярче светиться и познает себя.

— Когда же, наконец, — сказал Гейнрих, — прекратится необходимость боли, скорби и всякого зла на земле?

— Когда утвердится единая сила — сила совести, когда природа сделается целомудренной и нравственной. Причина зла только одна — общая слабость. Слабость же эта ничто иное, как недостаточная нравственная восприимчивость и недостаточное влечение к свободе.

— Объясните мне сущность совести.

— Если бы я мог объяснить ее, я был бы Богом, ибо постижение совести есть вместе с тем и ее возникновение. Можете ли вы объяснить мне сущность поэтического творчества?

— Нельзя давать определения тому, что носит личный характер.

— Тем более нельзя объяснить тайну высшей неделимости. Разве можно объяснить музыку глухому?

— Так значит, понимание означает участие в новом, им самим открытом мире? Значит постичь что-нибудь можно лишь обладая тем, что постигаешь?

— Мир, как целое, разделяется на бесконечные миры, входящие в миры еще большие. Все чувства, в конце концов, *одно и то же* чувство. Одно чувство ведет, как и один мир, постепенно ко всем мирам. Но на все есть свое время, и все существует по-своему. Только живущий в целостном мире может понять соотношения нашего мира. Трудно сказать, можем ли мы, ограниченные ощущениями нашего тела, расширить наш мир новыми мирами, умножить наши чувства новыми чувствами, или же каждое расширение нашего познания, каждую новоприобретенную способность следует считать только развитием нашего мирового чувства в его теперешнем виде.

— Может быть, оба они одно и то же, — сказал Гейнрих. — Я знаю только то, что для меня поэтический вымысел — все в себе заключающее орудие, которым создается мой теперешний мир. Даже совесть, эта сила, творящая чувства и миры, этот зародыш всякой личности, представляется мне духом мировой поэмы, случайностью вечного романтического соединения бесконечно изменяющейся общей жизни.

— Почтенный странник, — возразил Сильвестр, — совесть проявляется в каждом серьезном завершении, в каждой образовавшейся истине. Каждое влечение, каждое умение, переработанное путем мысли в мировой образ, становится явлением, преображением совести. Всякое образование ведет к тому, что нельзя назвать иначе, чем свободой, хотя этим следует обозначать не только самое понятие, но и созидательную причину всего сущего. Эта свобода — мастерство. Мастер пользуется свободой творчества согласно своим намерениям и в определенной обдуманной последовательности. Произведения его искусства принадлежат ему и зависят от него; он ими не скован, и они ему не препятствуют. И эта всеобъемлющая свобода, мастерство или владычество, и составляет сущность, действенную силу совести. В ней раскрывается священная обособленность, непосредственное творчество личности, и каждое действие мастерства вместе с тем свидетельство высшего, простого, незапутанного мира — слово Господне.

— Значит, и то, что прежде, как мне кажется, называлось учением о нравственности, — только религия, как наука — только, так называемое, богословие в самом настоящем смысле слова? Только законопорядок, который относится к богопочитанию, как природа к Богу? Только построение слов, строй мыслей, который обозначает высший мир, его собой представляет и на известной ступени развития его заменяет? Религия для способности понимать и судить? Приговор, закон распада и определения всевозможных обстоятельств индивидуального существа?

— Конечно, совесть, — сказал Сильвестр, — прирожденный посредник всякого человека. Она заменяет Бога на земле и потому является для многих высшим и последним. Но как далека была современная наука, которую называют учением о добродетели или о нравственности, от чистого образа этой возвышенной, всеобъемлющей, индивидуальной мысли. Совесть самое основное в человеке в полном своем преображении; она небесный прообраз человека. Совесть — это не то или другое; она не отдает приказаний в изречениях общего характера, она не состоит из отдельных добродетелей. Есть только одна добродетель — чистая и напряженная воля, которая в решительную минуту непосредственно решает и выбирает. Обиталищем для ее живой и своеобразной нераздельности служит тот нежный символ, каковым является человеческое тело; она одухотворяет его и может вызвать к существеннейшей деятельности все, что в нем есть духовного.

— О, дорогой отец, — прервал его Гейнрих, — какой радостью преисполняет меня свет, исходящий из ваших слов! Значит, истинный дух поэтического вымысла — благосклонное преобразование духа добродетели; истинная же цель подчиненного ей поэтического творчества — стать двигательной силой высшего и истиннейшего бытия. Есть поражающее сходство между подлинной песнью и благородным поступком. Праздная совесть в ровном, непротивоборствующем мире превращается в захватывающую речь, в повествующую обо всем поэзию. В равнинах и чертогах этого присносущего мира живет поэт, и добродетель — дух его земных странствований и воздействий. Так же, как совесть — непосредственно действенное божество среди людей и вместе с тем дивный отсвет высшего мира, и поэзия является тем же самым. Как уверенно может поэтому поэт следовать голосу своего вдохновения или, если он обладает сверхчеловеческим чувством, следовать высшим существам и отдаваться своему признанию с детским смирением! И в нем говорит высший голос мира и зовет обаятельными притчами в более благостные, более знакомые миры. Как религия относится к добродетели, так вдохновение относится к поэзии, и если в священных книгах сохранились истории откровения, то поэзия разнообразно отражает жизнь высшего мира в возникающих

чудесным образом поэмах. Поэзия и история сопровождают друг друга на самых запутанных путях в тесном сплетении и в самых странных преобразованиях; библия, как и поэзия, — созвездия, идущие по одной орбите.

— Это совершенная правда, — сказал Сильвестр, — и теперь вам будет понятно, что только благодаря духу добродетели природа существует и все более утверждается. Дух добродетели всезажигающий, всеоживляющий свет в пределах земного. От звездного неба, этого возвышенного купола каменного царства, до кудрявого ковра на пестром лугу, все держится им, через него связано с нами и становится нам понятным; и через него неведомый путь бесконечной истории природы ведет к конечному преображению.

— Да, и вы так прекрасно доказали мне только что связь добродетели с религией. Все, что объемлет собой опыт и земную деятельность, входит в сферу совести, которая соединяет наш мир с высшими мирами. При высшем понимании возникает религия, и то, что прежде казалось непостижимой потребностью нашей природы на самой ее глубине, общим законом без определенного содержания, становится чудесным, родным, бесконечно разнообразным и всецело удовлетворяющим миром, непостижимо тесным единением всех блаженных в Боге и осязательным обожествляющим присутствием наиболее личного существа или его воли, его любви в глубине нас самих.

— Невинность вашего сердца делает вас пророком, — ответил Сильвестр. — Вам все станет понятным; мир и его история превращаются для вас в священное писание, так как вселенная может быть выявлена в простых словах и рассказах; если и не прямо, то путем возбуждения и пробуждения высших чувств. К тому, что вам открыла восторженная любовь к языку, меня привело изучение природы. Искусство и история дали мне знание природы. Родители мои жили в Сицилии, неподалеку от знаменитой горы Этны. У них был удобный дом старинной архитектуры; он стоял под прикрытием вековых каштановых деревьев у самого скалистого морского берега, составляя украшение сада, где росли разнообразнейшие растения. Поблизости было много хижин, где жили рыбаки, пастухи и виноделы. Наши кладовые и погреба полны были всего, что сохраняет жизнь и украшает ее; предметы нашего домашнего обихода радовали все сокровенные чувства своим совершенством. Не было недостатка и в других вещах, созерцание которых, так же как и пользование ими, поднимало душу над обыденной жизнью, возвышало потребности и подготовляло к более достойному состоянию, сулило душе более чистую радость от самой ее сущности и давало эту радость. Там были изображения людей из камня, утварь, расписанная целыми повествованиями, маленькие камни с отчетливыми фигурами на них и другие пред-

меты, сохранившиеся от иных, более радостных времен. Кроме того, в ящиках лежало много пергаментных свитков, которые, в длинных рядах букв, хранили знания и мысли, повествования и стихи того минувшего времени, изложенные в мастерских красивых выражениях. Благодаря своей славе, которую он приобрел, как искусный толкователь звезд, отец мой получал многочисленные запросы даже из далеких стран, и к нему приходило много посетителей. А так как предвидение будущего казалось людям очень редким и драгоценным даром, то они хорошо вознаграждали его за предсказания; отец мой мог, благодаря их подаркам, свободно вести удобный и приятный образ жизни.





ПРОДОЛЖЕНИЕ «ГЕЙНРИХА ФОН ОФТЕРДИНГЕНА» В ИЗЛОЖЕНИИ ТИКА

Дальше автор не пошел в разработке этой второй части. Он озаглавил эту часть «Свершением», так же как назвал первую «Ожиданием», ибо здесь все должно было разрешиться и исполниться, что намечено было в первой части. Поэт намеревался, по окончании «Офтердингена», написать еще шесть романов, в которых хотел изложить свои взгляды на естествознание, на общественную жизнь, на историю, политику и любовь, так же как в «Офтердингене» изложены были его взгляды на поэзию. И без моего указания осведомленный читатель увидит, что в этом произведении автор не считал себя связанным с точным временем или с личностью известного минезингера, хотя все должно напоминать его и его время. То, что он не закончил этого романа, — непоправимая утрата не только для друзей автора, но и для искусства; оригинальность романа и его высокий замысел проявились бы во второй части еще более ярко, чем в первой. Не тем он был занят, чтобы рассказать и изобразить то или другое происшествие, развернуть страницу поэзии и пояснить ее образами и событиями. Он хотел, как уже намечено в последней главе первой части, выразить самую сущность поэзии и выяснить ее основные задания. Все — природа, история, война, обычная жизнь со всеми обыкновеннейшими происшествиями, — превращается в поэзию, потому что она дух, все оживляющий.

Я попытаюсь, насколько я сохранил в памяти разговоры с моим другом и насколько мне это выяснилось из оставленных им бумаг, дать понятие читателю о содержании второй части этого произведения.

Поэту, который проник в самую суть своего искусства, ничто не кажется противоречивым и чуждым; все загадки для него разгаданы, волшебство фантазии связывает для него эпохи и миры; чудеса исчезают и все превращается в чудо. Так написана эта книга, и в особенности в сказке, которой заканчивается первая часть, читатель найдет самые смелые объединения. Уничтожены все различия, которыми эпохи казались отделенными одна от другой и вследствие которых один мир казался враждебным дру-

гому. Эта сказка введена поэтом для перехода ко второй части, в которой рассказ из самого обыденного возносится в чудесное; обыденное и чудесное взаимно объясняют и дополняют одно другое; дух, который произносит написанный стихами пролог, должен был возвращаться после каждой главы и длить то же настроение, то же волшебное преобразование всего. Благодаря этому, невидимый мир оставался в постоянном сплетении с видимым. Этот говорящий дух — сама поэзия и вместе с тем звездный человек, родившийся от объятий Гейнриха и Матильды. В нижеследующем стихотворении, которое должно было войти в «Офтердингена», поэт выразил в чрезвычайно легкой форме дух своих книг:

Когда не знаки и не числа
 Дадут ключи мирского смысла,
 Когда певец или влюбленный,
 Узнает больше, чем ученый,
 Когда на волю мир умчится
 И заново к миру обратится,
 Когда сияния и мраки
 Опять сольются в ясном браке,
 И в сказках разгадают снова
 Историю пути мирского,
 Тогда-то *тайна* здесь прозвучит,
 И извращенный мир отлетит.

Садовник, с которым говорил Гейнрих, тот же самый старик, который уже однажды принимал отца Офтердингена; молодая девушка, которую зовут Цианой, не его дочь, а дочь графа Гогенцолерна; она родом с востока, и хотя рано покинула родину, но все же ее помнит. Она долго вела жизнь в горах, где ее воспитывала ее умершая мать. Одного брата она потеряла очень рано и сама однажды очень близка была к смерти, попав в могильный склеп; ее спас необычайным образом один старый врач. Она весела и приветлива и очень сроднилась с чудесным. Она рассказывает поэту историю его собственной жизни так, точно она уже слышала ее когда-то от своей матери. Она посылает его в отдаленный монастырь, монахи которого составляют нечто вроде колонии духов; все там вроде мистической, магической логи. Они жрецы священного огня в молодых душах. Он слышит далекое пение братьев, в самой церкви ему является видение. С одним старым монахом Гейнрих говорит о смерти и о магии; у него являюся предчувствия смерти и мысли о камне мудрости. Он посещает монастырский сад и кладбище. О кладбище у него есть следующее стихотворение:

Славьте праздник наш бесстрастный,
Тихие сады и кельи,
И удобную посуду
И добро в домах
Гости жалуют всечасно
Рано или поздно: всюду
Жаркое горит веселье
На широких очагах.

Тысячи резных бокалов,
Прежде облитых слезами,
Кольца, панцыри и латы —
Это наша дань.
И камней тяжеловесных
Много в подземельях тесных,
И не счесть богатств окрестных,
Хоть без усталы считай.

Населявшие бывшее,
Древности седой герои,
Сотрясавшие высокий
Голубой эфир,
Девы нежные, пророки,
Старцы дряхлые и дети
Собрались в единой клетке,
Видят снова прежний мир.

Не покинет нашей сени,
Нашей участи завидной,
Кто за радостным обедом
Гостем был хоть раз.
Смокли горестные пени,
Раны старые не видны,
Плач томительный неведом,
Вечно длится вечный час.

Горними взволнован снами
В упоении нездешнем
Купол неба перед нами,
Синева — ясна.
Окрыленные покровы
Носят нас по нивам вешним,
Ветер не дохнет суровый,
Неизменна тишина.

Упоенье чар полночных,
Волхование сил заочных,
Игр неясных наслажденье
Ведомы лишь нам.
В нашей воле дерзновенье
Исчезать в водовороте,
Распыляться в водомете,
Жадно приникать к волнам.

Страсть была нам первой жизнью.
Трепетные, как стихии,
Рвемся в жизненные волны,
В буйный сплав сердец.
Сладостно распались волны.
Да, враждебные стихии
Будут страсти высшей жизнью,
Тайным сердцем всех сердец.

Слышим только лепет неги,
Видим только, что блаженно
Опустились долу очи,
Пьем лишь поцелуи уст.
Все, что неприметно тронем,
Вдруг плодом зардеет знойным,
Нежной грудью тихо дрогнет,
Жертвой буйных чувств.

Вечное растет томленье
Милого обнять в волненье,
В сокровенном единенье
Все с любимым слить.
Жажде не сопротивляться,
Вечно гибнуть и меняться,
Лишь друг другом упиваться,
Лишь друг в друге вечно быть.

Так любви и сладострастью
Мы верны в тиши великой,
С той поры, как искрой дикой
Прежний мир потух;
С той поры, как холм закрылся,
И костер угас блестящий,
И навек душе дрожащей
Лик земли закрылся вдруг.

Чарами воспоминанья,
Сладостной и жуткой дрожью
Все пронизаны желанья,
Страсть охлаждена.
Есть нестынувшие раны,
Мы печаль лелеем Божью.
В пламенные океаны
Всех равно волеет она.

В этих волнах мы сойдемся
Все по воле непонятной,
В океане всех явлений,
В Божьей глубине.
Но из сердца мира льемся,
Как и прежде, в круг возвратный;
Дух верховных устремлений
С нами на заветном дне.

Рвите золотые цепи,
Изумруды и рубины,
Драгоценные запястья,
Блеск и звон колец.
Бросьте ложа в душном склепе.
Подземелья и руины,
В розах неземного счастья
Взвейтесь к Вымыслу в дворец.

Если будущие братья
Разгадают, как охотно
Их восторги, их желанья
Делим мы всегда —
Бледное существованье
Все покинут без изъята, —
Люди! время быстролетно!
Милые! скорей сюда!

Кто Земного Духа свяжет,
Кто значенье смерти схватит,
Слово жизни кто укажет?
Прежний мир ушел.
Угнетавший мертвым ляжет,
Свет заемный он утратит,
Сильный сверженного свяжет,
Дух Земной, твой час прошел.

Это стихотворение было, быть может, опять прологом ко второй главе. Тут должен был начаться совершенно новый период всего произведения; из тишайшей смерти должна была развиваться высшая жизнь. Он жил среди мертвых и сам с ними говорил; книга должна была приобрести почти характер драмы, а эпический тон должен был как бы только соединять отдельные сцены и легко их объяснять. Гейнрих попадает вдруг в беспокойную Италию, распатанную войнами, и оказывается полководцем во главе войска. Все входящее в состав войны, окрашено поэзией. Он нападает с небольшим отрядом на неприятельский город, и сюда входит эпизод любви знатного пизанца к флорентинской девушке. Военные песни. — Великая война, как поединок, абсолютно благородная, человечная, проникнутая философским смыслом. Дух старого рыцарства. Рыцарские турниры. Дух вакхической грусти. — Люди должны сами убивать друг друга; это благороднее, чем падать сраженными судьбой. — Они идут навстречу смерти. — Честь, слава — радость и жизнь воина. В смерти, как тень, живет воин. Радость смерти — воинственный дух. — На земле война у себя дома; война должна существовать на земле. — В Пизе Гейнрих встречается с сыном императора Фридриха второго, который становится его близким другом. Он попадает и в Лоретто. Тут должны были быть включены несколько песен.

Буря заносит поэта в Грецию. Древний мир с его героями и сокровищами искусства охватывает его душу. Он говорит с одним греком о морали. Все, относящееся к тому времени, становится ему близким; он постигает древние картины и древнюю историю. Разговоры о греческих государственных системах, о мифологии.

После того, как Гейнрих постиг геройский период и древность, он направляется на восток, куда он страстно стремился с детства. Он посещает Иерусалим, знакомится с восточной поэзией. Странные происшествия среди неверных задерживают его в пустынных странах; он встречается семью восточной девушки (см. первую часть); тамошняя жизнь кочевых племен. Персидские сказки. Воспоминания о древнейшем мире. Книга должна была среди различных происшествий оставаться одного и того же цвета и напоминать о голубом цветке: вместе с тем все самые отдаленные и разнородные сказания должны были быть объединены: греческие, восточные, библейские и христианские с воспоминаниями и намеками индийской и северной мифологии. Крестовые походы. Жизнь на море. Гейнрих отправляется в Рим. Эпоха римской истории.

Насыщенный опытом, Гейнрих возвращается в Германию. Свидание с дедом, человеком очень глубоким. С ним Клингсор. Вечерние беседы с обоими.

Гейнрих отправляется ко двору Фридриха и знакомится лично с императором. Двор должен был быть изображен очень внушитель-

ным; там сошлись лучшие, величайшие и прекраснейшие люди со всего света — и в центре всех сам император. Тут осуществлена величайшая пышность, настоящий высший свет. Разъяснена немецкая история и немецкий характер. Гейнрих говорит с императором о государственной власти, о монархии, ведет темные речи об Америке и Ост-Индии. Взгляды правителя. Мистический император. Книга *de tribus impostoribus*.

После того, как Гейнрих переживает по-новому и более возвышенно, чем в первой части — в «Ожидании» — опять то же самое: любовь и смерть, войну, восток, историю и поэзию, он возвращается в свою душу, точно на родину. Из понимания мира и самого себя у него рождается стремление к преобразению: полный чудес сказочный мир подступает совсем близко, потому что сердце открылось для понимания его.

В Манесской коллекции минезингеров есть довольно непонятное состязание в пении Гейнриха фон Офтердингена и Клингсора с другими певцами: вместо этого состязания автор хотел изобразить другой, своеобразный поэтический спор, борьбу доброго и злого начала в песнях верующих и неверующих, в противоположении невидимого мира видимому. «В вакхическом опьянении поэты восторженно состязаются за смерть». Воспеваются науки; математика тоже вступает в состязание. Поэты славят индийские травы: индийская мифология в новом изображении.

Это последнее деяние Гейнриха на земле, переход к его собственному преобразению. Тут разрешение всего произведения, исполнение сказки, заканчивающей первую часть. Все объясняется и завершается самым сверхъестественным и вместе с тем самым естественным образом; стена между вымыслом и правдой, между прошлым и настоящим, пала; вера, фантазия, поэзия раскрывают самую сокровенную глубину внутреннего мира.

Гейнрих приходит в страну Софии, в природу, какой она могла быть, в аллегорическую природу, после беседы с Клингсором о некоторых странных знаках и предчувствиях. Предчувствия рождаются в нем главным образом при звуках старой песни, которую он случайно слышит; в ней поется про глубокое озеро в скрытом месте. Эта песня будит давно забытые воспоминания; он идет к озеру и находит маленький золотой ключик, который у него давно украл ворон и которого он так и не мог отыскать. Этот ключик ему дал, вскоре после смерти Матильды, старый человек. Он сказал Гейнриху, чтобы он понес его императору и тот скажет, что делать с ключиком. Гейнрих отправляется к императору, который очень обрадован его приходом и дает ему старинную грамоту. В ней сказано, чтобы король дал ее прочитать тому, кто когда-нибудь принесет ему случайно золотой ключик. Человек этот найдет в скрытом месте старинную драгоценность — талисман,



карбункул для короны, в которой оставлено для камня пустое место. Самое место тоже описано на пергаментном листе. По этому описанию Гейнрих направляется к некоей горе. По дороге он встречает чужестранца, который впервые рассказал ему и его родителям про голубой цветок; он говорит с ним об откровении. Он входит в гору, и верная Циана следует за ним.

Вскоре он приходит в ту чудесную страну, в которой воздух и вода, цветы и животные совершенно иного рода, чем на земле. Рассказ превращается местами в драму. «Люди, животные, растения, камни и звезды, стихии, звуки, краски сходятся, как одна семья, действуют и говорят, как один род». — Цветы и животные говорят о человеке. — «Сказочный мир становится видимым, действительный мир кажется сказкой». Он находит голубой цветок; это Матильда. Она спит, и у нее — карбункул; маленькая девочка, дочь его и Матильды, сидит у гроба и возвращает ему молодость. — «Это дитя начало мира, золотой век в конце его». — Тут христианство примирено с язычеством и воспеты истории Орфея, Психеи и других.

Гейнрих срывает голубой цветок и освобождает Матильду от злых чар; но он снова теряет ее. Оцепенев от скорби, он превращается в камень. Эдда (голубой цветок, восточная женщина, Матильда) приносит себя в жертву камню; он превращается в звенящее дерево. Циана срубает дерево и сжигает себя вместе с ним; он становится золотым бараном. Эдда, Матильда должна заклать его, и он вновь становится человеком. Во время этих превращений он ведет удивительные беседы.

Он счастлив с Матильдой, которая одновременно и восточная женщина, и Циана. Празднуется радостный праздник души. Все предшествовавшее было смертью. Последний сон и пробуждение. Клингсор возвращается, как король Атлантиды. Мать Гейнриха — фантазия; отец — мысль. Шванинг — месяц; рудокоп — антиквар и вместе с тем железо. Император Фридрих — Арктур. Граф Гогенцолерн и купцы тоже возвращаются. Все сливается в аллегорию. Циана приносит императору камень, но Гейнрих сам теперь поэт из той сказки, которую ему рассказали прежде купцы.

Блаженная страна страдает еще только от околдовавших ее чар в том смысле, что она подвержена смене времен года. Гейнрих разрушает царство солнца. Все произведение должно было закончиться большим стихотворением, только часть которого написана:

БРАК ВРЕМЕН ГОДА

Думой глубокой занят новый монарх. Он припомнил
Сон полуночный свой, давний припомнил рассказ,
Как о небесном цветке он впервые узнал. Пораженный
Правдою вещих снов, замер в могучей любви.
Словно слышит он снова заветный волнующий голос.
Вот он остался один, шумных покинул гостей.
Беглые блики луны озаряли стучащие ставни,
И в молодой груди жаркий клубился огонь.
— Эдда, — молвил король, — ты знаешь влюбленного сердца
Тайную жажду? Ты — знаешь и муку его?
Скажешь — поможем ему, мы всеильны; веком блаженным
Сделаем время вновь, счастье ты в небо прольешь.
«Ах, времена враждуют! Разве слиться не могут
В вечный и крепкий брак — Завтра, Сегодня, Вчера?
Пусть сольется зима с летом, осень с весною,
Старость и Юность в одно, в строгой сольются игре:
В этот миг, мой супруг, иссякнет источник печали.
Сердца заветные сны будут исполнены все».
Так говорила. Король в упоении милую обнял:
— Подлинно изрекла слово небесное ты.
Это слово давно на устах горячих дрожало,
Ты лишь сумела его ясно и четко сказать.
Пусть запрыгут скорей коней, мы сами похитим
Года сперва времена, возрасты жизни потом.

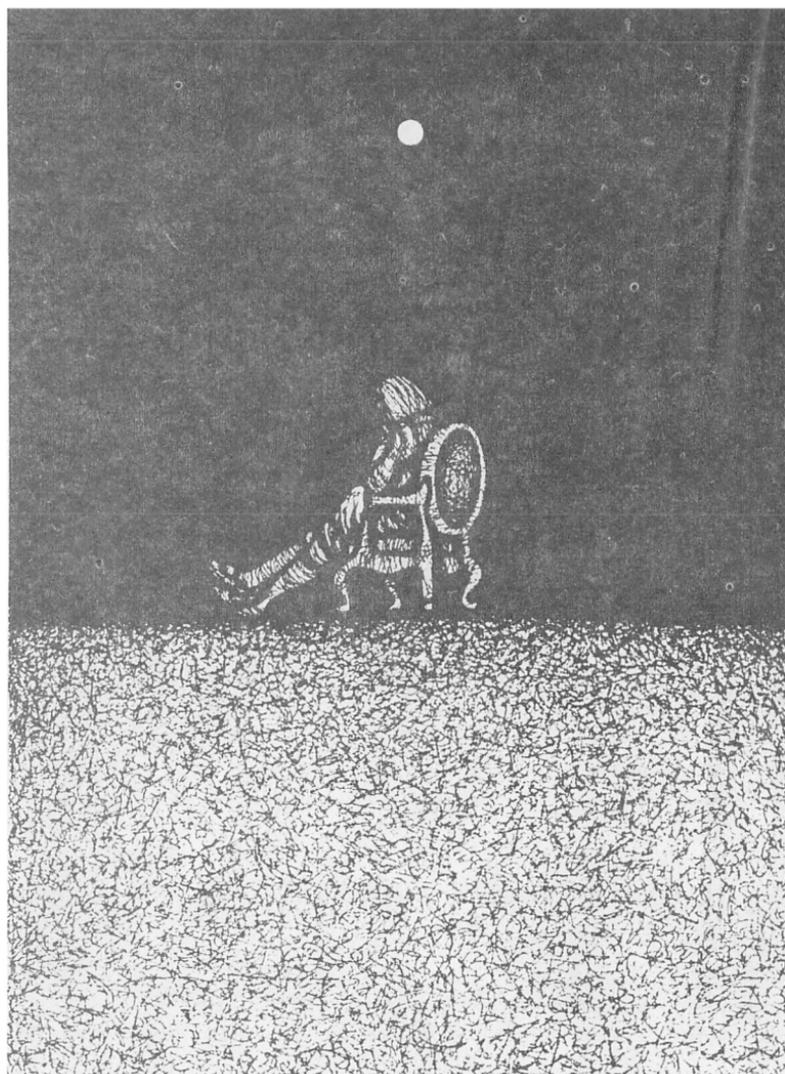
Они едут к солнцу и забирают день, затем едут к ночи, потом на север за зимой и на юг за летом; с востока они привозят весну, с запада осень. Затем они спешат к юности, потом к старости, к прошлому и будущему.

Вот что я могу дать читателю по моим воспоминаниям, а также по отдельным словам и намекам в бумагах моего друга. Разработка этого большого плана была бы вечным памятником новой поэзии. Я старался быть сухим и кратким, чтобы не прибавить чего-нибудь из собственной фантазии. Быть может, читателей тронет отрывочность этих стихов и слов, как она трогает меня, который не мог бы с более благоговейной грустью глядеть на остаток разрушенной картины Рафаэля или Корреджио.

Людвиг Тик

ФРАГМЕНТЫ
В ПЕРЕВОДЕ ГРИГОРИЯ ПЕТНИКОВА







Всякий пепел — это цветень, — чашечка — небо.

Поэзия есть воистину абсолютно Реальное. Это ядро моей философии. Чем поэтичнее, тем истинней.

Сказка подобна канону поэзии. Все поэтическое должно быть сказочным. Поэт поклоняется случаю.

Когда умирает дух, становится он человеком. Когда умирает человек, он становится духом. Свободная смерть духа, свободная смерть человека. Что соответствует в вышних человеческому существованию? Существование демонов или гениев, которым тело — то, что нам душа.

Цветок — это символ тайны нашего духа.

Что больше жизни? — Служение жизни, как служение свету.

Всякое очарование — это искусственно возбужденное безумие. Всякая страсть — это очарование.

Прелестная девушка есть более действительная волшебница, чем это думают.

Мы одновременно в и вне природы.

Удивительно, что абсолютный, чудесный синтез часто есть ось сказки — или ее цель.

Мне любезней всего идти вместе с тем, кто мне верит и меня понимает.

Всякое слово есть слово заклатья. Какой дух зовет — такой и является.

Небо — это душа звездной системы, а она его тело.

Все видимое тяготеет к невидимому, слышимое к неслышимому, осязаемое к неосязаемому. Быть может, мыслимое к неммыслимому.

Первый человек — это первый духовидец. Ему является все в виде духа. Дети — что иное, как не первые люди? Яркий взор ребенка богаче, нежели предчувствие самого отважного провидца.

Мы грезим о странствиях по вселенной; разве же не в нас вселенная? Глубин своего духа мы не ведаем. Внутрь идет таинственный путь. В нас или нигде — вечность с ее мирами, Прошедшее и Грядущее. Внешний мир — мир теней, он бросает свою тень в царство света. Ныне нам мнится, что внутри так темно, одиноко, безобразно. Но как совершенно иначе нам будет казаться, если пройдет это затмение и призрачное тело будет сброшено. Мы будем наслаждаться больше, чем когда-нибудь: ибо наш дух не имеет потребности.

Все законченное выражает не только себя самоё, оно выражает и весь сродный мир. Потому, вокруг законченного всякого рода реет покрывало Вечной Девы, которое от легчайшего прикосновения обращается в магический пар, что становится облачной колесницей провидца. Это не только древнее изваяние, которое видим мы. Оно — одновременно и небо, и подзорная труба, и неподвижная звезда и посему — истинное откровение.

Форма есть антитеза. Содержание — теза. Содержание — нечто самостоятельное, устойчивое; форма — относительное, изменчивое, основа отрицания так же, как содержание — основа реальности. Что можно мыслить отдельно, есть содержание. Что должно мыслить в отношении к чему-нибудь, есть форма.

Кривая линия — победа свободной природы над правилом.

Жизнь — это свобода природы — чувственная свобода.

Всякое начало жизни должно быть антимерханичным, могучим прорывом, сопротивлением механизму; абсолютная материя — первичная стихия духа = душе. Вся жизнь — это непрерывный поток. Жизнь происходит от жизни и далее так... Высшее объяснение жизни.

Поэзия растворяет чуждое бытие в своем.

В настоящих поэмах нет другого единства, кроме единства души.

Не есть ли объятие нечто подобное вечере?

У древних религия была уже в известной степени тем, чем она должна стать у нас — практической поэзией.

Жизнь это — болезнь духа, страстное деяние.

Дух всегда является только в чуждом воздушном образе.

Мы ищем всюду Безусловное, а находим всегда только вещи.

Кто знает, какой возвышенный символ есть кровь? Мерзость органических составных частей заставляет именно заключить об очень возвышенном в них. Мы, как перед призраками, содрогаемся пред ними и с детским ужасом чуем в этой странной смеси таинственный мир, что должен был быть старым знакомым.

Человек: Метафора.

Инстинкт есть искусство без намерения.

Экстаз — внутренний световой феномен = интеллектуальному созерцанию.

Как мне кажется, всюду лежит в основе грамматическая мистика, которая очень легко могла возбуждать первое удивление по поводу языка и письмен. (Дикие народы и поныне считают еще письма волшебством).

Язык — это Дельфы.

Внешность есть возведенное в состояние тайны внутреннее существо. (Может быть и наоборот.)

Истинный поэт — всеведущ; он — действительный мир в малом.

Поэты в одно и то же время изоляторы и проводники поэтического тока.

Поэт и жрец были вначале едины, и только позднейшие времена их разделили. Но истинный поэт всегда оставался жрецом так же, как и истинный жрец — поэтом. И не должно ли Грядущее вновь возратить древнее состояние вещей?

Лирическое стихотворение для героев, оно создает героев. Эпическое стихотворение для людей. Герой лиричен, человек эпичен, гений драматичен. Мужчина лиричен, женщина эпична, брак драматичен.

Лирическое стихотворение — это хор в драме жизни — мира. Лирические поэты суть некий из юности и старости, радости, рока и мудрости смешанный мило хор.

Настоящая сказка должна быть в одно и то же время пророческим, идеальным, абсолютно необходимым изображением.

Истинный творец сказки есть провидец Грядущего.

Если перелагают некоторые стихотворения на музыку, отчего же музыку не перелагают на поэзию?

Эпитеты суть поэтические имена существительные.

Нет ничего поэтичней, чем воспоминание и предчувствие или представление о Грядущем. Представления о древних временах нас влекут к умиранию, к улечуенью. Представления о Грядущем вынуждают нас к животворению, воплощению, к уподобляющей действительности. Потому всякое воспоминание грустно, всякое предчувствие радостно. Первое умеряет слишком большую жизненность, второе вздымает слабую жизнь. Обычайное Настоящее посредством ограничения связывает Прошедшее и Грядущее. Возникает соприкосновенность, а через окоснение кристаллизация. Но есть духовное Настоящее, которое отождествляет то и другое через растворение, и это смешение есть стихия, атмосфера поэта.

Сиэста царства духов — это мир цветов. В Индии люди все еще дремотствуют, и священный их сон, что сад, омываемый сахарными и молочными морями.

Все произвольное должно быть превращено в произвольное.

Должны ли быть краски переходом от абсолютного движения позитивной и негативной световой материи к абсолютному покою? Движение связует то, что разлагает покой, и наоборот.

Мышление — это движение мускулов.

В основе, каждый человек живет в своей воле. Твердое намерение есть общеуспокаивающее средство.

Смерть есть прекращение обмена между внутренним и внешним возбуждением, между душой и миром.

Гармония — это тон тонов, гениальный тон.

Музыка имеет много общего с алгеброй.

Тон: переход от количества к качеству.

Краски: переход от качества к количеству.

Подлинно видимая музыка — это арабески, узоры, орнаменты и т. д.

Контрасты суть обращенные аналогии.

Прекрасное есть видимое κατ'εξοσχην

Идеализм не что иное, как истинный эмпиризм.

Художник непременно трансцендентален.

Поэзия есть великое искусство устройства трансцендентального здоровья. Поэт, таким образом, трансцендентальный врач.

Волшебник — поэт. Пророк так относится к волшебнику, как человек вкуса к поэту.

Наше тело должно стать своевольным, наша душа органической.

Дерево может обратиться только в цветущее пламя, человек — в говорящее, животное — в блуждающее.

Уничтожение воздуха — это восстановление Царства Божьего.

Пространство переходит во время, как тело в душу.

Желания и вожделения — это крылья. Есть желания и вожделения, которые столь мало соразмерны с состоянием нашей земной жизни, что мы можем точно заключить о состоянии, в котором они станут мощными взмахами, о стихии, что их вздымет и об островах, где они смогут спуститься.

Отрывочные мысли суть созерцания и ощущения — следовательно, тела.

О достойном любви предмете мы не можем достаточно наслаждаться, достаточно наговориться. Мы радуемся всякому новому, меткому, возвеличивающему слову. И не от нас это зависит, что он не становится предметом всех предметов.

Если сильно любят, то по слову распускается в нашем внутреннем существе действительный, видимый мир.

Любовь — это непременно болезнь: поэтому чудесное значение христианства.

Ребенок — это любовь, ставшая зримой. — Мы сами — сделавшийся зримым росток любви между природой и духом или искусством.

Никогда не следует признаваться себе в том, что любишь самого себя. Тайна этого признания есть жизненный принцип единственно истинной и вечной любви. Первый поцелуй в этом тайном сношении есть принцип философии, возникновение нового мира, начало абсолютного времячисления, утверждение бесконечно возрастающего самосоюза. Кому бы не понравилась философия, чья проросль есть первый поцелуй?

Человек — это солнце, его чувства — его планеты.

Нет ничего отрадней, как говорить о наших желаниях, если они уже исполняются.

Все, что можно мыслить, мыслит само: есть проблема мышления.

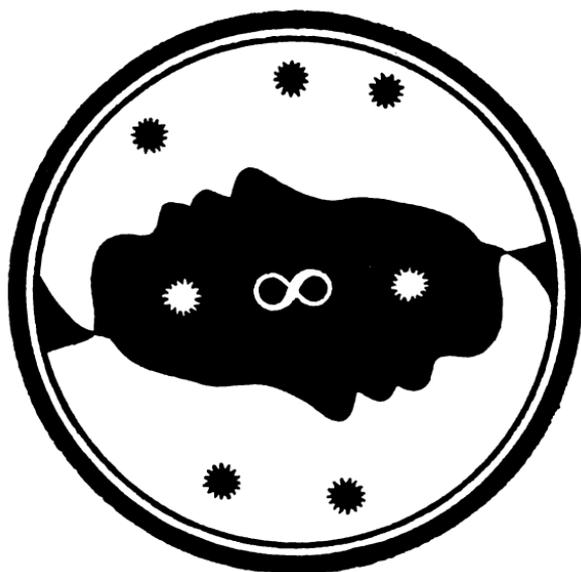
Что любят, то находят повсюду, и везде видят сходства. Чем больше любовь, тем шире и многообразней этот сходный мир. Моя возлюбленная — это аббревиатура вселенной, вселенная — элонгатура моей возлюбленной. Другу наук все они предлагают цветы и подарки для его возлюбленной.

Все, что делает человек, есть человек; или (*quod idem est*) составная часть человека, человеческое существо.

Я = Не-Я:

высшее положение всякой науки и искусства.

Что есть природа? — Энциклопедический, систематический Index, или план нашего духа. Отчего мы хотим удовольствоваться одной только росписью наших сокровищ? Предоставьте нам самим их рассматривать и многообразно обрабатывать и употреблять в дело.



Фатум, что нас гнетет, есть лень нашего духа. Через расширение и развитие нашей действительности мы сами себя обратим в фатум.

Кажется, что все на нас нахлынуло, ибо не вытекаем мы. Мы отрицательны, ибо мы волим, — чем положительней становимся мы, тем отрицательнее становится мир окрест нас, пока, наконец, не будет никакого отрицания, но все мы — во всем.

Бог волит богов.

Всякий метод есть ритм: если кто овладел ритмом мира, это значит, что он овладел миром. У всякого человека есть свой индивидуальный ритм. Алгебра — это поэзия. Ритмическое чувство есть гений.

Все доказуемо = все антиномично.

Существует сфера, где всякое доказательство есть круг или ошибка, где ничто не доказуемо; это есть сфера сотворенного Золотого Века. Полярная сфера и сфера Золотого Века также гармонируют. Я реализую Золотой Век в то время, как я созидаю полярную сферу. В сфере Золотого Века я — без сознания, поскольку я в полярной — без сознания и с сознанием. Итак, я тоже природа и дух, лишь одновременно без сознания — и лишь одновременно с сознанием — и то и другое, и война и мир, только одновременно без сознания и только одновременно с сознанием.

Поэт понимает природу лучше, чем какой-нибудь ученый.

Для нас Новый Завет — это книга, запечатанная семью печатями.

Время есть внутреннее пространство. — Пространство — внешнее время. [Синтез последнего]. Всякое тело имеет свое время, всякое время — свое тело.

Тело, душа и дух — это стихии мира — как эпос, лирика и драма — стихотворения.

Духу свойствен покой.

Наши чувства суть высшие животные. Из них возникает еще более высокий анимализм.

Нервы — это высшие корни чувства.

Особые роды душ и духов, которые обитают в деревьях, ландшафтах, камнях, картинах. Ландшафт следует рассматривать как дриаду и ореаду. Ландшафт нужно ощущать как тело. Каждый ландшафт есть идеальное тело для особого рода духов.

Все люди суть вариации Единого совершенного индивидуума, то есть Единого брака.

Истинная математика — подлинная стихия мага.

В музыке она является формально как откровение, как творческий идеализм. Здесь она удостоверяет, что она небесная посланница, кат'авролов.

Всякое наслаждение музыкально, следовательно, математично.

Метафорический язык — это система логарифмов. Не должны ли звуки идти в известной степени логарифмически?

Куда уходим мы? — Всегда домой.

Жизнь кончается как день и как заверщенное действие, грустно, — но с возвышенной надеждой.

Истинный математик есть энтузиаст *per se*. Без энтузиазма нет математики.

Жизнь богов есть математика.

Чистая математика — это религия.

На Востоке истинная математика у себя на родине. В Европе она выродилась в сплошную технику.

Грядущей жизнью можно спасти и возвысить жизнь прошедшую.

Всякая линия есть мировая ось.

Прекрасная тайна девы, что именно делает ее столь несказанно прувлекательной — это предчувствие материнства, предчувствие будущего мира, который в ней дремлет и должен из нее развиться. Она — разительный подобень Грядущего.

Упоение чувств относится к любви так, как сон к жизни.

Мы близки к пробуждению, когда нам снится, что мы видим сны.

Идеалы — это продукты переходного времени.

Проклинание есть род самозаклятия, самоободрения, шпоренья.

Об одежде, как символе.

Природная поэзия есть наверное подлинный предмет искусственной поэзии, — и внешности поэтической речи кажутся странными формулами сходных соотношений, символическими знаками Поэтического в явлениях.

Времена года, дня, жизнь и судьбы — все они достаточно замечательны, всецело ритмичны, метричны, в лад. В всех ремеслах и искусствах, во всех снарядах, органических телах, в наших каждодневных занятиях, всюду: ритм, метр, лад, напев. Все, что делаем с известной сноровкой, мы делаем это незаметно ритмически. Ритм находится повсюду, всюду вкрадывается. Всякий механизм метричен, ритмичен.

Сходство растений с женщинами. (Цветы — это сосуды.)

О том времени, когда птицы, звери и деревья говорили.

У воинов пестрые одежды потому, что они цветы государства, мирские энтузиасты, окиси.

Я есть Ты.

Всякая сила есть функция времени и пространства.

Играть — это производить опыты со случаем.

Сказка есть как бы сновидение, без связи, совокупность чудесных вещей и происшествий, например, музыкальная фантазия, гармонические ряды Эоловой арфы, сама природа.

У одних личность более пространственна, у других более временна. Не должно ли это быть различием между героями и художниками?

Поэт пользуется вещами и словами как клавишами, и вся поэзия покоится на действительной сопряженности идей, на самодейственном, умышленном, идеальном соиздании случая.

Выражение символ — само символично.

Все мистическое — лично и потому есть стихийная вариация вселенной.

Смешанная воля и стремление к ведению — есть вера.

Разве все люди должны быть людьми? Могут в человеческом образе жить также существа совсем иные, чем люди.

Скука — это голод.

Всякая личность, состоящая из личностей, есть личность во второй потенции, — или гений. Касательно этого можно сказать, что не было вовсе эллинов, но был один только эллинский гений.

Ничто так не поэтично, как всякие переходы и разнородные смешения.

Не должно ли вдохновение у женщины выражаться беременностью?

Вечерние сумерки всегда грустное, тогда как сумерки утра всегда радостный, полный ожидания час.

Мышление есть воление или вбление — мышление.

Воскрешение чужого сознания, животворение чужой личности во внутренней душе — для потребности брака.

Писать стихи — это рожать. Всякое стихотворение должно быть живой особью.

Все искусства и науки покоятся на частичных гармониях. (Поэты, Безумцы, Святые, Пророки).

Жизнь образованного человека должна чередоваться музыкой и не-музыкой, просто так, как сон — бодрствованием.

Глаза есть орган речи чувства. Видимые предметы суть выражения чувств.

Смерть — это романтизирующее начало нашей жизни.

Смерть есть — жизнь †. — Смертию укрепляется жизнь.

Поэзия есть база общины так же, как добродетель — база государства. Религия есть смешение поэзии и добродетели — итак, угадайте, — какая база?

Это только от слабости наших органов и от самоприкасания, что не можем мы узреть себя в фейном мире. Все сказки — только сны о том родном мире, что всюду и нигде. Высшие силы в нас, которые однажды, как гении, сотворят нашу волю, — ныне музы, укрепляющие нас на трудном пути милыми воспоминаниями.

Истина — вымысел или марево.

Светлые цветы — ребенку, ветви — юноше, мужу — посох и темные цветы — старцу.

Если видишь великана, то нужно раньше исследовать положение солнца и обратить внимание, не есть ли это тень пигмея. (Об огромных влияниях малого. Не объяснимы ли все они как исполинская тень пигмея?).

Истина есть совершенная ошибка, точно так же, как здоровье совершенная болезнь.

с

Вода есть влажный пламень.

Пространство и время возникают разом и таким образом, как субъект и объект суть едино. Пространство есть устойчивое время, время текучее, изменчивое пространство; пространство есть база всего устойчивого, время — база всего изменчивого.

Пространство — схема, время — понятие, действие этой схемы.

Вся жизнь наша — богослужение.

Всякое благо в мире есть непосредственная деятельность Бога. В каждом человеке мне может явиться Бог.

Быть может мышление есть слишком быстрая, слишком огромная сила, чтобы быть действенной; или, может быть, вещи слишком хорошие проводники (или непроводники?) мыслительной силы.

Всякая философия, или наука науки, есть критика. Идея о философии — это схема Будущего.

Догматично, если я говорю, что нет Бога, нет науки, нет вещи в себе; критически я могу сказать только: теперь нет для меня такого существа, есть существо только измышленное. Всякая иллюзия так же существенна для истины, как тело для души. Ошибка — это необходимое орудие истины. Ошибкой я создаю истину; совершенное пользование ошибкой — совершенное обладание истиной.

Всякий синтез, всякая прогрессия или переход, начинается с иллюзии. Я вижу вне себя то, что — во мне, — верю, что случилось уже то, что я делаю только сейчас и так далее. Ошибка времени и пространства.

Взгляд (речь), прикосновение рук, поцелуй, прикосновение груди, объятие, — это ступени лестницы, по которой спускается душа; ей противоположна лестница, по которой тело восходит до объятия.

Дева — это вечное, женственное дитя. Девочка, которая уже больше не настоящее дитя, перестает быть девой. (Не все дети — дети).

Для религии суеверие более необходимо, чем это обыкновенно полагают.

Молитва, или религиозная мысль, состоит из троекратно восходящей, неделимой абстракции, или предложения. Всякий предмет может быть для религиозного человека храмом [templum] в смысле авгуров. Дух этого храма есть всесущий верховный жрец, единобожный посредник, находящийся один в непосредственном отношении к Божеству.

Личностная душа должна стать согласной с Мировою Душой.

Природа — это окамененный волшебный город.

Луч света разбивается еще на нечто совершенно иное, чем краски. По меньшей мере, луч света способен к одушевлению, где душа тогда разбивается на краски души. Кому не вспоминается взгляд любимой?

Всякое духовное прикосновение подобно прикосновению волшебного жезла. Все может стать волшебным орудием. Но кому действия подобного прикосновения кажутся столь баснословны, действия волшебного присловья столь дивны, пусть тот вспомнит только о первом прикосновении руки своей любимой, о первом

ее, значительном взгляде, в чем волшебный жезл, есть осколок светового луча, о первом поцелуе, о первом слове любви, и пусть спросит себя, не баснословны ли также и волшебны, неразрывны и вечны власть и волшба этих мгновений.

Уже совесть показывает наше соотношение, связанность (возможность перехода) с каким-то другим миром — внутреннюю, независимую мощь и состояние вне общей индивидуальности.

Чрез сопряжение можно словами творить чудеса.

Есть только Единый храм в мире и это — человеческое тело. Нет ничего священной, чем этот высокий образ. Низкий поклон пред человеком есть присяга на верность этому откровению во плоти. (Божеское почитание Лингама, груди, изваяний). Касаются неба, если прикасаются к человеческому телу.

Мир есть всеобщий троп духа, символический образ его.

Безумие и колдовство очень схожи. Кудесник — это художник безумия.

Законы суть необходимые следствия мышления или несовершенной науки.

Все случаи нашей жизни — это материалы, из которых мы можем делать, что хотим. Кто богат духом, тот делает много из своей жизни. Всякое знакомство, всякое происшествие было бы для всецело вдохновенного человека первым звеном бесконечной вереницы, началом бесконечного романа.

Буква есть то же, что храм или памятник; без особого значения он, конечно, мертв. (О превращении духа в буквы).

Царство поэта да будет мир, втиснутый в средоточие его времени. Его план и выполнение да будут поэтичны, т. е. поэтической природой. Он может употреблять все; он только должен его амальгамировать духом, должен из него творить Целое...

Всякая поэтическая природа есть природа. Ей надлежат все свойства последней. Так личностна она и все же так интересна...

Поэт из века в век пребывает истинным. Он устойчив в круговом движении природы. Философ изменяется в вечно-устойчивом. Вечно-устойчивое — лишь в Неизменном, Целом, настоящем мгновении.

Чем стихотворение более лично, местно, временно, своеобразно, тем оно ближе лежит к центру поэзии. Стихотворение должно быть совершенно неисчерпаемым, как человек и меткое реченье.

Неведомое, таинственное есть следствие и начало всего. (Мы знаем, собственно, лишь то, что само себя знает). Что недоступно пониманию, то находится в несовершенном состоянии, его должно постепенно сделать понятным. Познание есть средство, чтобы опять прийти к не-познанию. Природа непостижна *per se*.

Чудесность математики. Она — письменное орудие, способное еще к бесконечному совершенствованию, главное доказательство симпатии и тождества природы и души.

Физический маг умеет животворить природу и обращаться с нею произвольно, как со своим телом.

Слова поэта — общие знаки, — звуки они — волшебные слова, прекрасные группы, движущиеся вокруг себя. Как одеяния святых хранят еще чудесную силу, так иное слово, освященное каким-нибудь великолепным воспоминанием, уже стало почти стихотворением. Для поэта язык никогда не бывает слишком беден, но всегда слишком общ. Его мир — прост, как и его инструмент, но также и неисчерпаем в напевах.

Философия есть разум научного существа, которое состоит также из тела и души.

Идеализм должен быть противопоставляем не реализму, но формализму.

Все само по себе вечно. Смертность и изменчивость есть именно преимущество высших природ. Вечность — это знак (*sit venia verbis*) бездуховных существ. Синтез вечности и временности.

Обозначение звуками и чертами есть изумительная абстракция. Четыре буквы обозначают для меня Бога; несколько черт — тьму вещей. Каким легким становится здесь управление вселенной, какой наглядной сосредоточенность духовного мира! Грамматика есть динамика духовного царства. Слово приказа движет войсками; слово свобода — народами.

Доказательства бытия Бога, быть может, в массе имеют какое-нибудь значение, как метод. Бог есть здесь нечто, как ∞ в

математике — или 0^0 (Нулевая степень) (Философия 0^a .)

(Бог есть то $I \infty$, то $\frac{1}{\infty}$, то 0).

Пространство — это косность без массы.

Время — текучесть без массы.

При наполненном пространстве уже соревнует время. Непроницаемое есть именно абсолютное пространство. Неделимое (индивидуальное) — время. При разделенном времени соревнует пространство.

Посредственное (органическое) познание, соприкосание и наслаждение есть вторая эпоха. Первая эпоха — это эпоха хаоса. Третья эпоха есть эпоха синтетическая непосредственно-посредственное познание, наслаждение и соприкосание.

Гений есть как бы душа души; это есть соотношение между душой и духом. Субстрат или схему гения уместно будет назвать и долом; и дол есть подобие человека.

Всякий существенный спор есть марево; потому вопрос об идеализме и реализме — вопрос столь глупый, кажущийся, но потому и столь Иоанновский.

Мир есть во всяком случае следствие взаимодействия между мною и Божеством. Все, что есть и возникает, возникает из некоего соприкосновения духов.

Волшебнейший, вечный феномен — наше собственное бытие. Человек для самого себя — величайшая тайна. Разрешение этого бесконечного задания на деле есть вселенская история.

Нет, это не пестрые краски, веселые звуки и теплый воздух, которые нас так вдохновляют весной. Это безмолвный, вещающий дух бесконечных надеяний, некое чужие многих радостных дней, здорового бытия столь многообразных природе, предчувствие высшего, вечного цвета и плодов и темная, взаимная симпатия к содружно распускающемуся миру.

УЧЕНИКИ В САИСЕ







I

УЧЕНИК

ЛЮДИ ИДУТ МНОГООБРАЗНЫМИ ПУТЯМИ. КТО ИМИ ПРОХОДИТ И СРАВНИВАЕТ ИХ, ТОТ УВИДИТ, ЧТО ВОЗНИКАЮТ ПРИЧУДЛИВЫЕ ФИГУРЫ; ФИГУРЫ ЭТИ, КОТОРЫЕ КАЖУТСЯ ПРИНАДЛЕЖАЩИМИ К ТОЙ ВЕЛИКОЙ ТАЙНОПИСИ, МОЖНО ЗАМЕТИТЬ ПОВСЮДУ: НА КРЫЛЬЯХ ПТИЦ, НА ЯИЧНЫХ СКОРУПАХ, В ОБЛАКАХ, НА СНЕГУ, В КРИСТАЛЛАХ И В КАМЕННЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ, НА ЗАМЕРЗАЮЩИХ ВОДАХ, В НЕДРАХ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГОР, РАСТЕНИЙ, ЖИВОТНЫХ, ЛЮДЕЙ, В СИЯНИЯХ НЕБА, НА СОПРИКОСНУВШИХСЯ И ПОТЕРТЫХ КРУГАХ СМОЛЫ И СТЕКЛА, В ОПИЛКАХ ВОКРУГ МАГНИТА, И В СТРАННЫХ СЛУЧАЙНЫХ СОЕДИНЕНИЯХ. В НИХ ПРЕДЧУВСТВУЮТ КЛЮЧ К ЭТОМУ ЧУДЕСНОМУ ПИСАНИЮ, ЕГО ГРАММАТИКУ, НО ПРЕДЧУВСТВИЕ САМО НЕ ХОЧЕТ ПРИНЯТЬ СТОЙКИХ ФОРМ И, КАЖЕТСЯ, НЕ ХОЧЕТ СТАТЬ ВЫСШИМ КЛЮЧОМ. КАЖЕТСЯ, ЧТО А Л К А Г Е С Т ПРОЛИТ НА ЧУВСТВА ЛЮДЕЙ. КАЖЕТСЯ, ТОЛЬКО МГНОВЕНИЯМИ СГУЩАЮТСЯ ИХ ЖЕЛАНИЯ, ИХ МЫСЛИ. ТАК ВОЗНИКАЮТ ИХ ПРЕДЧУВСТВИЯ, НО СКОРО ВСЕ ПО-ПРЕЖНЕМУ РАСПЛЫВАЕТСЯ ПРЕД ИХ ВЗОРАМИ.

Я СЛЫШАЛ, КАК ГОВОРИЛИ ИЗДРЕВЛЕ: НЕПОНЯТНОСТЬ ЕСТЬ ТОЛЬКО СЛЕДСТВИЕ НЕРАЗУМИЯ; ЧЕЛОВЕК ИЩЕТ ТО, ЧТО ИМЕЕТ, И ТАКИМ ОБРАЗОМ НИКОГДА НЕ МОГ НАЙТИ НИЧЕГО БОЛЬШЕ. НЕ ПОНИМАЮТ ЯЗЫКА, ПОТОМУ ЧТО ВООБЩЕ НЕ ПОНИМАЮТ И НЕ ХОТЯТ ПОНЯТЬ, ЧТО ТАКОЕ ЕСТЬ САМ ЯЗЫК; ГОВОРЯТ НА ИСТИННОМ САНСКРИТЕ, ЧТОБЫ ГОВОРИТЬ, ИБО РЕЧЬ — ИХ УДОВОЛЬСТВИЕ И ИХ СУЩНОСТЬ.

ВСКОРЕ ПОСЛЕ ТОГО КТО-ТО ГОВОРИЛ: СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ НЕ НУЖДАЕТСЯ НИ В КАКОМ ТОЛКОВАНИИ. КТО ГОВОРИТ ИСТИННО, ТОТ ПОЛОН ЖИЗНИ ВЕЧНОЙ, И ЧУДЕСНО РОДНЫМ ИСТИННЫМ ТАЙНАМ НАМ КАЖЕТСЯ ЕГО ПИСАНИЕ, ИБО ОНО — АККОРД ИЗ ВСЕЛЕНСКОЙ СИМФОНИИ.

О НАШЕМ УЧИТЕЛЕ, НАВЕРНО, ГОВОРИЛ ГОЛОС, ИБО ОН УМЕЕТ СОБИРАТЬ РАССЕЯННЫЕ ПОВСЮДУ ЧЕРТЫ. В ЕГО ВЗОРАХ ЗАГОРАЕТСЯ ОСОБЕННЫЙ СВЕТ, КОГДА ПЕРЕД НАМИ ЛЕЖИТ ВЫСОКАЯ РУНА, И ОН ЗОРКО СЛЕДИТ ПО НАШИМ ГЛАЗАМ, НЕ ВЗОШЛО ЛИ И В НАС ТО СОЗВЕЗДИЕ, ЧТО СДЕЛАЕТ ФИГУРУ ВИДИМОЙ И ПОНЯТНОЙ. ЕСЛИ ОН ВИДИТ НАС ПЕЧАЛЬНЫМИ, ЧТО НОЧЬ НЕ ПРОХОДИТ, ТО ОН УТЕШАЕТ НАС И СУЛИТ ПРИЛЕЖНОМУ И ВЕРНОМУ ПРОВИДЦУ ГРЯДУЩЕЕ СЧАСТЬЕ. ЧАСТО ОН НАМ РАССКАЗЫВАЛ О ТОМ, КАК ЕМУ, КОГДА ОН БЫЛ РЕБЕНКОМ, НЕ ДАВАЛО ПОКОЯ СТРЕМЛЕНИЕ УПРАЖНЯТЬ СВОИ ЧУВСТВА, ЗАНИМАТЬ ИХ РАБОТОЙ И ЕЕ ИСПОЛНЯТЬ. НА ЗВЕЗДЫ СМОТРЕЛ ОН И ОТМЕЧАЛ НА ПЕСКЕ ИХ ОЧЕРТАНИЯ, РАСПОЛОЖЕНИЯ. В ВОЗДУШНЫЙ ОКЕАН ГЛЯДЕЛ ОН НЕПРЕСТАННО И НЕ УСТАВАЛ СОЗЕРЦАТЬ ЕГО ЯСНОСТЬ, ЕГО ДВИЖЕНИЯ, ОБЛАКА, ЕГО СВЕТИЛА. ОН СОБИРАЛ КАМНИ, ЦВЕТЫ, РАЗНООБРАЗНЫХ ЖУКОВ И РАСКЛАДЫВАЛ ИХ В РЯДЫ НА ТЫСЯЧУ ЛАДОВ. НА ЛЮДЕЙ И ЖИВОТНЫХ ОБРАЩАЛ ОН ВНИМАНИЕ, НА МОРСКОМ ПОБЕРЕЖЬЕ СИДЕЛ, ИСКАЛ РАКОВИН, К ДУШЕ СВОЕЙ И ДУМАМ ПРИСЛУШИВАЛСЯ ЗАБОТЛИВО. ОН НЕ ЗНАЛ, КУДА ВЛЕКЛО ЕГО НЕПОНЯТНОЕ СТРЕМЛЕНИЕ. КОГДА СТАЛ ОН БОЛЬШЕ, БРОДИЛ ОКРЕСТ, УВИДЕЛ ДРУГИЕ ЗЕМЛИ, ИНЫЕ МОРЯ, НОВЫЕ НЕБЕСА, ЧУЖИЕ ЗВЕЗДЫ, НЕВЕДОМЫЕ РАСТЕНИЯ, ЖИВОТНЫХ, ЛЮДЕЙ, СПУСКАЛСЯ В ПЕЩЕРЫ, УВИДЕЛ ПО ОТМЕЛЯМ И ПЕСТРЫМ ПЛАСТАМ, КАК СОВЕРШИЛОСЬ СТРОЕНИЕ ЗЕМЛИ, И ЛЕПИЛ ИЗ ГЛИНЫ СТРАННЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ КАМНЕЙ. И ВОТ ОПЯТЬ ОН ВСЮДУ НАХОДИЛ ЗНАКОМОЕ, НО ТОЛЬКО ПРИЧУДЛИВО СМЕШАННОЕ И СОЕДИНЕННОЕ, И ТАКИМ ОБРАЗОМ В НЕМ САМИ СОБОЙ ОБРАЗОВАЛИСЬ НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ВЕЩИ. ВСКОРЕ ОН СТАЛ ЗАМЕЧАТЬ ВО ВСЕМ СВЯЗИ, ВСТРЕЧИ, СОВПАДЕНИЯ. И ВОТ ОН СКОРО БОЛЬШЕ НИЧЕГО НЕ ВИДЕЛ В ОТДЕЛЬНОСТИ. —

В БОЛЬШИЕ ПЕСТРЫЕ КАРТИНЫ СКУЧИВАЛИСЬ ВОСПРИЯТИЯ ЕГО ЧУВСТВ: ОН ОДНОВРЕМЕННО СЛУШАЛ, ВИДЕЛ, ОСЯЗАЛ И МЫСЛИЛ.

ОН РАДОВАЛСЯ, СОБИРАЯ ЧУЖДЫЕ МЕЖДУ СОБОЙ ПРЕДМЕТЫ. ТО ЗВЕЗДЫ БЫЛИ ЕМУ ЛЮДЬМИ, ТО ЛЮДИ — ЗВЕЗДАМИ, КАМНИ — ЗВЕРЬМИ, ОБЛАКА — РАСТЕНИЯМИ, ОН ИГРАЛ СИЛАМИ И ЯВЛЕНИЯМИ, ЗНАЛ, ГДЕ И КАК ЕМУ НАЙТИ ТО ИЛИ ИНОЕ И ПОВЕЛЕТЬ ЕМУ ЯВИТЬСЯ, И, ТАК, ПЕРЕБИРАЯ СТРУНЫ, САМ СТАРАЛСЯ ИЗВЛЕЧЬ ИЗ НИХ ТОНЫ И ИХ ПЕРЕХОДЫ.

ЧТО ЖЕ С НИМ СТАЛОСЬ ПОТОМ, ОН НЕ СООБЩАЕТ. ОН НАМ ГОВОРИТ, ЧТО МЫ САМИ, РУКОВОДИМЫЕ ИМ И

СВОИМ СОБСТВЕННЫМ ЖЕЛАНИЕМ ОТКРОЕМ, ЧТО С НИМ ПРОИЗОШЛО. МНОГИЕ ИЗ НАС УШЛИ ОТ НЕГО. ОНИ ВЕРНУЛИСЬ К СВОИМ РОДИТЕЛЯМ И НАУЧИЛИСЬ РЕМЕСЛАМ. НЕКОТОРЫЕ БЫЛИ ПОСЛАНЫ УЧИТЕЛЕМ, МЫ НЕ ЗНАЕМ КУДА; ОН ИХ ИЗБРАЛ. ОДНИ ИЗ НИХ ПРОБЫЛИ ТАМ ЛИШЬ КОРОТКОЕ ВРЕМЯ, ДРУГИЕ ДОЛЬШЕ.

Из них один был еще ребенок; как только он пришел туда, Учитель захотел передать ему свое учение. У ребенка были большие темные глаза, в глубине лазурные, как лилии, блестела его кожа и локоны его были, что прозрачные облачка, когда приходит вечер. Его голос проникал в наши сердца, мы с радостью бы подарили ему наши цветы, камни, перья, все бы ему подарили. Он улыбался бесконечно серьезно, и было нам в душе с ним как-то странно хорошо. —

Он однажды вернется, — сказал Учитель, — и будет жить среди нас, тогда прекратятся уроки. — Он отослал с ним одного ученика, мы часто о нем жалели. У него всегда был грустный вид, он пробыл здесь долгие годы, ему ни в чем не счастливилось, он находил нелегко, когда мы искали кристаллы или цветы. В даль он видел плохо, не умел хорошо складывать пестрых рядов. Он так легко все разбивал, но ни у кого не было такого стремления и такой радости видеть и слышать. С некоторой поры, — прежде чем ребенок вступил в наш круг, он вдруг стал веселым и ловким. Однажды он вышел печальным и не вернулся назад, а наступила ночь. Мы очень беспокоились о нем; вдруг, когда наступил сумрак рассвета, мы услышали в ближней роже его голос. Он пел высокую, веселую песню; мы все удивлялись; Учитель вдруг посмотрел на восток взором, какого я, верно, никогда больше не увижу. Вскоре он вошел в нашу средину подошел к нам, и принес с несказанным блаженством в лице невзрачный камешек странной формы. Учитель взял его в руку, и долго целовал ученика, потом посмотрел на нас влажными от слез глазами, и положил этот камешек на пустое место меж другими камнями, там, где как раз сходились, как лучи, многочисленные ряды.

Отныне я никогда не забуду этих мгновений. Нам казалось, что в наших душах было мимолетно какое-то светлое предчувствие этого волшебного мира.

И я тоже не ловчее других, и, кажется, не так легко мною находятся сокровища природы. Все-таки Учитель ко мне расположен, и позволяет мне, когда другие идут на поиски, сидеть погруженным в думы. Со мною не было никогда того, что было с Учителем. Меня все приводит обратно в самого себя. То, что однажды сказал второй голос, я хорошо понял. Меня радуют странные груды и фигуры в залах но, по мне — они только образы, покровы, убранства, собранные вокруг единого божественно-вол-

шебного образа, и этот образ почитает всегда в моих мыслях. Их я не ищу, в них ищу я часто.

Мнится, словно они должны указать мне путь туда, где ждет меня в глубоком сне Дева, по которой тоскует мой дух. Учитель мне никогда не говорил об этом, и я тоже ничего не могу ему доверить, открыть, мне это кажется тайною ненарушимой. Я охотно спросил бы того ребенка, в его чертах я нашел сродство; и вблизи него мне казалось, что все становится внутренне светлее. Если бы так длилось дольше, я узнал бы в себе несомненно, больше. И, может быть, в конце концов отверзлась бы грудь моя, и язык стал свободным. И я охотно бы пошел вместе с ним. Так не случилось. На долго ли я здесь останусь, не знаю, мне кажется, что я оставался бы здесь всегда. Я почти не смею себе в этом признаться, но слишком внутренне-неотступна во мне вера: я обрету здесь однажды то, что меня постоянно движет; она — вот здесь. Когда я здесь брожу с этой верой, то все соединяется предо мной в один возвышенный образ, в какой-то новый порядок и все направлены к е д и н о й стране. Тогда мне каждое становится таким знакомым, таким милым; и то, что мне еще необычайным являлось и чуждым, ныне становится вдруг для меня точно домашняя утварь.

Как раз, эта чуждость чужда мне, и потому это собрание меня всегда в одно и тоже время и отталкивало и привлекало. Я не могу, не умею понять Учителя. Он мне так непонятно дорог. Я знаю, он меня понимает, он никогда не говорил против моего чувства и желания. Наоборот, он хочет, чтобы мы шли своим собственным путем. Ибо каждый новый путь проходит через новые страны и каждый, наконец, ведет опять к этим жилищам, на эту священную родину.

Итак, я тоже хочу описать мне явленный образ, и, если ни один смертный не подымет, согласно начертанной там надписи, покрывала, то мы должны будем стремиться стать бессмертными: кто не хочет его поднять, тот — не настоящий ученик в Саисе.

II

ПРИРОДА

Быть может, продлилось много времени прежде, чем люди подумали о том, чтобы обозначить многообразные предметы своих чувств одним общим именем и этим предметам противопоставить себя. Упражнение способствует развитиям, а во всех развитиях происходят деления, расчленения, кои можно сравнить с преломлениями светового луча. Точно также и наше внутреннее существо

лишь постепенно раздробилось на столь разнообразные силы, а с продолжительным упражнением это дробление будет еще возрастать. Может быть, это только болезненные природные наклонности позднейших людей, если они потеряли возможность смешивать снова эти рассеянные краски своего духа и восстанавливать по своей воле древнее природное состояние или производить между ними новые разнообразные соединения. Чем более духовные силы объединены, тем соединенней, тем совершенней и личностней вливается в них каждое природное тело и всякое явление, ибо природе чувства соответствует природа впечатления, и, потому более ранним людям все должно было казаться человеческим, знакомым и дружественным, самое свежее своеобразие должно было видеться в их воззрениях, каждое из их проявлений было истинной чертой природы, и представления их должны были согласовываться с их окружающим миром, и являть верное его выражение. Поэтому мы можем рассматривать мысли наших пращуров о вещах в мире, как необходимое порождение, самоизображение тогдашнего состояния земной природы, и, особенно по ним, как самым удобным орудиям наблюдения вселенной, определено усматривать главное отношение вселенной и ее тогдашнее отношение к своим обитателям, и отношение ее обитателей к ней. Мы находим, что как раз самые возвышенные вопросы прежде всего занимали их внимание, и, что они отыскивали ключ к этому полному чудес зданию, то в главной массе реальных вещей, то в творимом предмете некоего неведомого смысла.

Здесь замечательно общее предчувствие того же в текучем, жидком и безобразном. Косность и беспомощность твердых тел могли дать повод вере в их зависимость и низкость, повод, по всей вероятности, не без значения. Однако довольно рано вдумчивый человек натолкнулся на трудность объяснения рождения форм из тех безобразных сил и морей. Он пытался развязать узел каким-нибудь способом соединения, превращая первоначала в твердые оформленные тельца, которые он однако считал мельчайшими сверх всякого понимания, и вот он полагал, что из этого моря пылинок можно возвести необыкновенно-огромное строение, но, конечно, не без помощи содействующих мыслящих существ, сил притягательных и отталкивающих. Еще раньше, вместо научных объяснений находят стихи и сказки, полные замечательных образов, а людей, богов и животных, как сообщных творцов, и слышат, что описывают возникновение, происхождение мира самым естественным образом. По крайней мере, узнают достоверность случайного, механического происхождения мира, и это представление достаточно знаменательно даже для человека презирающего беспорядочные создания воображения.

Излагать историю мира, как историю человечества, находить всюду только человеческие события и отношения — стало распро-

страняющейся и в самые различные времена являющейся опять в новом обличьи идеей, и, кажется, что всегда она имела первенство в волшебном влиянии и легкой доказательности. Кажется также, что и случайность природы как бы сама собой примыкает к идее о человеческой личности, а последняя охотнее всего понимается, как человеческое существо. И потому, вероятно, поэзия была самым любимым орудием настоящих друзей природы, и ее дух светлее всего явлен в стихах. Когда люди читают и слушают настоящие стихи, то чувствуют, как пробуждается внутреннее понимание природы, и люди реют подобно ее небесному телу одновременно в ней и над ней. Естествоиспытатель и поэт благодаря единому языку всегда являлись, как Единый народ. То, что те собирали в целом и возводили в больших, стройных громадах, — поэты перерабатывали людским сердцам для повседневной пищи и потребности и раздробили, и обратили ту неизмеримую природу в многообразные, небольшие приятные естества. Если поэты легкомысленно следили больше за жидким и летучим, то те острыми ножевыми разрезами пытались исследовать внутреннее строение и соотношение частей. Под их руками умерла ласковая природа, и оставила лишь мертвые судорожные останки, наоборот поэтом, как духовным вином, природа, еще больше одушевленная, дала возможность услышать самые божественные, самые резвые нежданности, и возвышенная, над своей повседневной жизнью, поднялась к небу, плясала и вещала, всякого гостя называла желанным и с радостным духом расточала свои сокровища. Так извела она вместе с поэтом небесные часы и только тогда приглашала естествоиспытателя, когда бывала больной и совестливой; тогда она отвечала ему на всякие вопросы и читала охотно сурового и строгого мужа.

Итак, кто точно хочет познать ее душу, тот должен искать ее в обществе поэтов, там она открыта и изливает свое чудесное сердце. Но, кто ее любит не от всего сердца и только дивится в ней, то тому, то другому, и узнать стремится на опыте, пусть посещает прилежно ее больницу, ее кладбище.

С природой находятся в столь же непостижно различных отношениях, как и с людьми; тогда как ребенку она показывается детской и ласково прижимается к его младенческому сердцу, Богу она является божеской и соответствует Его высокому духу. Нельзя сказать, что существует одна природа, не сказав при этом чего-либо излишнего, и всякое устремление к истине в речах и разговорах о природе всегда только еще больше удаляет от природности. Уже много выиграно, если стремление понять всецело природу облагораживается в тоску, которая легко переносит чуждость и холодность, ежели ей, хоть однажды можно рассчитывать на более доверчивое близкое отношение. Это — таинственное влечение,

расширяющееся кругом из бесконечно глубокого средоточия во все стороны в нашем внутреннем существе. И вот, когда вокруг нас лежит чудесная чувственная и не-чувственная природа, мы верим, что то влечение есть притяжение природы, изъявление нашей обоюдной симпатии: только один ищет за этими голубыми дальними фигурами еще родину, которую они ему застыт, возлюбленную своей юности, старинных друзей и милое прошлое; другой думает, что ждут его по ту сторону неведомые величия, верят, что за ними затаено полное жизни грядущее и в несказанном стремлении простирает руки навстречу новому миру. Немногие пребывают спокойными при всем окружающем великолепии и, если они и стремятся постичь только его самого в его полнообразии и сцеплении, то все же они не забывают за разъединением блестящую нить, связующую рядообразно части и образующую священное паникадило, и чувят в себе блаженство при созерцании этого живого, реющего над ночными глубинами убранства. Так возникают разнообразные природосозерцания и ежели у одного края природоощущение становится веселой причудой, пированием, то видно, что там превратилось оно в самую благоговейную религию, дающую всей жизни направление, опору и значение. Уже среди младенческих народов существовали столь вдумчивые души, для которых природа была ликом божества, тогда как другие веселые сердца сами звали себя, являлись в ней только на пир; воздух был для них живительным напитком, звезды — светочами для ночной пляски, а растения и звери — лишь драгоценными яствами и, таким образом, природа представлялась им не тихим волшебным храмом, но веселою кухней и кладовой. Между тем были другие более вдумчивые души, замечавшие в современной природе только великие, но одичалые зачатки, и день, и ночь были заняты отысканием прообразов природы, более благородной.

Они дружно поделили между собой работу в этом великом деле, одни старались разбудить в воздухе и в лесах онемевшие и потерянные звуки, другие выражали свои предчувствия и образы более прекрасных рас в металлах и камнях, вновь возводили прекраснейшие скалы в жилища, вынесли на свет из подземий сокрытые сокровища; укротили разбушевавшиеся потоки, населили народами негостеприимное море, перенесли обратно в пустынные земные пояса древние величественные растения и зверей, ставили преграды лесным наводнениям и выращивали благороднейшие цветы и травы, обнажали землю для животворных прикосновений родящего воздуха и воспламеняющего света, научили краски соединяться и строить в очаровательные образы, научили лес и луг, родники и скалы соединяться опять в милые сады, вдохнули звуки в живые члены, дабы их расправить и двигать в веселых

размахах, взяли к себе бедных, покинутых животных, восприимчивых к человеческим нравам, и очистили леса от вредных чудовищ, этих уродов испорченной фантазии. Скоро природа узнала опять более ласковые нравы, она стала нежней, и отрадней и готова была добровольно содействовать исполнению людских желаний. Мало-помалу ее сердце начало биться по-человечески, веселей стали ее фантазии, она сделалась опять общительной и отвечала охотливо ласковому вопрошателю, и кажется, что вот возвращается древний Золотой Век, когда была она людям другиней, утешительницей, жрицей и чудотворицей, когда жила среди них, и когда сношение с небом делало людей бессмертными. Тогда звезды опять посетят землю, которую они возненавидели в те времена затмения; тогда солнце низложит свой строгий скипетр и станет снова звездой между звезд, и все роды мира опять соединятся после долгой разлуки. Тогда встретятся древние осиротелые семьи, и каждый день будет видеть новые приветствия, новые объятия; тогда возвратятся на землю прежние ее обитатели, на каждом холме зашевелится вновь затлевающий пепел, всюду вспыхнут пламена жизни, сызнова застроятся старые селения, обновятся древние времена, и история станет сном бесконечного, необозримого Настоящего.

Кто этого поколения и этой веры, и кто с радостью хочет внести также свое для уничтожения в природе дикости, тот бродит по мастерским художника, везде подслушивая поэзию, пробивающуюся негаданно во всех положениях, тот никогда не устанет созерцать природу и быть с нею в общении, тот везде следует ее манованиям и, если она подает ему знак, он не отвергает ни одного трудного перехода, даже если бы ему пришлось идти через тинистые топи; он, наверное, найдет несказанные сокровища, маленькая лампа рудокопа в конце остановится и, кто знает, в какие небесные таинства посвятит его тогда очаровательная обительница подземного царства.

Наверное, никто не отклоняется так далеко от цели, как тот, кто воображает себя уже знающим необычайное царство, и умеющим в немногих словах изложить его устройство и найти везде верный путь. Никому, кто отъединился и сделался как бы островом, не дается само собой понимание, необходимо усилие. Это может стать только с детьми или с младенческими людьми, которые не ведают, что творят. Долгое непрестанное общение, свободное и искусное созерцание, чуткость к тихим знакам и приметам, внутренняя поэтическая жизнь, развитые чувства, простая и благочестивая душа, — вот, что по существу требуется от настоящего друга природы, без коих не сбудется ничье желание. Не мудрым кажется влить постичь и понять человеческий мир не обладая исполненной расцвета человечностью. Ни одно чувство не должно

дремать, а если и не все одинаково бодрствуют, то все же все они должны быть возбуждены и не должны быть подавлены и ослаблены. Как виден будущий живописец в мальчике, покрывающем рисунками все стены и ровный песок и пестро расцвечивающем фигуры, так виден будущий философ в том, кто неустанно следит за всякими природными вещами, кто о них спрашивает, на все обращает внимание, все достопримечательное собирает воедино и радуется, если стал повелителем и обладателем какого-нибудь нового явления, новой силы и ведения.

Нынче некоторым представляется вовсе недостойным труда следить за бесконечными дроблениями природы, и что это кроме того опасное предприятие, бесплодное и безвыходное. Также, как никогда не найти мельчайшего зерна твердых тел, ни простейшего волокна, ибо всякая величина начинается и теряется в Бесконечном, так же происходит это и с видами тел и сил; и здесь тоже наталкиваешься на новые виды, новые сочетания, новые явления, вплоть до бесконечности. Они, казалось, только тогда останавливаются, когда истощается наше усердие, и так расточают драгоценное время в праздных созерцаниях и в скучном числении, и это становится, наконец, настоящим безумием, стойким головокружением над ужасной глубиной. А природа остается всегда, как далеко бы мы ни заходили, страшной мельницей смерти: повсюду непомерное круговое движение, неразрывная цепь круговорота, царство прожорливости, безумнейшей надменности, какая-то чреватая несчастьем безмерность: немногие светлые точки озаряли тем еще более страшную ночь, а разного рода страхи должны были пугать до бесчувствия всякого наблюдателя. Смерть, подобно спасительнице, помогает бедному людскому роду, ибо без нее безумнейший был бы самым счастливым. Как раз то стремление к измерению этого исполинского двигателя есть уже неодолимое влечение в глубь в бездну, начинающееся головокружение: ибо всякое возбуждение кажется возрастающим вихрем, который скоро совсем обует несчастного и умчит с собой через полную ужасов ночь.

Здесь хитрая западня для человеческого рассудка, который природа всюду старается уничтожить, как самого своего злейшего врага. Хвала детскому неведению и невинности людей, не давшим увидеть им ужасных опасностей, лежавших всюду над их мирными селениями, как страшные грозовые тучи, и готовых каждый миг низринуться на них. Только внутренний разлад природных сил сохранял до сих пор людей, а между тем может не замедлить тот великий час, когда люди все до единого, по великому общему решению, вырвутся из этого мучительного положения, из этой страшной тюрьмы и добровольным отказом от своих здешних владений навеки высвободят свой род от этого горя и спасут его в мире, более счастливым, у своего древнего Отца. Так кончили

бы они все же достойно себя и упредили бы свою неминуемую насильственную гибель, или еще более ужасное вырождение в зверей, постепенным разрушением органов мышления, безумием. Обращение с силами природы, со зверьми, растениями, скалами, бурями и волнами должно непременно уподобить людей этим явлениям и это уподобление, превращение Божеского и человеческого в необузданные силы есть Дух природы, сей грозно поглощающей мощи: и не есть ли уже все, что видят люди, похищение неба, великая развалина прежних величий, остатки страшного пира?

Хорошо, — говорят более отважные, — предоставьте нашему роду вести с этой природой медленную, хорошо обдуманную, опустошительную войну. Медленно действующими отравками должны мы стараться ее покорить. Естествоиспытатель — это благородный герой, бросающийся для спасения своих сограждан в разверстую бездну. Художники уже нанесли ей некий тайный удар, продолжайте так только дальше, овладейте тайными нитями, и сделайте ее, подобно себе похотливой, используйте раздоры, чтобы быть в силах править ею по своему произволу, как оным огнедышащим быком. Она должна стать всем подвластной. Терпение и вера приличествуют сынам человеческим. Отдаленные братья с нами соединились для Единой цели, звездное колесо станет прялкою нашей жизни, и тогда мы сможем при помощи наших рабов воздвигнуть себе новый Джиннистан.

С внутренним триумфом дайте смотреть нам на ее разорения и смятения, она сама нам должна продаться, и всякое ее население должно стать для нее тяжкою карой. В вдохновляющих чувствах нашей свободы дайте нам жить и умереть, здесь истекает поток, что однажды ее затопит и смирит, и в этом потоке дайте нам купаться и освежаться новым духом для геройских подвигов. Досель не достанет чудовищу ярости, одной капли свободы довольно, чтобы навеки ее изувечить и положить меру и предел ее опустошениям.

Вы правы, — говорят многие; талисман лежит здесь или нигде. У источника свободы мы сидим и зорко следим; он — большое волшебное зеркало, в котором чисто и ясно разоблачается все мироздание, в нем купаются нежные духи и отображения всех природ, и все тайники мы видим здесь открытыми. Почто нам тягостно брести чрез этот смутный мир видимых предметов? Ведь мир более ясный лежит в нас, в этом источнике. Здесь открывается истинный смысл этого великого, многоцветного, запутанного зрелища; и если вступаем мы в природу полные этих взоров, то всё нам кажется знакомым и мы точно знаем каждый образ. Нам не нужно сперва разузнавать, довольно легкого сравнения, лишь нескольких знаков на песке, чтобы нам понимать друг друга.

Таким образом всё для нас — это великие письмена, к которым у нас есть ключ, и ничего не является для нас неожиданным, ибо мы знаем заранее ход великого часового механизма. Только мы наслаждаемся природой с полными чувствами, ибо она нас не сводит с ума, потому что нас не тревожат лихорадочные сны, и светлая сознательность делает нас доверчивыми и спокойными.

Другие заблуждаются в своих речах, — отвечает им серьезный муж.

Ужель они не узнают в природе верного отпечатка самих себя? Они сами себя изнуряют в диком безмыслии. Они не знают, что их природа — игра мыслей, пустынная фантазия их сна. Да, конечно, она для них отвратительное животное, необычно странная личина их вождедений. Бодрствующий человек смотрит без содрогания на этот плод своего беспорядочного воображения, потому что он знает, что это ничтожные признаки его слабости. Он чувствует себя властителем мира, его Я реет могущественно над этой пропастью, и будет парить в вечностях над этой нескончаемой изменчивостью. Его внутреннее существо стремится возвестить и распространить созвучье. Он до бесконечности будет всё согласнее с самим собою и окружающим его творением, и на каждом шагу будет видеть, что всё светлее проявляется вечная вседетельность некоего верховного нравственного миропорядка, твердыни его Я. Смысла мира — это разум: это ради него — мир существует здесь и, если мир был сначала ареною младенческого зацветающего разума, то некогда он превратится в божественный образ его действительности, в действо истинной Церкви. Да чтит Ее дотоле человек, как эмблему своей души, что облагораживается ею в бесконечных степенях. Итак, кто хочет достигнуть ведения природы, пусть развивает свое нравственное чувство, пусть поступает и творит согласно благородной сущности своего внутреннего существа, и вот тогда как бы сама собой откроется перед ним природа. Нравственные поступки — это тот великий и единственный искус, в котором разрешаются все загадки самых многообразных явлений. Кто понимает и умеет его разбирать в строгой последовательности мысли — тот навсегда мастер Природы.

С боязнью слушает ученик перекрестные голоса. Каждый ему кажется правым, и необычайное смятение овладевает его душой. Мало-помалу улегается его внутренняя тревога и кажется, что над темными разбивающимися одна о другую волнами реет Дух мира, чье пришествие возвещается в душе юноши новым мужеством и всезрящей и ясной веселостью.

Резвый друг детства, чьи виски украшали розы и повилики, прибежал, приплясывая, и увидел, что тот сидит задумавшись. — Мечтатель, — воскликнул он, — ты совсем на ложном пути; так ты не сделаешь больших успехов. Всюду самое лучшее — это

настроение. Да разве же это настроение природы? Ты еще молод и разве не чувствуешь ты во всех своих жилах веление юности? Не полнится ли грудь твоя любовью и томленьем? Как можешь ты только сидеть в одиночестве. Одинокого бежит радость и желание: а без него, что поможет тебе природа? Только меж людей здешен он, — Дух, тысячью пестрых красок проникающий во все твои чувства и окружающий тебя, подобно незримой возлюбленной. В наши праздники язык его развязывается, он занимает на пиру первое место, и поет песни самой веселой жизни.

Бедный, ты еще не любил; с первым поцелуем тебе откроется новый мир, с ним войдет в твое восторженное сердце жизнь в тысяче лучей. Я хочу тебе рассказать сказку, слушай же.

В отдаленные времена жил далеко в стороне заходящего солнца совсем еще юный человек; он был очень добрый, но и странный чрезвычайно. Он все о чем-то беспрестанно печалился, и тихо бродил задумчивый, молчаливый, сидел в одиночестве, в то время как другие играли и веселились, и предавался странным вещам.

Пещеры и леса были самым его любимым убежищем, и там он все говорил со зверьми и птицами, с деревьями и скалами, разумеется совсем неразумные речи, одни только забавные глупости. Но он всегда оставался угрюм и серьезен, несмотря на то, что белочка, мартышка, попугай да снегирь прикладывали всяческие старания, чтобы развлечь его и направить на истинный путь. Гусь рассказывал сказки, а в это время ручей бряцал балладу, большой толстый камень делал в воздухе смешные прыжки, роза ласково кралась за ним, пробивалась сквозь его кудри, а плющ гладил его озабоченное чело. Но угрюмость и серьезность были упорны.

Родители его были очень опечалены, они не знали что им делать. Он был здоров и ел, родители никогда его не обижали, а ведь несколько лет тому назад не было никого веселей и радостней его; первый во всех играх, милый всем девушкам, он по-истине был прекрасен, выглядел как писанный красавец и танцевал просто прелесть. Меж девушек была одна, прелестное, прекрасное дитя и казалось, что была она из воска, волосы, что золотой шелк, вишнево-алые губы, сложена, как куколка, огненно-черные глаза. Кто видел ее хоть раз, готов был бы умереть, такая милая была она. В то самое время Розоцветик, так звали ее, была всем сердцем предана прекрасному Гиацинту, так звали его, а он любил ее до — смерти. Остальные дети этого не знали. Фиалка первая им об этом сказала, домашние кошки это хорошо заметили, ведь дома их родителей находились по близости. И вот, когда Гиацинт простаивал целую ночь у своего окна, а Розоцвет у своего, а домашние кошки пробегая мимо на мышиную ловлю, и видя, что оба они стоят, смеялись и хихикали часто

так громко, что те это слышали и сердились. Фиалка рассказывала это по секрету Землянике, а та рассказывала об этом своей приятельнице, колючке — Крыжовинке и та не пропускала случая, чтобы не сказать Гиацинту колкости, когда тот проходил мимо; и так скоро об этом узнал весь сад и весь лес и, когда Гиацинт выходил, то со всех сторон кричали:

«Розоцветик, моя возлюбленная!» Гиацинт сердился, но опять-таки ему пришлось рассмеяться от всего сердца, когда приползла маленькая ящерица, уселась на теплом камне, и помахивая хвостом, запела:

Розоцветик, добрая дитя,
Вдруг ослепла;
Думая, что мать — Гиацинт,
Быстро бросается к нему в объятия;
Но увидав чужое лицо,
Только подумайте, она не пугается,
Всё продолжает его целовать,
Будто ни слова она не заметила.

Ах, как быстро минуло очарование!.. Из чужих стран пришел человек, странствовавший за тридевять земель; у него была длинная борода, глубокие глаза, страшные брови, причудливое одеяние с бесчисленными складками, затканное необычайными узорами. Он сел перед домом, принадлежавшим родителям Гиацинта; и вот Гиацинту стало любопытно, он подсел к нему и принес ему хлеба и вина. Тогда тот расправил свою белую бороду и рассказывал до самой глубокой ночи, а Гиацинт все не уходил и не шевелился, и не уставал его слушать. Насколько потом узнали, он много ему рассказывал о чужих землях, о неведомых странах, об изумительно чудесных вещах и пробыл он там три дня, спускался вместе с Гиацинтом в глубокие шахты. Розоцвет не мало проклинала старого колдуна, так как Гиацинт совсем помешался на его рассказах, и не о чем не заботился; он едва только немного поел. Наконец, тот удалился, но оставил однако Гиацинту книжечку, которую не мог прочесть ни один человек. Гиацинт дал ему на дорогу плодов, хлеба и вина, и далёко его проводил. И вот вернулся он тогда задумчивый и начал совершенно иной образ жизни. Розоцветик очень мучилась из-за него, так как с той поры он стал мало ее любить и оставался все время наедине с самим собой. И вот случилось, что пришел он однажды домой, как бы вновь народившись на свет. Он бросился в объятия к родителям и заплакал.

Я должен уйти в чужие края, сказал он; — старая лесная кудесница мне рассказала, как я могу выздороветь, книгу бросила

в огонь, приказала мне идти к вам и просить вашего благословения. Может быть я возвращусь скоро, может быть, никогда. Поклонитесь Розоцветику. Я рад был бы с нею поговорить, но не знаю я, что со мной, меня влечет отсюда прочь неведомая сила; когда я хочу вернуться в старые времена, то являются тотчас более властные мысли; — покоя нет, с ним вместе и сердца и любви, я должен идти ее искать. Охотно бы вам сказал — куда, но сам не знаю я, — туда где обитает Матерь вещей, облеченная в покрывало Дева. По ней загорелась моя душа. Прощайте. Он вырвался из их объятий и ушел. Его родители сетовали и лили слезы, Розоцветик осталась в своей горнице и горько плакала. А Гиацинт бежал теперь во всю мочь через долины и дебри, через горы и воды в таинственную страну. Он спрашивал везде о священной богине у людей и зверей, у скал и деревьев. Одни смеялись, другие молчали, нигде не получал он ответа. Вначале он шел через суровую, дикую местность, туманы и облака застилали ему путь, все время бушевала буря; потом он повстречал невообразимые печальные пустыни, раскаленную пыль, и в то время, как он странствовал, изменялась и его душа: время ему показалось долгим, и улеглась внутренняя тревога, он сделался нежней, и могучее стремление в нем постепенно превратилось в тихое, но сильное влечение, в которое обратилась вся его душа. Словно многие годы лежали позади него.

Вот стала опять страна богаче и многообразней, воздух — теплым и голубым, путь — ровнее, зеленые рощи манили его приятными тенями, но он не понимал их языка, да и не казалось, что они говорили, но все же они наполнили его сердце зелеными красками и прохладю, и тишиной. Всё выше росла в нем та сладостная тоска, и шире всё и сочнее становились листья, всё громче и веселей птицы и звери, благоуханней плоды, небо темнее, теплее воздух и пламенной его любовь, время все быстрее, словно оно видело себя близким к цели. Однажды ему повстречался хрустальный родник и множество цветов, спускавшихся вниз в долину между черными восходящими к самому небу колоннами. Они ласково приветствовали его знакомыми словами. — Милые земляки, сказал он, где найти мне священное капище Изиды. Оно должно быть здесь в окрестностях, и вы, быть может, здесь больше меня знакомы. — Мы тоже здесь только проходим, отвечали цветы; странствует семья духов, и мы ей готовим путь и жилище; когда мы недавно проходили по одной местности, мы слышали, как называли ее имя. Иди только выше, откуда пришли мы, и ты узнаешь, наверное, больше. Цветы и родник, говоря это, улыбались, предложили ему свежего питья и отправились дальше. Гиацинт последовал их совету, все спрашивал, спрашивал и наконец, пришел к тому давноiskanному обиталищу, которое было

скрыто меж пальм и иных прекрасных растений. В бесконечном томлении билось его сердце, и сладчайшая робость обуяла его в этой обители вечных времен года. Среди небесных благоуханий он позабылся сном, ибо только сон мог ввести его в Святая Святых. Сон вел его причудливо по бесконечным покоем, полным, необычайных вещей, среди пленительных звонов и перемежающихся аккордов. Чудилось ему все таким знакомым, но в невиданном никогда великолепии, вот исчез, словно истаяв в воздухе, и последний земной налет, и он предстал пред небесною Девой, тогда поднял он легкое, блестящее покрывало, и — Розовцетик поникла в его объятия. Отдаленная музыка окружила тайны их любовного свидания, изливания страсти и удалила все чуждое из этого ликующего места. Гиацинт жил еще долго потом с Розовцетиком среди своих радостных родителей и товарищей детства, и бесчисленные внуки благодарили старую волшебную женщину за ее совет и огонь; потому что в ту пору люди имели столько детей, сколько хотели.

Ученики обнялись и ушли. Обширные, гулкие залы стояли там пустые и светлые, и длился волшебный разговор на несметных языках между разнообразнейшими природами, собранными и размещенными в этих залах в многообразных порядках. Их внутренняя сила играли одна с другой. Они стремились вернуться к своей свободе, к своим первоначальным отношениям. Немногие из них стояли на своем месте, и смотрели в спокойствии на разнообразную суету вокруг себя. Остальные жаловались на ужасные муки и страдания, и оплакивали древнюю, величественную жизнь на лоне природы, где их единила общая свобода и, где все, что им было нужно получалось само собой. — О, если бы человек, говорили они, понимал внутреннюю музыку природы, и обладал чувством внешней гармонии. Но он ведь почти не знает, что мы принадлежим каждая друг другу, и что ничто не может существовать одно без другого. Он ничего не может оставить в покое, тиранически разлучает нас и берет сплошные диссонансы. Как счастлив мог бы он быть, если б обращался с нами ласково, и вступил в наш великий союз как бывало в Золотом веке, как он справедливо его называет. В то время он понимал нас, и мы также его понимали. Его стремление стать Богом, разлучило его с нами, он ищет то, чего не знаем мы и чего не можем ни знать, ни предчувствовать, и с той поры он уже больше не сопровождающий голос и не содружное с нами движение. Он ищет, наверно в нас бесконечное сладострастие, вечное наслаждение, и потому у него такая странная любовь к некоторым из нас. Очарование золота, тайны красок, радость воды не чужды ему, в древних изваяниях предчувствует он дивность камней, и все же ему не достает еще сладостной страсти к ткани природы, глаза к нашим

восторгающим мистериям. Научится ли он хоть когда-нибудь чувствовать? это небесное и самое естественное из всех чувств ему еще мало знакомо, благодаря чувству вернулось бы старое, желанное время; элемент чувства — это свет внутренних, который разбивается на более прекрасные и сильные краски. Тогда бы вошли в нем звезды, он научился бы чувствовать весь мир яснее и многообразней чем иные, когда зрение указывает ему границы и плоскости. Он стал бы мастером некоей бесконечной игры и забыл бы все глупые страдания в вечном, самое себя питающем и постоянно возрастающем наслаждении. Мышление есть только сон чувствования, бледно-серая, слабая жизнь.

Когда они так говорили, солнце лучилось сквозь высокие окна, и в нежный шелест обратился шум разговора; бесконечное предчувствие проникло все фигуры, приятная теплота распространялась над всеми, и волшебнейшая песнь природы возникла из глубочайшей тишины. Слышны были вблизи человеческие голоса, большие створчатые двери, ведущие в сад, начали открываться, и несколько странников село на ступени широкой лестницы в тень здания. Пред ними расстился пленительный пейзаж в прекрасном освещении и в его глубине взор восходя, терялся в синих горах. Приветливые дети принесли разные яства и пития, и вскоре между ними начался оживленный разговор.

— На все, что предпринимает человек, он должен направлять свое внимание или свое Я, — сказал наконец один из них, — и если он это исполнил, то скоро в нем возникнут мысли или новый род восприятий, кажущихся ничем иным, как нежными движениями окрашивающего или стучащего острия, или причудливыми сжиманиями и образованиями эластичной жидкости. Они с живой подвижностью распространяются во все стороны от той точки, где оно врезало впечатление и вместе с собой увлекают его Я. Он часто может тотчас уничтожить эту игру, разделяя опять свое внимание, или давая ему произвольно блуждать окрест, ибо они кажутся ничем иным, как лучами и нитями, что вызывает это Я в той эластичной среде, или его преломлениями в ней, или вообще странной игрою волн этого моря с косным вниманием. В высшей степени замечательно, что человек впервые в этой игре ясно замечает свое своеобразие, свою самобытную свободу и, что кажется ему, будто он пробуждается от глубокого сна, что теперь только впервые он в этом мире, как дома, и что теперь впервые его внутренний мир освещается дневным светом. Он думает, что им достигнута высшая степень, если, не нарушая этой игры, он может одновременно и заниматься обычными делами чувств, и ощущать и мыслить. От этого преуспевают оба восприятия: внешний мир становится прозрачен, а внутренний — многообразен и полон смысла, и таким образом человек находится в сопряжен-

но-живом состоянии между двумя мирами, в совершеннейшей свободе и в самом радостном сознании могущества. Естественно, что человек стремится увековечить это состояние и распространить его на всю совокупность своих впечатлений, что не устает он следить за этими ассоциациями обоих миров и узнавать их законы и их симпатии и антипатии. Совокупность того, что нас побуждает и движет, зовется природой, и таким образом она находится в непосредственном отношении к частям нашего тела, которые мы называем чувствами.

Неведомые и таинственные соотношения нашего тела заставляют нас предполагать о неведомых и таинственных соотношениях природы, и таким образом, она есть та волшебная община, в которую нас вводит наше тело и которую мы можем изучать согласно ее устройствам и способностям. Спрашивается, можем ли мы научиться воистину понимать природу чрез эту особую природу, и насколько наши мысли и напряженность нашего внимания определяются ею или они ее определяют и тем самым отрывают ее от природы и, может быть, уничтожают ее нежную гибкость. Прекрасно видят, что эти внутренние соотношения и устройства нашего тела должны быть исследованы прежде всех вещей, прежде, чем мы сможем надеяться ответить на этот вопрос и проникнуть в природу вещей. Однако следует еще подумать и о том, что сперва мы должны бы вообще приобрести многообразный опыт в мышлении прежде чем сможем приняться за внутренний состав нашего тела и применить понимание его к разумению природы, и тогда, конечно, не было бы ничего естественней, как вызывать всевозможные движения мышления и приобрести споровку в этом деле, точно так же, как и легкость в переходе от одного движения к другому и в многообразном соединении и разложении их. Наконец, должно было бы внимательно рассмотреть все впечатления и равным образом доподлинно применить возникающую через то игру мыслей, присматриваться и к ним, дабы мало-помалу узнать таким образом их механизм и частым повторением научиться отличать движения, постоянно связанные с каждым впечатлением от остальных и запечатлевать их в памяти. Если бы тогда только впервые угадали в некоторых движениях буквы природы, то все легче бы подвигалась вперед дешифровка, и власть над рождением мыслей и движением дали бы наблюдателю возможность создавать природные мысли и задумывать природные композиции также и без предшествовавшего действительного впечатления, и тогда конечная цель была бы достигнута.

— Ведь это слишком смело, — молвил другой, — хотеть таким образом составить природу из ее внешних сил и явлений и выдавать ее то за чудовищный огонь, то за волшебной формы шар, то за двойственность или тройственность, или же за какую-нибудь иную

необычайную силу. Было бы мыслимой, чтобы она была произведением некоего непостижимого согласия бесконечно разных существ, волшебною связью мира духов, точкою соединения и касания несметных миров.

— Пусть это будет отважно, — говорил третий, — чем произвольнее сплетена сеть, что закидывает смелый рыбак, тем счастливее лов. Да ободряют каждого продолжать свой путь, насколько возможно дальше, и будь желанным всякий, кто облакает вещи новой фантазией. Разве ты не веришь, что именно это будут хорошо составленные системы, из коих будущий географ природы возьмет данные для своей великой карты Природы. Он будет их сравнивать, и сравнение это научит нас узнать необычайную страну. Но познание природы, как небо от земли, будет бесконечно разниться от их толкования. Настоящий шифровщик, может быть, достигнет того, что приведет в движение одновременно многие силы природы для созидания величественных и полезных явлений, он сможет фантазировать на природе, как на большом инструменте, и все же природы он не поймет. Это дар летописца природы, провидца времен, который, будучи близко знаком с летописью природы и знаком с миром, этим возвышенным местом действия естественной истории, воспринимает ее знамения и возвещает о них, пророчествуя. Эта область — еще неведомое священное поле. Лишь божьи посланники проронили несколько слов из этой высшей науки, и нужно только удивляться тому, что исполненные предчувствия духи упустили для себя это предчувствие и низвели природу до однообразной машины, без прошлого и будущего. Все божественное имеет историю, природа — это единственное целое, с чем может себя сравнить человек, не должна ли она быть также, как и он, понимаема в истории или, что одно и то же, иметь дух. Природа не была бы природой, если бы не имела она духа, не была бы тем единственным отображением человечества, непреложным ответом на таинственный этот вопрос или вопросом на этот бесконечный ответ.

— Только одни поэты чувствовали, чем может быть людям природа, — начал речь прекрасный юноша, — и в этом случае также можно сказать о поэтах, что человечество находится в них в совершеннейшем растворе, и потому всякое впечатление чрез зеркальную их ясность и подвижность всюду передается чистым во всех своих бесконечных переменах. Всё находят они в природе. Только им не чужда ее душа и не вотще ищут они в своем общении с нею всех блаженств Золотого Века. Для них у природы есть все смелые бесконечной души, и она изумляет больше, чем самый вдохновенный, самый живой человек, своими шумными извивами и затыками, встречами и уклонениями, великими идеями и странностями. Неисчерпаемое богатство ее фантазии не заставляет никого искать

понапрасну общения с нею. Она умеет делать все более прекрасным, оживлять, утверждать, а если и кажется, что в отдельных частях правит только бессознательный и ничего не значащий механизм, то все же глубже глядящий глаз видит волшебную симпатию к людскому сердцу в совпадении и в связи отдельных случайностей. Ветер есть движение воздуха, могущее иметь некоторые внешние причины, но не есть ли он для одинокого истомленного сердца нечто большее, когда он мимо идет шума, веет из любимых стран, тысячью темных, грустных голосов, кажется, превращает тихое страдание в глубокий напевный вздох всей природы? Не чувствует ли юный любовник всю свою чреватую цветами душу выраженной с изумительной правдой в молодой, простой зелени весенних лугов, и являлся ли когда-нибудь преизбыток воздевающей души по сладострастном ее претворении в золотое вино прекрасней и живительней, чем в пышной, сверкающей виноградной грозди, которая наполовину кроется в широких листах. Поэтов обвиняют в преувеличении и им прощают только их образный, метафорический язык и без более глубокого исследования удовлетворяются тем, что приписывают их фантазии, ту причудливую природу, что видит и слышит многое такое, чего не слышат и не видят другие, и которая в каком-то милом безумии по своему произволу властно правит действительным миром. Но мне кажется, что поэты преувеличивают еще далеко недостаточно, что они только смутно предчувствуют обаяние того языка и только играют фантазией, как дитя играет волшебным жезлом своего отца. Они не ведают, какие им силы подвластны, какие миры им должны повиноваться. Разве не правда, что камни и леса повинуются музыке и, укрошенные ею, подчиняются всякому желанию, подобно домашним животным? —

Не цветут ли в действительности самые прекрасные цветы вокруг любимой и разве они не рады ее украшать? Не проясняется ли для нее небо и не становится ли море безбурным? —

Не выражает ли вся природа состояния каждого из высших, волшебных существ, которых мы называем людьми, столь же прекрасно, как лицо и обличья, биенье и краски. Не становится ли скала своеобразным Ты, как только я начинаю с ней говорить. И что я иное, как не поток, когда гляжу я печально в его волны и теряю мысли в его плавном течении? Только спокойная, исполненная наслаждения душа поймет мир растений, только веселое дитя, или дикарь, поймет зверей. — Понимал ли уже кто-нибудь камни и звезды, я не знаю, но тот, наверное, должен был быть существом возвышенным. Только, разве что в тех изваяниях, оставшихся от того исчезнувшего времени величия рода человеческого, светится столь глубокий дух, такое необыкновенное понимание камня и покрывает чуткого наблюдателя известковой

корою, которая кажется растущей внутрь. Возвышенное действует окаменяюще, и мы потому не смели изумляться возвышенному в природе и его действиям или не знать, где его должно искать. Могла ли природа не обратиться в камень от созерцания Бога? Или от ужаса по поводу пришествия человека? —

По поводу этой речи тот, кто говорил первым, погрузился в глубокое раздумье, дальние горы пестро окрасились, и вечер ложился над местностью с сладостной задумчивостью. После долгой тишины услышали, как он говорил:

— Чтобы понимать природу, необходимо заставить ее возникать внутренне во всей ее последовательности. В этом замысле нужно руководиться исключительно божественной тоской по существам, подобным нам, и непреложными условиями их умозрения, ибо, воистину, вся природа постижима только, как орудие и посредник согласия разумных существ. Мыслящий человек возвращается к первичной функции своего бытия, к творческому созерцанию, к тому времени, когда творчество и знание находились в чудеснейшей взаимосвязи, к творческому тому моменту истинного наслаждения, внутреннего самозачатия. И вот, когда он совершенно погружается в созерцание этого первоявления, перед ним открывается в нововозникающих временах и пространствах, подобно непомерному зрелищу, летопись рождения природы, и каждый устойчивый пункт, возникающий в бесконечной текучести, становится для него новым откровением гения любви, новою узою между Ты и Я. Тщательное описание этой внутренней вселенской истории есть истинная теория природы; благодаря связи его мира мыслей в себе и ее гармонии со вселенной, система мыслей превращается сама собою в верное отображение и формулу вселенной. Но трудно искусство спокойного рассматривания и творческого мирозозерцания; исполнение требует непрерывного раздумия и строгой трезвости, и наградою будет не одобрение боящихся труда современников, но лишь одна только радость знания и бдения, более близкое прикосновение вселенной.

Да, — сказал второй, ничто так не замечательно, как великая одновременность в природе. Повсюду природа кажется совершенно современной. В пламени света все силы природы действительны, и так предстает она и превращается всюду и непрестанно, родит в одно и тоже время и листья, и цвет, и плоды и во времени она — Настоящее, Прошедшее и Грядущее одновременно; и кто знает, в какой особый род отдаленности действует она равным образом, и не есть ли эта система природы лишь солнце во вселенной, которое с нею связано, как узами, единым светом и единым влечением и наитьями, которые сказываются отчетливей прежде всего в нашем духе и из него проливают дух вселенной на эту природу и распределяют дух этой природы в остальные системы природы.

Если мыслитель, — говорил третий, — по праву, как художник, вступает на действенный путь и старается свести вселенную искусным применением своих духовных движений к простой, кажущейся загадочной фигуре, ведь даже можно было бы сказать, что природа пляшет, а он записывает словами линии движений, то любовник природы должен дивиться этому смелому начинанию, и радоваться успеху этой человеческой способности. Художник справедливо ставит действенность превыше всего, ибо сущность его есть делание и созидание знанием и волею, и искусство его в том, чтобы ко всему применять свое орудие, чтобы быть в состоянии изображать мир своеобразно, и потому принципом его мира становится действительность и его миром — его искусство. И здесь также природа становится зримой в новом величии, и только безмысленный человек с презрением отбрасывает неотчетливые и странно смешанные слова. С благодарностью кладет жрец это новое высокое измерительное искусство на алтарь к магнитной игле, никогда не блуждающей и возвратившей к обитаемым берегам и пристаням отчизны бесчисленные корабли на бездорожном океане.

Но кроме мыслителя есть еще и другие друзья знания, которые, не будучи всецело преданы созиданию мышлением и без призвания к этому искусству, становятся охотней учениками природы и обретают свою радость в учении, а не в обучении, в изведании, а не в даянии, в приятии, а не в даянии. Некоторые — деятельны и, в надежде вездесущности и близкого родства с природой, и посему уже заранее убежденные в несовершенстве и непрерывности всего отдельносущего, принимают с заботливостью любое явление и неотлучным взором запечатлевают в памяти превращающегося в тысячи образов духа этого явления и, путеводимые этой нитью, идут тогда по всяким закоулкам тайных мастерских, затем чтобы смочь набросать подробный план этих лабиринтовых ходов. Если они окончили эту тяжелую работу, то на них незаметно нисходит высший дух, и становится им тогда легко говорить о лежащей перед ними карте и указывать путь каждому искателю. Неизмеримая польза благословит трудную их работу, и контур их карты будет поразительно согласоваться с системою мыслителя, и они невольно приведут ему как бы живое доказательство его отвлеченных положений. Из них наиболее праздно ожидают по-детски от доброй вести верховных, ими ревностно чтимых существ полезного им ведения природы. Они не могут в этой краткой жизни посвятить время и внимание делам и в тоже время отказаться от служения любви. Благочестивым поведением они стараются стяжать себе любовь, ущеждать только любовь, не тужа о великом зрелище сил, спокойно предаваться своей судьбе в этом царстве власти, ибо их исполняет крепкое сознание своей неразлучности с любимыми существами, и природа их трогает только, как отображение и как свойство

любимых существ. К чему знать этим счастливым душам, избравшим благую часть и пылающих подобно чистым пламенам любви в этом земном мире только на шпилях храмов или на гонимых бурей кораблях, как знак разливающегося небесного огня? Часто, в блаженные часы, эти любящие дети узнают величественные вещи из тайн природы и возвещают о них в бессознательной простоте. Питатель следует за ними по пятам, чтобы собирать всякую драгоценность, уроненную ими в невинности и радости, их любви дает обет верности и читит сочувственный поэт и стремится в своих песнях перенести эту любовь, этот росток Золотого Века, в иные времена и земли.

— Чье сердце, — воскликнул юноша со сверкающими глазами, не дрожит в трепетном восторге, когда внутренняя жизнь природы нисходит к нему в душу во всей своей полноте. Когда ширится в нем, как мощный, всерастворяющий пар, могучее чувство, для которого язык не имеет иных имен, как любовь и сладострастие, и он, дрожа от сладкой боязни, погружается в темное манящее дно природы, и бедная личность исчезает в захлестывающих волнах наслаждения, и не остается ничего, кроме средоточья непомерной рождающей силы, кроме поглощающего водоворота в огромном океане! Что есть являющийся всюду пламень? — Внутреннее обьятие, чей нежный плод ниспадает в сладострастных каплях росы. Вода, это первородное дитя воздушных таяний и слияний, не может отрицать своего сладострастного происхождения, и она является на земле в небесном всемогуществе стихией любви и смешения. Древние мудрецы не ложно искали происхождения вещей в воде и, воистину, говорили они о более возвышенной воде, чем о воде морей и родников. В той воде открывается только изначально-текущее, каким проявляется оно в жидком металле, и потому нужно, чтобы люди также всегда почитали ее за божество. Как мало еще людей углубилось в тайны текучего, а у иного это чуяние высшего наслаждения и высшей жизни, верно, никогда не являлось в опьяненной душе. В жажде сказывается эта Мировая Душа, эта необоримая тоска по расплыванию. Опьяненные чувствуют, но уж слишком хорошо эту неземную негу текучего, и в конце концов все приятные в нас ощущения — это многообразные движения в нас тех изначально водных пространств. И даже сон есть нечто иное, как прилив того невидимого мирового моря, а пробуждение — наступление отлива. Как много людей стоит у опьяняющих рек и не слышит колыбельной песни этих материнских вод, и не наслаждается восторгающей игрой их бесконечных волн. Как эти волны, жили мы в Золотом Веке; в разноцветных облаках, в этих плывучих морях и первоистоках живого на земле, любили и рождались в вечных играх людские роды; их посещали Дети Неба и лишь во время того великого события, что Священные Предания зовут всемирным потопом, погиб

этот цветущий мир; враждебное существо сразило землю, и несколько человек, выброшенных волною на утесы новых гор, осталось в чужом мире. Как странно, что именно самые священные и прелестные явления природы находятся в руках столь мертвых людей, какими обычно бывают химики. Явления, властно будящие творческий дух природы, что должны были быть только тайною любящих, мистериями высшего человечества, с бесстыдством и бессмысленно вызываемы грубыми духами, которым никогда не узнать, что за чудеса окружают их склянки. Только поэты должны были обращаться с текучим и рассказывать о нем пламенеющему юношеству. Мастерские были бы храмами, и люди поклонялись бы с новой любовью своему пламени и своим рекам и похвалялись бы ими. Какими счастливыми почитали бы себя города, омываемые морем или большою рекой, и каждый родник стал бы опять приютом любви и местом ведущих и вдохновленных людей. Потому и детей ничто так не манит, как огонь и вода, и всякий поток сулит вести их в пестрые дали, в более прекрасные страны.

Это не отражение только, когда небо лежит в воде, — это нежное сдружение, знак порубежности, и если не совершенное стремление в непомерную высь, то счастливая любовь погружается с радостью в бесконечную глубину. Но втуне хотеть поучать и наставлять природу. Слепорожденный не научится видеть, сколько бы ни пожелали ему рассказывать о красках и сияниях и о дальних фигурах. Точно так же никто не поймет природы, у кого нет органа восприятия природы, внутреннего природотворческого и различительного орудия, кто не самопроизвольно везде признает и различает во всем природу и с врожденной страстью к оплодотворению и рождению, в близком, многообразном родстве со всеми телами, через посредство ощущения смешивается со всеми существами природы и как бы всем чувством своим, входя, сливается с ними. Но у кого есть верное и развитое чувство природы, тот наслаждается природой во время ее изучения и радуется ее бесконечному многообразию, ее неистощимости в наслаждении, и не нуждается в том, чтобы бесполезными словами ему мешали в его наслаждениях. Наоборот, ему кажется, что с природой обращаются недостаточно тайно, недостаточно нежно о ней говорят, что не могут безмятежно и достаточно внимательно ее созерцать. Она чувствует себя в ней, словно на груди целомудренной невесты, и только ей в сладостные задушевные часы поверяет достигнутые им прозрения. Я почитаю этого сына счастливым, этого любимца природы, которому она позволяет ее созерцать в ее двойственности, как силу оплодотворяющую и рождающую, и в ее единстве, как бесконечный, вечно длящийся брак. Его жизнь будет полною всех наслаждений, целью сладострастия и его религией — настоящим, в подлинном смысле натурализм.

Во время этой речи Учитель со своими учениками подошел к собранию. Путники встали и благоговейно его приветствовали. Освежающая прохлада распространилась из темных осененных листвою просек под площадью и ступенями. Учитель велел принести один из тех редкостных светящихся камней, называемых карбункулами, и светло-алый, сильный свет разлился по разным фигурам и одеяниям. Между ними скоро началась дружественная беседа. В то время как отдаленная слышалась музыка и студеное пламя из хрустальных чаш запыхало на губах говоривших, чужестранцы делились замечательными воспоминаниями о своих далеких странствиях. Исполнены тоской и жаждой ведения, собрались они в путь, чтобы отыскать следы того погибшего пранарода, чьи выродившиеся и одичалые остатки, кажется, представляют из себя современное человечество, обязанное важнейшими и необходимейшими знаниями и орудиями высокой образованности того народа. Их привлекал преимущественно священный язык, бывший некогда блестящею связью тех царственных людей с надмирными странами и обитателями, и несколько слов которого, по словам разных сказаний, могло еще быть во владении нескольких счастливых мудрецов из числа наших предков. Его произношение было волшебным пением, неотразимые звуки которого глубоко внедрялись во внутреннее существо всякой природы и разлагали ее на части. Каждое из его имен казалось освободительным словом для души всякого природного тела. Колебания этих звуков творческою силой вызывали все образы мировых явлений, и о них можно было справедливо сказать, что жизнь вселенной — это вечный тысячеустый разговор, ибо в его произношении, казалось, были непостижно соединены все силы, все роды действительности. Отыскать отрывки этого языка, по крайней мере, все сведения о нем было главною целью их путешествия и древняя молва привлекла их в Саис. Они надеялись здесь получить важные сведения от мудрых хранителей храмового архива, а может быть, и самим найти объяснения в больших собраниях разнородных предметов. Они просили Учителя позволить им провести одну ночь в храме и присутствовать несколько дней на его уроках. Они получили желаемое и искренне радовались, когда Учитель сопровождал их повествования разнообразными замечаниями из сокровищницы своего опыта и развивал перед ними вереницу поучительных и прелестных былей и описаний. Наконец, он заговорил о деле своего возраста — будить в юных душах различное чувство природы, упражнять его, изодрать и сочетать его с другими способностями для рождения высших цветов и плодов.

— Быть провозвестником природы — прекрасное и святое служение, — сказал Учитель. — Не один только объем и совокупность знаний, не дар легко и правильно прилагать эти знания к изве-

ственным уже понятиям и опытам и своеобразные, чуждо звучащие слова заменять обычными выражениями, даже не гибкость богатого воображения в умении располагать природные явления в легко понятные и верно освещенные картины, напрягающие и удовлетворяющие чувства очарованием сопоставлений и богатством содержания, или восторгающие дух глубоким смыслом, — все это еще не составляет того, что, воистину, требуется от природоведа. Для кого важна не природа, а нечто иное тому, пожалуй, этого довольно, но кто чувствует большую тоску по природе, кто ищет в ней всего и кто есть как бы чуткое орудие ее тайнодеяния, тот признает только того своим учителем и наперсником природы, кто говорит о ней с благоговением и верою, в чьих речах волшебная, неподражаемая вникновенность и нераздельность, благодаря которым вещаются истинные евангелия, истинные вдохновения. Изначально благоприятная способность такой природной души должна быть от самой юности поддерживаема и развиваема непрерывной прилежностью, одиночеством и молчанием, ибо многословие несовместимо с постоянной внимательностью, которую такой человек должен прилагать, детской простотой, скромностью и неутомимым терпением. Невозможно определить времени, в которое он станет причастен ее тайнам. Иные счастливыцы достигли этого раньше, другие лишь в преклонном возрасте. Истинный испытатель никогда не стареет, всякое вечное стремление — вне области жизненного возраста и, чем больше выветрена внешняя оболочка, тем более светлым, блестящим и ядрёным становится зерно. И дар этот не сопряжен с внешнею красотой, или силой, или пронизательностью, или каким-либо иным человеческим качеством. Во всех сословиях, во всяком возрасте и роде, во всех эпохах во всех земных странах существовали люди, избранные природою своими любимцами и осчастливленные внутренним зачатием. Эти люди часто казались более простыми и неловкими, чем остальные, и в течение всей своей жизни пребывали в темноте большой толпы. И нужно почитать за большую редкость, если истинное понимание природы найдется при большом красноречии, благоразумии и замечательной жизни, так как обыкновенно оно вызывает или сопровождает простые слова, прямой смысл и несложность. В мастерских ремесленников и художников, и там, где люди бывают с природою в разнообразных отношениях и борьбе, как например, при земледелии, мореплавании, скотоводстве, добывании руд, а также во многих других занятиях легче и чаще всего имеет место развитие этого чувства. Если всякое искусство состоит в познании средств для достижения искомой цели, для произведения известного действия и явления и в сноровке выбора и применения средств, то тот, кто чувствует внутреннее призвание делать понимание природы общим достоянием многих людей, дол-

жен развивать и воспитывать в людях преимущественно эту способность, должен старательно обращать внимание прежде всего на естественные причины этого развития и стараться научиться у природы основным чертам этого искусства. При помощи достигнутых познаний он выработает себе систему применения этих средств к каждой данной особи, систему, основанную на опыте, разложении и сравнении, усвоит эту систему до того, что она станет ему как бы другой природой и начнет тогда с энтузиазмом свое благодарное дело. Только его можно будет справедливо назвать учителем Природы, тогда как всякий другой, простой натуралист случайно и безотчетно, сам, как произведение природы, пробудит чувство Природы.



ДОБАВЛЕНИЯ

1

Превращение храма в Саисе.
Явление Изиды.
Смерть Учителя.
Сны в храме.
Мастерская Архэя.
Пришествие греческих богов.
Статуя Мемнона.
Посвящение в таинства.
Путешествие к пирамидам.
Дитя и его Иоанн.
Мессия Природы.
Новый Завет и новая природа, как новый Иерусалим.
Космогония древних.
Индусские божества.

2

Человек всегда выражал в своих творениях, своих деяниях и вóлениях символическую философию своего существа. Он возвещает себя и свое Евангелие природы, он — Мессия природы.

3

Любимец счастья стремился объять несказанную природу. Он искал таинственного обиталища Изиды. Свое отечество и своих возлюбленных покинул он в устремлении своей страсти, не взирая на горе своей невесты. Долго длилось его странствие. Великие были трудности. Наконец он повстречался с ручьем и цветами, которые готовили путь к святыне. Восхищенный радостью, пришел он к дверям. Он вошел и увидел свою невесту, она встречает его улыбкой. Оглянувшись он увидел себя в своей опочивальне, и нежная ночная музыка звучала под его окнами для сладостного разрешения тайны.

4

Одному удалось, — он поднял покрывало в Саисе —
Что же теперь увидал, чудо. — Себя самого.

5

Иисус герой. Тоска по святому Гробу.
Крестная песнь. Песня монахинь и монахов.
Анахорет. Плачущие. Нищие. Тоска по Деве.
Вечная лампада. Его страдание.
Иисус в Саисе. Новая песнь.

6

Природное государство есть в одно и то же время *res privata*
(мистически) и *res publica*. (Мистицизм природы. Изида Дева.
Покрывало. Таинственное толкование естественной науки).

НОВАЛИС

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЭТЮД

Т. КАРЛЕЙЛЯ





Несколько лет тому назад экземпляр сочинений Новалиса заставил Жана-Поля Рихтера предположить, что немецкие читатели очень легкомысленны, так как они совсем не склонны иметь дело с такими книгами, которые нужно перечитывать несколько раз. Экземпляр Новалиса, взятый Ж.-Подем из публичной библиотеки с такой охотой, даже с радостью, и принадлежавший, вероятно, первому изданию, оказался неразрезанным и запыленным. С тех пор времена, очевидно, сильно изменились. В самом деле, если мы станем судить о немецких читателях по тому изданию сочинений Новалиса, которое находится перед нами (Novalis Schriften. Herausgegeben von Ludwig Tieck und Friedrich Schlegel. 2 vol. Berlin. 1826), мы должны будем вывести совсем иное заключение. Это уже четвертое издание, следовательно, быть может, десяти тысячный экземпляр книги, которая, по заслугам или нет, читается чаще, чем какая-нибудь другая из попадавшихся нам для просмотра.

Не входя вовсе в оценку заслуг Новалиса, заметим только, что нам казалось бы благоприятным признаком для литературы, если бы во всех странах входило в обычай такое серьезное чтение. Совершенно вопреки мнениям, высказываемым интеллигентными людьми за чашкой чая, можно утверждать, что ни одна хорошая книга, да и ничто вообще хорошее не показывает своей лицевой стороны сразу. Напротив, истинно художественному произведению, если оно полно глубокого значения, свойственно при первом взгляде производить некоторое разочарование, быть может, даже при всей его несомненной красоте, вызывать своего рода чувство антипатии. Мы не думаем этим замечанием бросить камень в старинный цех литературных импровизаторов или в кого-нибудь из членов того трудолюбивого братства, которое занимается пусканием мыльных пузырей перед своими ближними, — пузырей, на которые нужно с удивлением взирать сейчас же, иначе они вмиг исчезнут безвозвратно. Напротив, принимая во внимание пользу, приносимую этими «надувателями» цивилизованным го-

сударствам, мы желаем их легким здоровьем, а им самим всякого благополучия. Мы только хотели бы, чтобы этот сорт людей не сделался единственным представителем литературы; чтобы, будучи безусловно самыми влиятельными, они довольствовались этим преимуществом и не уничтожали бы тиранически своих менее благоденствующих соседей. Необходимо помнить, что у литературы безусловно есть еще другие цели, кроме развлечения на час-другой; что эта последняя цель, как она ни привлекательна, — не самая возвышенная и не самая существенная. Поэтому мы и говорим, что импровизаторы не должны переступать известных границ; а читатели, или по крайней мере небольшая часть их, должны помнить, что есть области человеческого знания, еще полные неисследованной глубины и трудностей; что слово «неясный» не вполне тождественно слову «бессмысленный»; что зрение бывает иногда в таком состоянии, когда и самый свет кажется тьмой; одним словом, что при чтении книг иной раз бывает вовсе излишним несколько терпения и попытки рассуждать.

Пусть общество этих господ благоденствует и пожинает лавры в своем кругу. Если они перейдут его границы, это послужит, конечно, к их процветанию, но повредит читателю. Читатель, которого приучили познавать все в одну секунду, наконец забывает, что его мудрость и критическая прозорливость ограничены, а не беспредельны, и потому в своих выводах начинает впадать в разнообразные ошибки. Критик, который в сущности есть не что иное, как первый читатель, являющийся как бы решетом или фильтром для более беззаботной публики, скоро следует его примеру. Оба они воздействуют еще больше на кружок писателей, и вследствие такого взаимодействия дело идет все хуже и хуже.

Что касается добросовестного чтения, то, по нашему мнению, немцы в этом отношении стоят выше нас англичан. По крайней мере мы не можем указать на такой пример, как это лежащее перед нами 4-е издание сочинений Новалиса, «Друг» Кольриджа, например, или его «Biographia Literaria» — пустяк в сравнении с этими «Письмами», которые, будучи немного длиннее алфавита, в форме грамматического и риторического компендиума трактуют о философии и искусстве. Однако сочинения Кольриджа были торжественно объявлены всем критическим миром совершенно недоступными для понимания; в читающем мире они остаются незаметными, подобно живым родникам, скрытым еще под мыльной пеной и кучами театрального бумажного снега, — родникам, которые лишь впоследствии, когда покрывавшие их горы обратятся в газ и прах, вырвутся наружу в своем настоящем виде, чтобы очаровать взоры свойственной им красотой и вечной свежестью.

Допускают также, что Кольридж человек «гениальный», т. е. человек, отличающийся от других более глубоким взглядом на

вещи; и однако, странно сказать, в то же самое время считают решенным, что у Кольриджа — менее глубокий взгляд, чем у всякого другого. Иначе как объяснить, что его теории, без дальнейшей проверки, выбрасываются за окно, как ложные и бесполезные, лишь потому, что они малопонятны? Как можно усвоить себе столь очевидное заблуждение иначе, если не при помощи следующего необыкновенного соображения: что человек, способный высказывать глубокие мысли (это ведь входит в понятие «гений»), оказывается неспособным их понимать, после того как они высказаны; что творческий разум философа является лишенным той простой логической способности, которая есть у «всех адвокатов и у всех, получивших образование в эдинбургском университете». Всякий кембриджский извозчик на вопрос, может ли его лошадь «делать выводы», немедленно ответит: «да, она умна»; но вот перед нами гениальный человек, и он оказывается лишенным этого дара.

Что касается лично нас, сознаемся, мы еще слишком недавно занимаемся исследованием человеческой природы, чтобы встретиться с подобной аномалией. Никогда еще судьба не наталкивала нас на такого гениального человека, у которого выводы не соответствовали бы посылкам лучше, чем у других, а не хуже, — гений которого, правильно понятый, не проявлялся бы в более глубоком, широком и справедливом взгляде на всевозможные дела человеческие и божественные, чем может на это претендовать самый здравомыслящий из ваших прославленных «практических людей».

Таковы, утверждаем мы, были постоянные результаты наших наблюдений, столь постоянные, что мы едва ли можем ожидать их изменения. Правда, старый аргумент пифагорейцев: «так сказал учитель» — давно уже вышел из употребления, и в настоящее время никто, кроме римского папы, не свободен от ошибок в своих суждениях. Несомненно, что и гениальный человек может иногда усвоить ложное мнение; скажем больше: подобно всем другим сынам Адама, кроме этого достойного зависти папы, он *должен* иногда усвоить его. Тем не менее мы признаем очень хорошим то правило, которое утверждает, что ни одно заблуждение не разрушено вполне до тех пор, пока не выяснено не только то, что это заблуждение, но и то, каким образом оно произошло; пока мы, находя, что это заблуждение противоречит понятиям об истине, заложенным в нашей собственной душе, не откроем причины, почему же оно не стало в разрез с понятиями об истине той другой души, стоящей, быть может, неизмеримо выше нас. Следуя такому методу, мы приходим к убеждению, что заблуждения мудрого человека, как говорит старинная пословица, в буквальном смысле более поучительны, чем истины, извлекаемые

глупцом. Мудрый блуждает в областях возвышенных, откуда видны широкие горизонты; глупец — по низким тропинкам, заключенным с обеих сторон высокой изгородью. Если мы отправимся по следам первого, чтобы открыть, где он сбился с дороги, то перед нашими глазами откроются все области земные; следуя по пятам второго, мы, правда, убедимся, что он ни на шаг не уклоняется в сторону, но перед нашими глазами будут лишь две колеи, да два плетня.

Ввиду таких соображений, мы признаем почти во всех случаях более полезным иметь дело с людьми глубокими, чем с людьми ограниченными, и если бы это было возможно, мы не читали бы вовсе тех книг, которые писаны людьми, не принадлежащими к первому разряду. К людям же этого разряда мы относились бы с любовью и уважением, какими бы извращенными они ни казались нам с первого взгляда, и сколько бы недостатков ни открылось в них после основательного ознакомления.

Те из наших читателей, которые разделяют вполне такой вкус, не осудят нас за то, что мы познакомим их с Новалисом, человеком, обладающим несомненным талантом, как поэтическим, так и философским. Как ни необычайны, даже дики и неосновательны кажутся часто его мысли, они не лишены строгой связи в его уме и могут навести всякий другой ум, который добросовестно вдумается в них, на бесконечные соображения; они открывают путь к поразительным исследованиям, новым истинам или новым гипотезам, вводят в неожиданный мир идей, где нас ожидают глубочайшие вопросы независимо от того, склонны ли мы принимать на веру, или отрицать.

Нам известно, что при так называемом критическом разборе книг, подобных сочинениям Новалиса, в распоряжении у ловкого критика-ремесленника есть два приема. Первый и самый выгодный для критика способ заключается в том, чтобы решительно, так сказать, усесться на плечи автору, и держать себя с видом человека, командующего им и смотрящего на него, вследствие естественного превосходства своего положения, сверху вниз. Что ни скажет, что ни сделает великий человек, ко всему этому маленький человек отнесется с лукавым видом и с легкой, снисходительной усмешкой. С глубоко скрытой иронией он сознается перед вами, что некоторые места книги выше его понимания, и задаст при этом хитрый вопрос читателям, понимают ли они их? При этом очень кстати для критика, если он может привести в своем разборе несколько небольших отрывков, которые, будучи выхвачены из естественной связи или употреблены, что очень возможно, в превратном смысле, покажутся некоторым читателям странными и даже вздорными. Если критик обладает известной ловкостью и имеет дело с доверчивой публикой, ему будет легко проделать все это, потому

что истины в нашем мире являются несомненными лишь для тех, кто имеет о них понятие. С другой стороны, если наш критик натолкнется на такое место, которое своей глубокой, очевидной, понятной даже для самого обыкновенного ума мудростью способно навести читателя на подозрение, что перед ним — человек с нераскрывшимся еще вполне дарованием, заслуживающий, быть может, скорее удивления, чем насмешек, тогда наш критик или замалчивает такое место, или же цитирует его, надевая на себя личину похвального беспристрастия и взывая при этом к автору повелительно-поощрительным тоном: пусть он бросит свои трансцендентальные причуды и пишет всегда так, тогда и он — критик будет удивляться ему. После такого приема читатель чувствует, что сомнения в нем улеглись. Он легко пробегает статью до конца и закрывает книгу с победоносным чувством, не только от сознания, что он и критик поняли этого человека, но также и потому, что, несмотря на некоторые искры фантазии и т. д., этот человек оказался немногим лучше, чем вся остальная темная масса. Такими приемами маленький критик торжествует над великими писателями, но ведь это торжество глупца. Этим способом он обращает на себя внимание известного рода читателей, а не верного слугу, которым дарят прихлебателя, а не верного слугу. Верный слуга должен был бы в таком случае сказать правду, — правду, которая принесла бы пользу, как бы горька она ни была; а прихлебатель льстит своему господину сладкими речами, чтобы завладеть его расположением и сорвать с него несколько гиней. При этом вместо безвредного незнания он питает в нем вредное заблуждение. Вполне естественно, что для обыкновенного читателя такое льстивое помазание весьма усладительно. В самом деле, у читателя такого сорта немного может возбудить больше тревоги, чем сознание, что его маленькое село, где он жил в таком уютном уединении, в конце концов не составляет целого мира; что позади того холма, который защищал его дом от западного ветра и тем способствовал произрастанию овощей для его кухни, есть еще и другие холмы и другие села, даже целые горы и большие города, с которыми немедленно нужно познакомиться, если только хочешь слыть за знатока географии. Для этого находится и надежный человек, часто из среды его же земляков, — критик. Он весело ведет его на вершину холма; показывает ему, что за холмом действительно существуют или представляются взору другие необозримые страны; но уверяет при этом, что виднеющиеся на них горы — облака, а города — миражи, и что в сущности эта страна — пустое пространство или, в лучшем случае, каменистая пустыня, в которой обитают грифоны и химеры.

Все такие приемы, несомненно, заслуживают строгого порицания, если только печать не является, подобно языку

придворных, «искусством *скрывать* свои мысли». Неужели достойное для критика занятие — знакомить своего читателя с лживостью, самомнением и всякими другими позорными глупостями, заботливо развивать в нем склонность к ним, заботливо устранять все, что может вторгнуться со своими разрушительными новшествами в безмятежную жизнь глупцов? Что такое критик? Жрец литературы и философии, поставленный, чтобы разъяснять их тайны простым людям, подобно истинному проповеднику, который учит понимать то, что доступно для их понимания, и относиться с уважением к тому, что доступно пониманию лишь высших умов; или он просто прислужник тупоумия, выбивающийся из сил, чтобы получить известную плату помесячно или по четвертям, и способствующий утверждению на земле царства наглости и пошлости? И если он — последнее, то не посоветовать ли ему остановиться на минуту и серьезно поразмыслить, что лучше: быть голодным или вести такую собачью жизнь?

Читатель наш догадывается, что мы намерены применять второй метод в отношении к Новалису; что мы желаем не наскაკивать с бранью на этого высокодаровитого человека, но глубже познакомиться с ним; что мы находим его мышление очень своеобразным, но не заслуживающим непременно строгого осуждения в силу одного этого; что в нем мы видим предмет, действительно достойный исследования, но чрезвычайно трудный, если исследовать его с умом и пользой. Пусть только никто не ожидает, что на этот раз для его развлечения выведут перед ним ослепленного и закованного в цепи Самсона. Разве это не было бы смертью для маленького человека в духовном смысле или по крайней мере не послужило бы ему в несомненный вред? Разве привычка смеяться над всем великим и насильственно понижать все великое до уровня собственной высоты не является главной причиной того, что эта высота остается столь незначительной? Будь, что будет, но у нас не найдется освежающей росы для легкомыслящего маленького человека. Нет, как сострадательные братья, как товарищи его по несчастью, мы с радостью наложили бы серп на тот бурьян самомнения, который разросся вокруг него, и выжали бы его дочиста, чтобы мир в его настоящем виде и его собственная настоящая фигура не оставались долее закрытыми от его глаз. Или наш брат откажется следовать за нами, если мы не заманиваем его обещаниями? Тогда пошлем ему самые лучшие пожелания, и пусть он остается жить в своей кухне.

Далее, тем немногим честным людям, которые пойдут все-таки за нами, мы должны сказать, по правде, что мы далеко не склонны смотреть на Новалиса сверху вниз и не можем поместить ни их, ни себя на один уровень с ним. Было бы пустой претензией с нашей стороны объяснять столь необыкновенную натуру, вы-

ставлять этот ум, столь глубокий и своеобразный, перед читателями, непохожими на него ни в каком отношении. При всем желании и после многочисленных попыток мы сами получили о Новалисе лишь слабое представление. Его сочинения появляются перед нами при весьма неблагоприятных обстоятельствах. Это посмертное издание сочинений человека, похищенного смертью в самой юности, когда его идеи, далеко не созревшие для общественного употребления, носились еще в грубом и отрывочном виде перед его собственным умственным взором. Большею частью они изложены в форме отрывочных афоризмов. По словам самого Новалиса, ни одна из этих мыслей не казалась ему неверной или маловажной; но их, конечно, нужно было обработать, развить и изложить в более сжатом виде, по мере того как все более и более выяснялось логическое единство материала. В лучшем случае эти афоризмы лишь отрывки из великого плана, до осуществления которого Новалис не дожил. Если его издатели, Фридрих Шлегель и Людвиг Тик, уклонились от комментирования этих сочинений, то нам и подавно извинительно это. «В нашу задачу, — говорит Тик, — не может входить здесь ни рекомендация, ни оценка предлагаемых сочинений, так как весьма возможно, что всякое суждение о них, которое напрашивается теперь, окажется преждевременным и незрелым. Дух столь оригинальный нужно сначала познать, нужно понять его желания, почувствовать его любвеобильные стремления и найти им отзвук в своем сердце. Тогда, прежде чем его идеи оплодотворят другие умы и вызовут новые идеи, мы можем из исторической последовательности видеть, какое место он сам занимает, и каково его отношение к своему веку.»

Во всяком случае Новалис — настолько видная фигура в немецкой литературе, что никто, занимающийся последней, не может оставить его без внимания. Если мы не осмеливаемся взять на себя объяснение нашим читателям сочинений Новалиса, то мы обязаны по крайней мере обратить на них внимание и, по мере сил своих, показать интересующимся, как им самим заняться изучением, чтобы оно принесло пользу. В виду таких соображений полезно будет предоставить нашему автору говорить главным образом самому за себя, присоединяя к этому лишь такие пояснения, без которых совсем нельзя обойтись, и за верность которых мы можем ручаться. Нашему изложению мы предположим несколько подробностей из кратковременной жизни Новалиса; эта часть работы значительно облегчается тем ясным и привлекательным рассказом, который дает Тик в предисловии к третьему изданию его сочинений.

Фридрих фон-Гарденберг, известный в литературе более под псевдонимом Новалиса, родился 2 мая 1772 года в имении, принадлежавшем его семейству, в графстве Мансфельдском в Саксонии.

Отец его, бывший в юности военным и с тех пор не переставший питать расположения к этой профессии, в это время был директором саксонского солеваренного завода — пост довольно значительный и требующий лица надежного. Тик говорит о нем: «Это был энергичный, неутомимо деятельный человек, с открытым, решительным характером — настоящий немец. Из религиозных побуждений он сделался членом гернгутерской общины; однако все существо его продолжало дышать весельем и грубоватой искренностью». У матери Новалиса были свои достоинства: она была образцом искренней набожности и христианской кротости, добродетели, для развития которых в последующей ее жизни было немало случаев.

На молодого Фридриха, которого мы будем называть Новалисом, качества родителей должны были оказать больше влияния, чем это бывает обыкновенно. Его воспитание шло в полном уединении, почти без всякого общества, кроме общества старшей сестры и двух младших братьев. Религиозное настроение безусловно царило в семействе, проявляясь в различных прекрасных формах. Для Новалиса в особенности оно оставалось руководящим принципом в продолжение всей его жизни, давая себя чувствовать как в его ученых рассуждениях, так и в его симпатиях и поступках. Рассказывают, что в детстве он отличался безграничной, страстной любовью к матери и тем, что, расположенный к тишине и уединению, он не находил никакого удовольствия в играх с детьми и избегал их общества. Тик упоминает, что до девятилетнего возраста его вовсе нельзя было причислить к детям, отличающимся понятливостью, но тут какая-то сильная болезнь, чуть не сведшая его в могилу, как бы вызвала в жизни его способности, и он вдруг сделался смышленным и прилежным учеником по всем предметам школьного курса.

На восемнадцатом году, употребив в гимназии несколько месяцев на подготовку (этим только, кажется, он и обязан в своем образовании школе), Новалис отправился в университет в Иену, где и провел три года; после этого, употребив на занятия один семестр в Лейпцигском университете, он закончил свой курс в Виттенбергском. Кажется, в Иене он завел знакомство с Фридрихом Шлегелем; здесь же, как мы предполагаем, он пользовался в своих занятиях руководством Фихте. К обоим этим людям он питал глубокое уважение и любовь, и несомненно, что оба они не переставали оказывать сильное влияние на всю его жизнь. Фихте, который, говорят, был неотразим, как преподаватель, бла-

годаря своему высокому красноречию и ясному, спокойному воодушевлению¹, совершенно заполонил Новалиса своими доктринами. Его «Wissenschaftslehre» (Наукоучение), которое, по словам самого Новалиса, он изучал с неусыпной ревностью, кажется, послужило основанием для всех его будущих философских теорий. Наряду с этими метафизическими исследованиями и обычными занятиями классической литературой, Новалис горячо отдавался изучению наук физических и математике, поскольку она служит их основанием. Еще в детстве он читал много исторических книг с необыкновенным увлечением. Поэмы издавна служили ему отдыхом в свободные часы; в особенности так называемые *Mährchen* (старинные сказки) пользовались его расположением до конца жизни. Почти с самого детства его любимым удовольствием было читать или самому выдумывать подобные истории. В романе «Генрих фон-Офтердинген», главном литературном произведении Новалиса, помещена одна из замечательных его сказок в этом роде. Наконец, наступило время, когда учение должно было смениться деятельностью, и Новалису нужно было избрать так называемую профессию. Когда вспыхнула война с Францией, Новалисом овладело сильное и совершенно неожиданное влечение к военной жизни; однако доводы и настойчивые просьбы друзей в конце концов одержали верх над этой фантазией. Очевидно, решили, что в выборе рода занятий он последует примеру отца. Итак, к концу 1794 года Новалис отправился в Тюринген, в Арнштадт, чтобы здесь заняться практической деятельностью под руководством окружного начальника Юста. Нашедши в этом окружном начальнике умного и доброго друга, Новалис занялся добросовестно работой и, вероятно, всегда в серьезных размышлениях ему представлялось, что будущая его жизнь пойдет по ровному и обычному пути, как и прошедшие годы. Неожиданный и далеко не заурядный случай перевернул, по мнению Тика, вверх дном все существо Новалиса.

«Немного спустя после приезда в Арнштадт, Новалис познакомился в одном соседнем имении с Софией фон-К. Первый же взгляд на это изящное и необыкновенно привлекательное существо сделался для Новалиса решающим на всю жизнь; можно даже сказать, что охватившее и воспламенившее его чувство стало главным содержанием всей его жизни. Иногда во взгляде и чертах лица ребенка запечатлено выражение такой грации и душевной красоты, что мы должны назвать его неземным, ангельским. Обыкновенно, при виде таких ясных почти прозрачных лиц, нами

¹ Мы слышали, что Шеллинг следующим образом отзывался о Фихте и его «Наукоучении»: «Философия Фихте — молния; она является на одно мгновение, но зажигает огонь, который будет гореть вечно».

овладевает страх, что они слишком нежны и слишком тонко сделаны для этой жизни, что это смерть или бессмертие так выразительно смотрит на нас из блестящих глаз; и слишком часто быстрое увядание доказывает, что наше боязливое предчувствие было справедливо. Еще поразительнее бывают такие лица, когда, миновав детский возраст, они приближаются к цветущей девичьей поре. Все, кто только знал этот удивительный предмет обожания нашего друга, в один голос утверждают, что никакое описание не в состоянии выразить того изящества и ангельской грации, которыми было проникнуто это неземное создание, той красоты, которая светилась в ней, той нежности и величия, которые ее окружали. Всякий раз, говоря о ней, Новалис делался поэтом. Когда он ее увидел в первый раз, ей только что исполнилось тринадцать лет. Весна и лето 1795 г. были цветущей порой его жизни. Всякий свободный от занятий час он проводил в Грюнингене, и позднее осенью того же года ему удалось получить от родителей Софии согласие на брак с ней».

К сожалению, эти счастливые дни были слишком непродолжительны. Вскоре после этого София опасно заболела какой-то лихорадкой, сопровождаемой колотьем в боку, и влюбленному Новалису нужно было опасаться самых дурных последствий. И действительно, хотя лихорадка мало-помалу прекратилась, но нестерпимая боль в боку отравляла Софии много хороших часов, давая пищу всевозможным опасениям, хотя доктор и уверял, что болезнь не представляет ничего опасного. Успокоенный несколькими этими словами, Новалис отправился в Вейсенфельс к своим родителям и занялся усиленно делами, так как в это время он получил место контролера в том департаменте, где его отец был директором. В продолжение зимы из Грюнингена получались вполне благоприятные известия. Весной Новалис сам посетил семейство Софии и нашел ее по всем внешним признакам здоровой. Как вдруг летом его надежды и занятия были прерваны известием, что София находится в Иене, где ее подвергли хирургической операции. У нее оказался нарыв в печени, и она высказала желание, чтобы Новалис ничего не слышал об ее опасном положении, пока не наступит кризис. Иенский хирург подавал надежду на выздоровление, хотя и очень медленное. Однако в непродолжительном времени операцию требовалось повторить, и он опасался, что силы пациентки слишком истощены. Молодая девушка переносила все это с непоколебимой стойкостью и полной готовностью. Ее мать и сестра, Новалис со своими родителями и двумя братьями, — все принимали глубокое участие в ее несчастье и делали все от них зависящее, чтобы облегчить ее страдания. В декабре, по ее собственному желанию, возвратились домой; но было ясно, что силы ее все более и более падали. Новалису пришлось переезжать из

Грюнингена в Вейсенфельс, где горе посетило и его дом: один из его двух братьев — Эразм, давно уже лежавший больным, теперь вызывал опасения за свою жизнь.

«Семнадцатого марта, — рассказывает Тик, — Софии исполнилось пятнадцать лет, а девятнадцатого около полудня ее не стало. Никто не решался сообщить об этом Новалису. Наконец, его брат Карл взял это на себя. Несчастный юноша заперся в своей комнате и плакал три дня и три ночи. Затем он отправился в Арнштадт, чтобы со своими верными друзьями быть вблизи того места, в котором покоились останки самого дорогого для него существа. Четырнадцатого апреля его брат Эразм также оставил этот мир. Новалис так писал об этом своему брату Карлу, который должен был предпринять поездку в Нижнюю Саксонию: «Будь тверд! — Эразм уже покончил с жизнью; один за другим отрываются цветы от дорогого нам венка здесь, чтобы образовать там венец вечный и еще более прекрасный».

Среди сочинений Новалиса, напечатанных в лежащих перед нами томах, есть три письма, написанных около этого времени и рисующих печальным образом настроение духа их автора. «В то время, — пишет Новалис, — когда я еще смотрел на занимающуюся утреннюю зарю, вокруг меня наступил сумрак. Моя печаль также беспредельна, как и моя любовь. Три года она была предметом моих ежечасных размышлений. Она одна привязывала меня к жизни, к земле, к моим занятиям. Вместе с ней для меня все погибло, так как лично для себя я почти не существую. Но сумрак наступил, и я чувствую, что и мне следовало бы уйти заблаговременно; мне так хотелось бы успокоиться, видеть вокруг себя ясные, ласковые лица; я хотел бы жить, проникшись ее духом, быть мягким и кротким, как она». Несколько недель спустя он писал: «Я переживаю здесь старую прошедшую жизнь в тихом размышлении. Вчера мне исполнилось двадцать пять лет. Я был в Грюнингене и стоял возле ее могилы. Это — прелестный уголок, окруженный со всех сторон простой белой решеткой и лежащий в стороне, на возвышенном месте. Здесь есть еще свободное пространство. Вокруг холма расположилась деревня с цветущими садами. Местами взор уходит в синюю даль. Я знаю, что и вы охотно постояли бы здесь рядом со мною, медленно сажая в ее могилу цветы, которые мне были подарены в день рождения. Два года тому назад в этот самый день София приготовила для меня прекрасный большой пирог, прикрепив на нем флаг с национальной кокардой. Сегодня ее добрые родители отдали мне те недорогие подарки, которые она с большим удовольствием принимала в последний день своего рождения. Друг мой! сумерки продолжают, и скоро настанет ночь. Если вы уедете, вспоминайте дружески обо мне, а когда возвратитесь, то посетите тихий уголок, где друг

ваш останется навсегда у праха своей возлюбленной. Прощайте!» Несмотря на все это, странное спокойствие нашло на него. Из недр его глубокой скорби явилось такое чувство душевного мира и чистой радости, какого он до тех пор еще никогда не испытывал.

«В это время, — говорит Тик, — Новалис жил только своей печалью. Ему казалось естественным смотреть на видимый и невидимый мир, как на нечто нераздельное, и различать жизнь и смерть потому, что вторая влекла его к себе больше, чем первая. Но вместе с тем и жизнь явилась перед ним в преображенном виде, и он всем существом своим погрузился в радостные и ясные мечты о высшем бытии. Этой святой скорбью, этой глубокой любовью и набожной жадной смерти объясняются мысли и настроения Новалиса. Весьма возможно также предположить, что глубокие скорбные потрясения заронили в него зерно смерти, если только не было заранее ему определено судьбою быть так рано оторванным от нас».

«Пробывши несколько недель в Тюренгене, Новалис, утешенный и истинно просветленный, возвратился к своим занятиям, которым он и отдался с большей горячностью, чем когда-либо, хотя он и считал себя лишь временным гостем на земле. К этому периоду относится большинство его сочинений, написанных главным образом осенью этого года; выдержки из них изданы нами в свет под заглавием „Отрывки“, вместе с „Гимнами к ночи“».

Таков рассказ нашего биографа об этом происшествии, таков важнейший и вывод, к которому он пришел. Мы передали его как можно подробнее и по возможности словами самого биографа для того, чтобы дать возможность нашим читателям лучше судить, на каком основании Тик строит свое предположение, что здесь лежит ключ ко всей духовной истории Новалиса, что чувство, проникавшее и одухотворявшее его, сделалось главным содержанием всей его жизни. С нашей стороны было бы неблагоприятным оспаривать человека, способного судить обо всех предметах, а в данном случае еще находившегося в исключительно благоприятных обстоятельствах для того, чтобы составить правильное суждение об этом происшествии; однако мы должны сказать, что, по нашему мнению, справедливость гипотезы Тика вовсе не очевидна, с какой стороны на нее ни посмотреть. Но, быть может, тут нужно скорее возражать против фразы, против чрезмерной решительности и исключительности, с которой высказана гипотеза, так как истинный смысл этого события представляется нам настолько ясным, что мы не можем не верить, что и сам Тик согласился бы внести поправку в свое утверждение. Всякому, без сомнения, покажется странным такой вывод, что всякая философская и нравственная жизнь человека, подобного Новалису, сложилась и определилась под влиянием смерти молодой

девушки, почти ребенка, в особенности, как видно из рассказа, ничем не отличавшейся, кроме красоты, которая во всяком случае не могла быть долговечной. Мы не можем отрешиться от мысли, что точно такой же результат, в смысле нравственного воздействия, мог получиться для Новалиса от многих разнообразных причин; даже больше, — что тем или иным способом, но он непременно получился бы. Для натур, подобных Новалису, земная жизнь никогда не бывает настолько приятной и ровной, чтобы мало-помалу они не пришли к великой мысли о необходимости *Entsagen* — «отречения», с которой только и начинается, — как выразился один хороший знакомый Тику умный человек, — настоящее вступление в жизнь. Опыт, этот великий учитель, очень рано познакомил Новалиса с этой мыслью, разбив его первые страстные мечты; в этом и заключается действительное влияние Софии фон-К. на его характер; но мы думаем, что и многое другое могло и должно было оказать на него такое же влияние, так как восприимчивость ученика более обеспечивает успех обучения, чем строгость учителя. С другой стороны, очистительное действие обманутой надежды и любви, которая в этом мире никогда не найдет себе пристанища, зависит не от достоинств или привлекательности предмета обожания, но от свойств того сердца, которое лелеяло эти чувства и умеет спокойно извлечь мудрый урок из такого горького разочарования. Мы не хотим сказать, что Новалис остался бы тем же, если бы молодой девушки и вовсе не существовало: причины и следствия, связующие всякого человека и всякий поступок с другими, действуют всегда и всюду; но во всяком случае несправедливо представлять Новалиса такой послушной игрушкой в руках случая, простой свирелью, на которой играет судьба, и с которой прозвучала эта таинственная, захватывающая, почти неземная мелодия лишь потому, что существовала прекрасная, но смертная девушка.

Наши жестокосердные и неромантические возражения совершенно подтверждаются, когда мы непосредственно за этим читаем следующее место рассказа Тика. Вскоре после этого печального события Новалис отправляется в Фрейбург, знакомится здесь в 1798 г., т. е. приблизительно через год после смерти предмета своей первой любви, с Юлией фон-Ш. и делается ее женихом! Даже, по-видимому, с этих пор и до самого конца его жизнь идет веселее и счастливее, чем обыкновенно. Тик и сам не знает, что сказать об этой помолвке, которая в глазах большинства любителей романов покажется взмутительной. Он согласен, что помолвка эта может показаться всем, кроме интимных друзей Новалиса, странной; тем не менее он уверяет, что София, как видно из сочинений Новалиса, не переставала быть центром его мыслей, что он еще больше благоговел перед ней после ее смерти, чем

тогда, когда видел ее вблизи, и что он тем не менее считал возможным в некотором отношении заменить свою потерю существом прекрасным и достойным любви. Таким образом Тик оставляет нас думать об этом происшествии, как нам самим угодно. По нашему мнению, этот факт проливает свет на приведенные нами выше критические соображения и сильно подрывает доверие к теории Тика. Однако в конце концов, быть может, такое поведение Новалиса покажется очень предосудительным лишь в каком-нибудь сентиментальном романе или в глазах мягких мечтателей. Конечно, постоянство, в истинном смысле слова, может быть названо основой всех добродетелей. Особенно ценно постоянство в делах благотворительности, в дружественной помощи тем, которые любят нас и тем, которые нас ненавидят; но быть постоянным в бездейтельном страдании — это (совершенно вопреки тем книгам, которые полагают в этом великое достоинство), несомненно, добродетель низшего свойства, скорее случайность, чем добродетель, и притом случайность, крайне редко попадающаяся в этом мире. Для Новалиса его София могла оставаться навсегда святым воспоминанием, исполненным грусти и невыразимой нежности, которому он поклонялся в глубине своей души; однако поклонение такого рода не может быть единственным занятием мужчины; поэтому мы и не можем осуждать Новалиса за то, что он осушил свои слезы и еще раз с надеждой посмотрел вокруг себя на землю, на которой и теперь, как всегда, странным образом перемешано таинственное с ясным, радостное с печальным. Жизнь — достояние живущих; а тот, кто живет, должен быть готовым ко всякого рода превратностям. Сомнительным поступком в поведении Новалиса является, быть может, лишь чрезмерная его поспешность при втором сватовстве. Тем более надо сожалеть об этой несчастной ошибке, что второму браку суждено было оставаться лишь в проекте, и что Новалис мог наслаждаться лишь предвкушением его.

Причиной, приведшей Новалиса в Фрейберг, было намерение заниматься минералогией под руководством знаменитого Вернера. К этой науке Новалис питал сильную склонность, как и вообще ко всем естественным наукам. Насколько мы можем судить из его сочинений, он увлекался великим и оригинальным планом, очень отличающимся как от планов наших малоспособных, бессильных теоретиков и обобщителей, так и от планов еще более унылого класса тех ученых, которые только «собирают факты» и стараются возместить оцененность и полное истощение своих мыслительных способностей самым тщательным употреблением паяльной трубки и угломера. В это время в Фрейберге Новалис начал сочинение, озаглавленное «Ученики в Саисе», которое должно было, как сообщает нам Тик, стать «физическим романом»; однако,

оно осталось неоконченным и является теперь перед нами в высшей степени таинственным отрывком, открывающим такую научную глубину, для прозрения которой у нас недостает света, а для точного измерения нет совсем средств. Разнообразные гипотетические взгляды на природу, т. е. на творение видимое, высказываемые здесь устами разных «учеников», почти все отличаются более или менее от того, что нам приходилось где бы то ни было и когда бы ни было встречать. Впоследствии мы будем иметь случай обратиться к более подробному рассмотрению этого сочинения.

Знакомство со старшим Шлегелем (Августом-Вильгельмом), с которым сошелся Новалис вскоре после этого, а еще больше знакомство с Тиком, с которым он в первый раз встретился в Иене, произвело значительное изменение в направлении его занятий. Тик и братья Шлегели с некоторыми второстепенными сотрудниками, к которым теперь примкнули Вакенродер и Новалис, были в то время увлечены своим славным походом против тупоумных людей, именовавших себя в литературе «старой школой». Эту старую, достаточно осмеянную «школу» они уже приперли к стене своей регулярной и партизанской войной; наконец, пришли к решению, что ее нужно совершенно истребить. Кажется, вступив в сношения с этими людьми, Новалис впервые выступил перед публикой как писатель. Некоторые из его отрывков, под названием «Bluthenstaub (Цветочная пыль)», его «Гимны к ночи» и разнообразные поэтические произведения появились в «Альманахе муз» Ф. Шлегеля и других периодических изданиях той же или дружественной им редакции. Новалис сам сознается, что главным образом влияние Тика «пробудило в нем поэта». Какой прием встретили эти произведения, мы не знаем; однако Новалис отдался этой новой деятельности с обычной своей горячностью, прилежанием и с немалым успехом.

«Я увидел его в первый раз, — рассказывает Тик, — летом 1800 года, когда я посетил моего друга Вильгельма Шлегеля, и наше знакомство вскоре перешло в искреннюю дружбу. Хорошие дни проводили мы тогда с Шлегелем, Шеллингом и некоторыми другими друзьями. На обратном пути я заехал к Новалису и познакомился с его семейством. Здесь он читал мне своих „Учеников в Саисе“ и некоторые из своих „Отрывков“. Потом он проводил меня до Галле, и в Гибихенштейне в доме Рейхардта мы провели еще несколько приятных часов. Около этого времени у него явилась первая мысль об „Офтердингене“; тогда же он сочинил несколько „Духовных песен“, которые должны были составить часть книги христианских гимнов; Новалис намеревался приложить к ним собрание проповедей. Но эти литературные занятия не мешали его служебным делам. Все, что ни делал

Новалис, он делал с любовью, и самое малое в его глазах имело значение».

Служебные занятия, упомянутые нами, кажется, оставляли Новалису много свободного времени, что давало ему возможность не только предпринимать разные поездки, но и менять место своего жительства. Вскоре мы находим его поселившимся на долгое время в уединенном месте Золотой Долины в Тюрингене, у подошвы Кифгейзерской горы, где обычным для него обществом были два военных, впоследствии генералы. В этом-то уединении и была обработана значительная часть «Офтердингена». Первая часть «Генриха фон-Офтердингена», написанного в форме романа из артистической жизни, и долженствовавшего, как он сам говорил, быть «апофеозом поэзии», была скоро издан, — при каких обстоятельствах и с каким успехом, мы не имеем сведений, точно так же как и относительно более ранних его произведений. Тик, проживавший с некоторого времени в Иене, подолгу видался с Новалисом. Готовясь оставить эти места, он отправился в Вейсенфельс отдать Новалису прощальный визит и нашел его «несколько побледневшим, но исполненным радостных надежд. Он был совершенно увлечен планами своего будущего счастья; его квартира уже была отделана, так как через несколько месяцев должна была состояться свадьба. С меньшим увлечением он говорил о скором окончании „Офтердингена“ и других сочинениях. Его жизнь казалась исполненной кипучей деятельности и любви». Это было в 1800 году. За четыре года перед этим Новалис жаждал смерти и призывал ее, но она не была еще ему назначена; теперь он видит мысленно впереди опять богатую впечатлениями и долгую жизнь, а конец ее уже близок. Тик простился с ним и, как оказалось, навсегда.

В августе месяце, приготовляясь к столь радостной для него поездке в Фрейберг, Новалис был встревожен появлением у него кровохарканья. Доктор назвал это пустяком; тем не менее свадьба была отложена. Он отправился в Дрезден для совета с медиками и жил там несколько времени, не чувствуя улучшения; когда же он узнал о внезапной смерти своего младшего брата, у него сделалось сильное кровоизлияние. Тогда доктора объявили его болезнь неизлечимой. Но пациент, как обыкновенно бывает при таких болезнях, вовсе не разделял этого мнения. Он хотел испытать действие более теплого климата, но его находили слишком слабым для такой поездки. В январе (1801 г.) он возвратился домой, и всем, кроме него самого, было ясно, что дни его сочтены. Его невесте пришлось видетъся с ним уже в Дрездене. Остальное мы можем рассказать словами Тика:

«Чем ближе наступал его конец, тем с большей уверенностью ожидал он скорого выздоровления, так как кашель уменьшался,

и, кроме слабости, он не ощущал никаких болезненных признаков. Вместе с надеждой и жаждой жизни, казалось, в нем пробудился новый талант и свежая творческая сила. С новой любовью стал он думать о проектированных работах, решил переписать „Офтердингена“ вновь с самого начала, и незадолго до своей смерти однажды сказал: „Теперь только я понял, что такое поэзия; в моей душе поднимаются бесчисленные песни и поэмы, совсем непохожие на те, которые я писал раньше“. Начиная с 19 марта — дня, в который умерла его София, он начал заметно слабеть. Много друзей навещали его, и он был очень обрадован, когда 21-го к нему прибыл из Иены его верный и самый старый друг, Фридрих Шлегель. Они очень долго вместе беседовали, в особенности о своих разнообразных литературных работах. В продолжение этих дней Новалис был очень оживлен, ночи проводил спокойно и наслаждался вполне здоровым сном. Двадцать пятого числа, около шести часов утра, он попросил брата достать ему некоторые книги, чтобы навести какие-то справки; потом он заказал завтрак и весело разговаривал до восьми часов; в девятом часу он попросил своего брата сыграть ему что-нибудь на клавинофордах и во время музыки заснул. Вскоре после этого Фридрих Шлегель вошел в комнату и нашел его спокойно спящим. Этот сон продолжался вплоть до двенадцати часов, когда почти без малейшего движения он отошел в вечность. Смерть не изменила его, и он продолжал сохранять свое обычное приветливое выражение, как будто он был еще жив».

«Так умер, — продолжает рассказывать исполненный любви биограф, — друг наш раньше, чем ему исполнилось 29 лет. Его обширные познания, его философский гений и поэтический талант должны в равной степени возбуждать нашу любовь и удивление. Он настолько стоял выше своей эпохи, что наше отечество могло бы ожидать от него чего-нибудь необыкновенного, если бы ранняя смерть не сразила его. Однако, и неоконченные сочинения, оставшиеся от него, оказали уже значительное влияние; многие из его великих мыслей будут вдохновлять еще в будущем, и возвышенные умы и глубокие мыслители осветятся и воспламятся искрами его гения».

«Новалис был высок ростом, тонок и хорошо сложен. Его русые волосы падали вниз локонами, что тогда меньше бросалось в глаза, чем теперь. Его карие глаза были ясны и блестящи, а цвет лица и особенно прекрасного лба был почти прозрачен. Руки и ноги у него были несколько велики и неизящны. Выражение его лица было всегда весело и привлекательно. Кто различает людей поскольку они сами выставляют себя напоказ, или поскольку они стараются обратить на себя внимание изысканным обращением и исполнением правил приличия, для тех Новалис терялся в

толпе. Однако более пронизательный взор открывал в нем истинную красоту. Внешним очертанием и выражением лица Новалис был очень похож на евангелиста Иоанна, как он нарисован на большой знаменитой картине Альбрехта Дюрера, которую сохранили в Нюрнберге и Мюнхене».

«Говорил он оживленно и громко, сильно жестикулируя. Я никогда не видал его усталым. Когда наши разговоры затягивались далеко за полночь, он останавливался лишь потому, что надо было идти спать, и даже после этого он еще читал перед сном. Скуки он никогда не испытывал, даже в гнетущем обществе людей посредственных, так как он был уверен, что и среди них выщется кто-нибудь такой, кто прибавит к его знаниям еще что-нибудь новое и полезное, хотя бы и незначительное. Его ласковое непринужденное обхождение делало его всеобщим любимцем. Его искусство обращения с другими было так велико, что люди, стоявшие в умственном отношении ниже его, и не подозревали, насколько он их превосходил. Хотя в разговорах он охотнее всего раскрывал глубину духа и вдохновенно говорил об областях невидимых миров, однако он был весел, как дитя, шутил с непринужденной веселостью и охотно поддавался шуткам своих товарищей. Без всякого тщеславия, без ученого высокомерия, далекий от всего натянутого и лицемерного, он был искренним, правдивым человеком, самым чистым и самым привлекательным воплощением высокого бессмертного духа».

Сказанного довольно, чтобы судить о наружности и внешней жизни Новалиса; что же касается его внутреннего склада и его душевных мыслей, с которыми главным образом и хотелось бы познакомиться нашим читателям, то мы уже заявили, что полным знанием всего этого мы похвалиться не можем. Самое поверхностное чтение сочинений Новалиса свидетельствует о духе удивительно глубоко и оригинальном, но в то же время, — по природе ли, или вследствие манеры выражения, — проявляющемся так смутно и так сильно отличающемся от всего, что нам дано знанием и опытом, что было бы чрезвычайно трудной задачей проникнуть вполне в его основной характер и еще более — изобразить его с наглядной ясностью. Наверное, даже и при благоприятных для нас обстоятельствах, это было бы неисполнимой задачей, так как Новалис принадлежит к тому классу людей, которые, не признавая «метода силлогизмов» главным орудием для раскрытия истины, не видят надобности становиться втупик всякий раз, когда им недостает его света. Многие из своих мнений он сам не ввязался бы защищать перед самыми терпеливыми судьями и даже был бы доволен, что их находят невероятными. Он очень любил и прилежно изучал Якова Бёме и других мистических писателей и не скрывал того, что и сам был в значительной

степени мистиком, но не в том смысле, в котором мы, англичане, употребляем это слово в разговорном языке. У нас под словом мистик разумеется человек, которого мы не понимаем и которого из самозащиты признаем или хотели бы признать дураком. Новалис был мистиком или был близок к мистицизму, в первоначальном, истинном смысле этого слова, образцы чего мы видим отчасти среди нашего пуританского духовенства, и что в настоящее время не вызывает презрительного отношения ни в Германии, ни в какой другой стране, разве только в известных незначительных классах. Напротив, мистицизм в этом смысле имеет славное прошлое: Тассо, как видно из равных его прозаических сочинений, сам себя признавал мистиком; а на Данте смотрят, как на одного из наиболее выдающихся людей этого рода.

Однако, при всей должной терпимости и уважении к мистицизму Новалиса, перед нами стоит настойчивый вопрос: как понять этот мистицизм, и каким образом дать о нем соответственное представление. Возможно ли такое состояние духа, которое, по собственному выражению Новалиса, лишено окраски, форм и границ, подобно чистому свету, — возможно ли его изобразить простым художникам мысли, так сказать, простым граверам, у которых, кроме медной пластинки и резца, дающего бедный черный рисунок по белому полю, нет других средств для изображения. У самого Новалиса о мистицизме, как таковом, мы находим строчку-две, не более. «Что такое мистицизм? — спрашивает он, — какой предмет можно обсуждать с мистической точки зрения? Религию, любовь, природу, политику. Все отборное (alles Auserwählte) имеет отношение к мистицизму. Если бы все люди жили, как пара влюбленных, то исчезло бы различие между мистицизмом и не-мистицизмом». К несчастью, в этой небольшой сентенции наш читатель не найдет ясности; он скорее будет чувствовать себя, как человек, перед которым несомненно — темнота. Несмотря на это, мы должны просить читателя не терять присутствия духа и оказать нам в нашем исследовании бодрую поддержку друга: быть может, наконец, восстанет перед нами хотя бледный и отдаленный образ этого самого таинственного мистицизма.

Для нас самих сделается несколько яснее характер воззрений Новалиса, если мы обратим внимание на прежнее и теперешнее состояние немецкой метафизической науки вообще и на тот указанный выше факт, что Новалис первые свои мысли об этом получил из «Наукословия» Фихте. Правда, он, как замечает Тик, «стремился проложить в философии новую дорогу, объединить философию с религией», и таким образом несколько уклонился от своего первого наставника; или, что еще вероятнее, ему самому казалось, что он продолжает научное исследование Фихте до его

высших практических выводов. Во всяком случае его метафизические убеждения, насколько мы можем судить по его сочинениям, являются во всех своих существенных чертах сходными с тем немногим, что мы ясно себе представляем у Фихте, и могут, довольно безопасно для нашей настоящей цели, быть подведены под общую рубрику с идеализмом Канта или вообще с немецкой метафизикой.

Теперь, не пускаясь в дебри немецкой философии, мы должны только отметить характер того идеализма, который повсюду лежит в ее основании, и которым она всюду проникнута. Основным принципом всех немецких систем со времени Канта является отрицание существования материи, или, лучше сказать, признание ее существования, но совсем в другом смысле, чем это старается доказать философ шотландец или чем это принимает бездоказательно нефилософ англичанин. Для того из наших читателей, который когда-нибудь знакомился более или менее основательно с метафизическими сочинениями, этот идеализм вовсе не покажется чем-то непонятным. Замечательно в самом деле, какое получил он широкое распространение, и под какими разнообразными формами можно с ним встретиться среди самых несходных разрядов людей. Наш епископ Беркли усвоил его, кажется, из религиозных побуждений, а папер Боскович дошел до весьма близких к нему выводов в своем сочинении *Theoria Philosophiae Naturalis* из простых математических соображений. О древнем Пирроне или современном Юме мы не говорим. Но на противоположном конце земли, как сообщает нам сэр В. Джонс, подобная теория с незапамятных времен господствует среди индостанских теологов. Профессор Стюарт высказал даже такое мнение, что кто в известный период своей жизни не был приверженцем рассматриваемой теории, относительно того можно сказать, что этим он показал свою неспособность к метафизическим исследованиям. Плохой аргумент приводят против идеалиста те, которые говорят, что раз он отрицает абсолютное существование материи, то, чтобы быть последовательным, он должен отрицать ее существование и в отдельных случаях, а потому пускай, мол, он прыгает для развлечения через пропасти или пронзает себя шпагой в уверенности, что все эти вещественные предметы, как и другие, — лишь призраки и обман и потому от этого не произойдет никаких последствий. Но если материальная сторона самого человека не более, как призрак и обман, то все это в конце концов сведется к тому же. Хотя на этом соображении основан шумный триумф Томаса Рида над скептиками, но это мнимый триумф, так как аргумент Рида и его последователей, варьируемый на всевозможные лады, в сущности сводится к тому весьма простому соображению, что «люди естественно, без всяких размышлений, *верят*

в существование материи»; но с философской точки зрения такое положение не имеет цены; можно даже смотреть на введение такого положения в философию, как на акт самоубийства со стороны науки, так как жизненная задача ее, заключающаяся в том, чтобы разъяснить явления, через это прекратится.

Любопытно наблюдать дальше, как эти философы здравого смысла, люди, хвастающиеся главным образом своей несокрушимой логикой и стоящие с мечом в руках на страже против «мистицизма» и «сумасбродных теорий», как будто в этом их специальное призвание, — сами принуждены основывать всю свою систему на мистицизме и теории, одним словом на вере, и при том на вере в широком смысле слова, а именно, что чувства человека или сами имеют божественную силу, или доставляют нам не только верное, но и буквально точное воспроизведение действий божества. Таким образом, несомненно, что и для этих людей всякое знание видимого основывается на вере в невидимое, и что отсюда оно получает свое значение и достоверность.

Идеалист в свою очередь хвалится, что его философия трансцендентальна, т. е. «выходит за пределы чувственного». Он утверждает, что всякая философия, в собственном смысле слова, по своей природе такова и должна быть такой. Идя по этой дороге, он приходит к различным неожиданным заключениям. Для трансценденталиста материя существует, но лишь как феномен: если бы нас не было, то не было бы и ее. Материя есть простое отношение или, лучше сказать, результат отношения между живым духом и великой первопричиной. Ее внешние качества зависят от наших телесных и духовных органов. Сама по себе она не имеет никаких присущих ей качеств. В обыкновенном смысле слова она — ничто. Дерево не по собственным свойствам зелено и твердо, но просто потому, что мой глаз и моя рука устроены таким образом, что при тех или других условиях различают те или другие качества. Приводя даже самые общедоступные доказательства, идеалист может сказать: может ли это быть иначе? Возьмите одаренное чувством существо, с несколько иными глазами, с пальцами в десять раз более грубыми, чем мои. Для него та вещь, которую я называю деревом, так же ясно будет представляться желтой и мягкой, как для меня зеленой и твердой. Сделайте нервную систему этого существа во всех отношениях противоположной моей, и то же самое дерево будет не горючим и дающим теплоту, а несгораемым и приносящим холод, не высоким и выпуклым, но глубоким и вогнутым, — словом, оно будет иметь все качества совершенно противоположные тем, которые я ему теперь приписываю. «В действительности, — говорит Фихте, — здесь нет дерева, но есть лишь проявление силы чего-то того, что есть *не — я*». То же самое справедливо относительно всей вообще вещест-

венной природы, относительно всего видимого мира со всеми его движениями, формами, случайными изменениями и качествами: все это — впечатления, производимые на *меня* чем-то, *отличным от меня*. Полагаем, что это и послужило основанием того, что Фихте разумеет под своими прославленными Ich и Nicht-Ich (Я и Не-я). Слова эти, сняв квартиры в известных головах, «сдающихся без мебели» (говоря Гудибрастовым языком), произвели там глухое эхо, как смех в пустых комнатах, хотя сами по себе они совершенно безвредны и могут служить основанием для метафизической философии так же хорошо, как и всякие другие слова. Далее, что еще более удивительно, по системе Канта, орган духа, называемый разумом, носит такой же самостоятельный и, так сказать, произвольный характер, как и органы тела. Даже время и пространство оказываются не внешними свойствами предметов, но внутренними свойствами ума. Они не имеют внешнего существования: нет времени и пространства *вне* нашего сознания; они лишь *формы* духовного существа человека, законы, по которым его мыслящая природа должна действовать. Весьма трудно, кажется, придти к такому заключению, но оно важно для Канта; он взял его не готовым, как догму, но тщательно вывел в своей «Критике чистого разума» с большой точностью и самыми строгими доказательствами.

Читатель жестоко ошибется, если подумает, что эта трансцендентальная метафизическая система не что иное, как карточный домик в умственной области или логический фокус-покус, измышленный праздною головою для праздных людей, и совсем не затрагивающий практических людских интересов. Напротив, ложна эта система или верна, но она имеет самое серьезное значение из всех философских систем, появившихся в последние века. С особым вниманием ее изучали люди с самыми возвышенными и серьезными стремлениями; она касается самых жизненных интересов человечества, оказывая на них непосредственное и всестороннее влияние. Не говоря уже о тех перспективах, которые открывает она для развития и разработки так называемых естественных наук, мы не можем не заметить, что влияние этой системы на нравственность и религию тех, кто ее признает, в наше время должно быть почти неизмеримым. Возьмем, например, хотя последнюю и, по-видимому, самую странную теорию относительно времени и пространства, и мы найдем, что для последователя Канта она влечет за собою почти непосредственно такого рода важный вывод: если время и пространство не имеют абсолютного существования, существования вне нашего разума, то этим соображением уничтожается камень преткновения, лежащий на самом пороге нашей теологии; в самом деле, если мы скажем с этой точки зрения, что Бог вездесущ и вечен, что в

нем всемирное Здесь и Теперь, то в этом не будет ничего удивительного, так как мы этим лишь говорим, что Бог создал также и время и пространство, что время и пространство суть законы не Его существа, но нашего. С другой стороны, для трансценденталиста весь вопрос о происхождении и существовании природы несомненно должен быть чрезвычайно упрощен; старой враждебности материи наступил конец, потому что сама материя уничтожена, и мрачный образ атеизма навеки обращается в ничто. Далее, если справедливо, как доказывает Кант, что логический механизм нашего ума, так сказать, произволен и мог быть сделан иначе, то отсюда следует, что все индуктивные выводы, все выводы нашего ума имеют лишь относительную достоверность, справедливы лишь для нас, и при том под условием, что нечто другое справедливо. До сих пор Юм и Кант идут в этой области исследования рука об руку, но с этого пункта они расходятся в диаметрально противоположные стороны. Так, трансценденталисты признают в человеке высшую способность, чем рассудок, именно разум (*Vernunft*), этот чистый конечный свет нашей природы, в котором, как они утверждают, лежит основание всякой поэзии, добродетели, религии; все это в сущности находится вне области рассудка, и рассудок имеет обо всем этом лишь ложное представление. Якоби старший, не принадлежавший вовсе к числу последователей Канта, помнится, однажды сказал: «Рассудку врождено стремление противоречить разуму». Если признать различие рассудка и разума и подчинение первого второму научно доказанными, то как много чрезвычайно важных следствий можно вывести из одного этого положения! Мы должны предоставить мыслящему читателю самому заняться такими выводами; заметим только, что *Teologia Mistica*, которую так высоко ставил Тассо в своих философских сочинениях. «Мистицизм», упоминаемый Новалисом, и вообще всякая истинно христианская вера подходит, насколько мы можем заметить, больше или меньше к этому учению трансценденталистов, так как сущностью всего этого, под разнообразными формами, является то, что обозначено здесь именем «разума», который представлен истинной вершиной человеческого духа.

Чем больше изучаем мы сочинения Новалиса, тем яснее мы видим, как глубоко запечатлелись в нем эти и подобные им идеи. От природы дух глубокий, религиозный, созерцательный, очищенный в суровых превратностях судьбы и хорошо знакомый с «убежищем печали», Новалис является перед нами из всех идеалистов наиболее идеалистичным. Для него материальный мир лишь призрак, род тени, в которой Божество открывает себя человеку. Невидимый мир не только имеет реальное существование, но только один он и существует, тогда как все остальное, не в

переносном, но в буквальном смысле, употребляя это слово со всей научной точностью, есть лишь «призрак», или как выражается поэт: «Schall und Rauch umnebelnd Himmelsgluth» — «Шум и дым, окутывающий блеск небес». Невидимый мир — вблизи нас, или лучше сказать, здесь он, в нас и вокруг нас. Если бы снять телесную оболочку с нашей души, то великолепие невидимого мира окружало бы нас, подобно гармонии сфер, о которой рассказывали древние. Итак, не только на словах, но в действительности и с искренней верой Новалис чувствует себя окруженным со всех сторон Божеством, чувствует при всякой мысли, что «в Нем он живет, движется, существует».

Естественно, все это оказывало влияние на его философскую и поэтическую деятельность. Можно сказать, что цель всей философии Новалиса заключается в том, чтобы проповедовать и доказывать величие разума, в более строгом смысле этого слова, завоевывать для него все области человеческой мысли, и повсюду приводить ему в верноподданство его вассала — рассудок, так как это правильное и единственное полезное к нему отношение. Крупные задачи такого рода предстояли Новалису, но в его сочинениях мы находим лишь разбросанные намеки на них. Вообще все, что он оставил, имеет вид отрывков; это отдельные определения и соображения, яркие и короткие лучи света; таков, по-видимому, их общий характер. Во многих из этих мыслей, часто слишком темных, одна черта обращает на себя внимание, именно особый способ созерцания природы у Новалиса, его обычай смотреть на природу, как на нечто единое, видеть в ней не совокупность частей, но самосущее, во всей совокупности связанное целое. Быть может, отчасти это также плод его идеализма. Мы имеем сведения, что он составил план особого энциклопедического сочинения, в котором опыты и идеи всевозможных наук должны были взаимно разъяснять, подкреплять и усиливать друг друга. Он даже кое-что сделал для этого сочинения. Многие из его «мыслей» и афоризмов, опубликованных в лежащем перед нами издании, были предназначены для этого сочинения; очевидно, оно должно было состоять по большей части из отрывочных заметок.

Как поэт, Новалис не менее идеалист, чем как философ. Его поэмы — изливание возвышенной благочестивой души, чувствующей всегда, что не здесь ее жилище, и имеющей перед взором, как бы в ясновидении, «город с крепким основанием». Природу он любит необыкновенно глубоко; можно сказать, он благоговеет перед ней и непонятным для нас образом беседует с ней; для него природа не мертвая, враждебная материя, но покрывало, таинственные одежды Невидимого, так сказать, голос, которым Божество заявляет о себе человеку. Эти два качества — его чистое религиозное чувство и сердечная любовь к природе — приводят

его в истинно поэтическое отношение к духовному и материальному миру и, быть может, составляют главное его достоинство, как поэта; очевидно, к этому искусству у него был врожденный, если не исключительный, то решительный талант.

Его нравственные убеждения, как видно из его сочинений и жизни, вполне естественно вытекали из того же источника. Это — нравственность человека, для которого земля со всем ее великолепием в сущности дым и мечта, и лишь красота Благости имеет истинную ценность. Поэзия, добродетель и религия, которые для других людей существуют, так сказать, лишь по преданию и в воображении, для него — вечное основание вселенной, а все земные приобретения, все из-за чего честолюбие, надежда, страх побуждают нас к труду и греху, на самом деле лишь игра фантазии, некоторое теневое отражение на зеркале бесконечности, но в сущности — воздух, ничто. Итак, жить в этом свете разума, иметь свое жилище в этом вечном городе, в то время как нас окружают призрак существующего, вот высокая и единственная обязанность человека. Все это Новалис рисует себе в разных образах; иногда он считает возможным представить первопричиной бытия Любовь; в других случаях он говорит эмблемами, о которых еще труднее было бы дать точное понятие, почему мы и не будем теперь касаться их.

С этим общим очерком в руках читатель должен приготовиться теперь собственными глазами взглянуть на Новалиса. Кто добросовестно и внимательно следовал за нами вдоль этих удивительных границ идеализма, тот будет в состоянии так же хорошо понимать Новалиса, как и большинство немецких читателей, и этого, нам кажется, вполне достаточно. Мы не станем больше комментировать его, опасаясь, что это будет слишком трудной и неблагодарной задачей. Наши первые выдержки будут из «Lehrlinge zu Sais» («Ученики из Саиса»), о которых мы упомянули выше. Это «физический роман», в котором вообще нет повествовательного рассказа, ни даже намек на него, но есть опозитивированные философские разговоры и в высшей степени странные туманные аллегорические намеки; он всего лишь в две главы длиною и начинается без всякого предисловия следующим образом:

«I. Ученик. — Люди ходят разными дорогами. Кто изобразит их соотношение, перед тем явятся странные фигуры, которые, кажется, принадлежат к тем великим шифрованным знакам, которые увидишь повсюду: на крыльях птиц, яичной скорлупе в облаках, снеге, кристаллах, в очертаниях камней, в замерзающей воде, во внешнем и внутреннем строении гор, растений, животных, людей, в небесных светилах, на надколотых или разбитых кусках стекла или смолы, в опилках вокруг магнита, вообще в странных, случайных сочетаниях. При этом чувствуешь, что можно подобрать ключ к этим волшебным письмам, грамматику к ним, но это

предчувствие не переходит само в определенный образ, и кажется, что оно не жаждет лучшего ключа. Словно алькагест¹ пролился на чувства людей; на мгновение кажется, что их желания и мысли сгущаются в определенную форму; у них является предчувствие, но через несколько мгновений снова все смутно расплывается, как и прежде, перед их взорами.

«Я слышал издали, как говорили: непонятность есть следствие лишь неразумия, которое ищет то, что у него в руках, и потому никогда не может двигаться вперед; мы не понимаем языка потому, что сам язык не понимает, не хочет понимать себя; что настоящим санскритским языком говорили для того, чтобы говорить, потому что говорить на нем значило наслаждаться, существовать. Немного спустя после этого кто-то сказал: для Священного Писания не нужно объяснения; кто говорит правду, тот полон вечной жизни, и написанное им кажется нам чудесно связанным с истинно таинственным: оно аккорд из мировой симфонии».

«Наверное это был голос нашего учителя, так как он обладает умением собирать черты, рассеянные повсюду. В его взорах зажигается необыкновенный огонь, когда он перед нами раскладывает всякие рунические письмена и старается подметить в наших глазах, вошла ли над нами та звезда, которая сделает фигуры ясными и понятными. Если мы опечалены тем, что с наших глаз не спадает темнота, он утешает нас и обещает тому, кто будет прилежно и добросовестно всматриваться, счастье в будущем. Он нам часто рассказывал, как во время детства ему не давала покоя потребность упражнять, занимать и наполнять свои чувства. Он смотрел на звезды и на песке изображал их движение и расположение. Неусыпно он смотрел в воздушное море и неустанно наблюдал его ясность, его движения, его облака, его светила. Он собирал камни, цветы, всевозможных жуков и располагал их разнообразными рядами. Он наблюдал людей и животных, он сидел на берегу моря, собирая раковины, он заботливо прислушивался к собственным чувствам и мыслям. Он не знал, куда влекло его томление. Когда он вырос, он отправился путешествовать, видел другие страны, другие моря, другие небеса, новые камни, неизвестные растения, неизвестных животных, людей. Он спускался в пещеры, видел, как заканчивалось землестроение глыбами горных пород и разнообразными слоями, образуя на скалах странные глиняные картины. Теперь вновь найденное повсюду было для него чем-то известным, лишь представляющим удивительное смешение или соединение. Таким образом необыкновенные вещи часто объяснялись для него сами собой. Он скоро научился различать общую связь, случайные сочетания и

¹ Алькагест — гипотетическое, всерастворяющее вещество алхимиков.

соединения. Наконец, ничто уже не было для него обособленным. Его чувственные восприятия складывались в великие, разнообразные картины: в одно время он слушал, смотрел, осязал и думал. Ему доставляло удовольствие сопоставлять несходные предметы. У него были то звезды людьми, то люди звездами, камни животными, облака растениями; он играл физическими силами и явлениями; он знал, где и как можно найти и привести в действие то или другое; таким образом он сам касался струн, чтобы извлечь аккорды и пассажи».

«Что случилось с ним с тех пор, он нам не открывает. Он говорит, что мы сами, руководимые им и своим собственным желанием, откроем, что с ним произошло. Многие из нас ушли от него, возвратились к своим родителям и занялись ремеслом. Некоторые были им отсланы, не знаем куда: то были его избранники. Некоторые из них пробыли там лишь короткое время, другие дольше. Один был еще дитя; едва он пришел к нам, как наш учитель, пожелал заняться его обучением. У этого дитяти были большие темные глаза с голубоватым оттенком; его кожа казалась похожей на лилию, а его локоны на облачка, освещенные заходящим солнцем. Его голос проникал всем нам прямо в душу. Охотно, бывало, мы отдаем ему свои цветы, камни, перья, все, что у нас было. Он улыбался, сохраняя бесконечную серьезность, и с ним у нас на душе было удивительно хорошо. Придет день, когда он возвратится, говорил наш учитель, и наши уроки тогда прекратятся. Вместе с ним он послал еще одного, которого мы часто очень жалели. Он казался всегда грустным; он провел здесь много лет, но ничто ему не удавалось: когда мы искали кристаллы или цветы, он их находил с трудом. Он был близорук; он не умел искусно располагать разнообразные ряды. Все валялось у него из рук. Однако ни у кого не было такого влечения, такой жажды наблюдать и слушать. С некоторого времени (это случилось прежде, чем ребенок вступил в наше общество) он сделался вдруг веселым и искусным. Однажды печальный он ушел из дому; наступила ночь, он не возвращался. Мы очень беспокоились о нем. Когда стало рассветать, мы вдруг услышали его голос в соседней роще. Он пел торжественную, радостную песнь; мы были все удивлены; учитель смотрел на восток таким взором, какого я больше никогда не увижу. Вскоре певец подошел к нам, с невыразимым блаженством на лице, неся простой на вид камешек необыкновенной формы. Учитель взял его в руки и долго целовал певца; потом посмотрел на нас влажными глазами и положил этот маленький камешек в пустой промежуток посередине других камней, как раз в том месте, где их многочисленные ряды сходились, как лучи».

«Я никогда не забуду этой минуты. Нам казалось, как будто бы в нашей душе было давно предчувствие этого чудесного мира».

Рассудительный читатель догадается, что в этих странных набросках в восточном духе кроется больше смысла, чем представляется с первого взгляда. Кто же, однако, этот учитель в Саисе? не олицетворение ли человеческого ума? и что обозначает это дитя с светлым лицом и золотистыми локонами (разум? религиозную веру?), которое должно «снова придти», чтобы окончить эти уроки? а этот неловкий, но трудолюбивый человек (рассудок?), который «был так склонен все ломать»? У нас нет данных для решения этих вопросов, и ответить на них с уверенностью мы не решились бы. Приведем из второй главы или части, названной «Природа», одно место, которое отличается, если это возможно, еще большими странностями, чем приведенное выше. Подробно рассмотрим первоначальные взгляды, которые выработал себе человек в отношении к внешнему миру или к разнообразным объектам своих чувств; сказав о том, что в те времена дух его отличался удивительной цельностью, что лишь потом, вследствие практической деятельности, дух разделился на особые способности, и что при практическом направлении жизни это может продолжиться и дальше, — «наш ученик» переходит к описанию качеств, обязательных для исследователя природы, и в заключение говорит:

«Больше всех заблуждается тот, кто воображает, что он уже понял этот удивительный мир, что он может в немногих словах выразить тайну его устройства и везде отыщет истинный путь. У человека, который уединился и сделал из себя как бы остров, глубокий взгляд на вещи не явится сам по себе, без особого напряжения сил. Это может случиться лишь с детьми или со взрослыми, похожими на детей, которые поступают бессознательно. Долгое и непрестанное общение, свободное и мудрое размышление, внимательное отношение к самым незначительным признакам, поэтическая задушевность, изощренные чувства, простой и набожный дух — вот существенные требования для истинного любителя природы. Без этих качеств никто не достигнет цели. Неблагоразумно пытаться постигнуть человечество, если сам не обладаешь полной, совершенной человечностью. Ум не должен дремать, и если не все могут быть одинаково деятельны, то все должны быть в бодром, а не в угнетенном и расслабленном состоянии. Подобно тому, как узнают будущего художника в ребенке, который все стены и ровный песок покрывает рисунками и пестро раскрашивает фигуры, так и будущего философа узнают в том, кто без усталости исследует и испытывает произведения природы, всему оказывает внимание, собирает все замечательное и радуется, делаясь господином и обладателем нового явления, новой силы, нового знания».

«Некоторые думают, что не стоит употреблять усилия на то, чтобы изучать природу в ее бесконечном дроблении, что такое предприятие даже опасно по его бесплодности и безрезультатности.

Подобно тому, говорят они, как мы никогда не будем в состоянии открыть самую малую крупинку твердых тел и самые простые волокна, так как всякая величина начинается и теряется в бесконечном, так и с разными видами тел и сил: здесь также наталкиваешься на бесконечно новые виды, новые сочетания, новые явления; кажется, эти превращения остановятся лишь тогда, когда притупится вся наша энергия, и таким образом драгоценное время расточается на праздные размышления и скучные вычисления, а в результате — настоящий бред, сильное головокружение над ужасной бездной. Природа, с тех пор как появились люди, все остается страшной мельницей смерти: повсюду невероятные перевороты, нескончаемые вихри, царство прожорливости и безрассуднейшей тирании, злоецкая беспредельность; немного светлых точек делают ночь лишь более мрачной, и всевозможные ужасы должны довести всякого наблюдателя до потери чувства. Как спаситель, стоит смерть перед несчастным родом людским; не существует смерти, самый безумный был бы самым счастливым. Уже это стремление познать гигантский механизм есть шаг к бездне, начало безумия, потому что с каждым возбуждением как бы усиливается вихрь, который быстро овладевает своей жертвой и уносит ее вместе с собой сквозь страшную ночь. Здесь коварная западня для человеческого рассудка, который природа повсюду стремится уничтожить, как своего величайшего врага. Хорошо еще, что детское неведение и невинность держать людей в ослеплении относительно тех ужасных опасностей, которые повсюду, подобно страшным громовым тучам, облегают их мирное жилище и каждую минуту готовы обрушиться на их головы. Только благодаря внутренней розни между силами природы, люди до сих пор сохранились. Однако, непременно наступит та великая эпоха, когда все человечество, по общему великому соглашению, вырвется из этого мучительного положения, из этой страшной тюрьмы: добровольным отречением от здешних владений род человеческий исцелится навсегда от этого бедствия и найдет спасение в более счастливом мире, у своего старого Отца. Такой конец был бы достоин людей, и этим было бы предотвращено роковое насильственное истребление или еще более ужасное вырождение их в животных, через постепенное разрушение мыслительного органа, через безумие. Имея дело с силами природы, с животными, растениями, скалами, бурями и волнами, люди должны по необходимости уподобиться этим предметам, и это уподобие, эта метаморфоза, это превращение божеского и человеческого в необузданные силы есть дух природы, этого страшно прожорливого гиганта. Разве все, что мы теперь видим, не разрушение неба, не великие развалины прежнего величия, не остатки от страшного пиршества?»

«Если это так, говорят более смелые, то пусть род человеческий ведет медленную, хорошо обдуманную, опустошительную войну

против этой природы. Изнурительными ядами мы должны стараться покорить ее. Исследователь природы — благородный герой, который бросается в отверзтую пропасть, чтобы спасти своих сограждан. Поэты разгадали уже много ее тайн, продолжайте идти в этом направлении: овладейте таинственными нитями и заставьте их действовать одну против другой. Воспользуйтесь потом беспорядком, чтобы в конце концов вы могли по своему произволу управлять природой. Она должна сделаться покорной вам. Терпение и вера приличествуют сынам человеческим. Далеко живущие братья соединены с нами общей целью; круг светил должен сделаться маховым колесом нашей жизни, и тогда, при помощи наших рабов, мы себе устроим новое волшебное царство. С тайным чувством торжества будем наблюдать за опустошениями и сумятицей в природе: она сама продается нам и за всякое насилие заплатит тяжкой пеней. Будем жить и умирать с бодрящим чувством свободы; отсюда берет начало поток, который некогда затопит и укротит природу; омоемся в нем и освежимся для новых подвигов. Сюда не достигнет ярость чудовища. Одной капли свободы достаточно, чтобы искалечить его на веки и положить границы его опустошениям».

«Они правы, говорят некоторые: здесь или нигде находится талисман. У источника свободы мы сидим и наблюдаем; это великое волшебное зеркало, в котором чисто и ясно отражается все творение; в нем омываются нежные души и образы всех вещей; здесь перед нами открыты все комнаты. Зачем нам обходить с трудом тусклый мир видимых предметов? Мир более чистый лежит в нас самих, в этом источнике. Здесь раскрывается истинный смысл великой, пестрой, запутанной картины, и если, полные этих образов, мы возвратимся к природе, то для нас будет все хорошо известно, и мы ясно различим каждую форму. Тогда нам не нужно долго заниматься исследованиями: легкое сравнение, лишь несколько черточек на песке достаточно, чтобы мы все поняли. Итак перед нами великие письмены, к которым у нас есть ключ; для нас не будет неожиданности, потому что ход великих часов известен нам заранее. Только мы одни наслаждаемся природой с полнотою чувств: она не заставляет нас пугаться своих ощущений, лихорадочный бред не гнетет нас, а ясное сознание делает нас уверенными и спокойными».

«Нет, они не правы, возражает один серьезный человек. Неужели они не узнают в природе верное отражение самих себя? Они сами себя уничтожают в диком безумии. Они не знают, что эта так называемая природа есть игра ума, пустые грезы их сновидения. Конечно, она для них ужасное чудовище, странная уродливая тень собственных страстей. Но бодрствующий человек смотрит без страха на эти плоды собственной неудержимой фантазии, так как он знает, что это лишь пустые призраки его слабости. Он чувствует се-

бя господином вселенной; его Я властно парит над бездной и будет вечно парить над этим бесконечно изменчивым миром. Его дух стремится провозглашать и распространять гармонию. Он бесконечно будет приближаться к единству с самим собой и окружающим его созданием своей фантазии и увидит, как с каждым шагом все яснее обнаруживается всемогущая сила высокого нравственного порядка во вселенной и того, что составляет самую лучшую сторону его Я. Разгадка мира в разуме: он причина того, что мир существует вокруг нас, и если мир служит теперь ареной ребяческого, еще развивающегося разума, то некогда он будет представлять божественную картину его деятельности, вид истинной церкви. До тех пор пусть человек почитает природу, как эмблему своего собственного духа, — эмблему, бесконечно совершенствующуюся вместе с ним. Итак, кто стремится к познанию природы, пусть развивает свое нравственное чувство, действует и творит сообразно с благородной сущностью своего духа, и природа как бы сама собою откроется перед ним. Нравственная деятельность есть тот великий и единственный опыт, в котором все загадки самых разнообразных явлений выясняются сами собой. Кто поймет значение этого опыта и сумеет со строгой логической последовательностью в нем разобраться, тот властелин природы навсегда.»

«Ученик, говорится дальше, прислушивается с тревогой к борьбе этих мнений.» Если так было в полуфантастическом Саисе, то в простом подлунном Лондоне это, конечно, должно вызвать еще больше тревоги. Но в отношении этих туманных плодов ночных занятий мы можем лишь взять в пример Квинтуса Фикслеяна (из романа Жана Поля), который в своем подробном «Каталоге немецких опечаток» уверяет, что отсюда можно сделать много важных выводов, и приглашает читателя сделать их. Быть может, эти удивительные рассуждения, которые выглядят на дальнем расстоянии подобно ущельям, наполненным медленно ползущим туманом, окажутся долинами с светлыми потоками и шелковистыми лугами, если мы к ним подойдем поближе. Одно из двух: или Новалис вместе с Тиком и Шлегелем — люди, находящиеся в состоянии умопомешательства, или на небе и земле есть вещи, которые и не снились нашей философии. Мы можем прибавить, что, на наш взгляд, последний оратор, этот «серьезный человек», очевидно Фихте. Две первые партии похожи на скептиков или атеистов, незнакомых с «*Novum Organum*» Бэкона, или (по крайней мере это можно сказать о первой партии) почти не признающих его. Теория кончины рода человеческого через всеобщий одновременный акт самоубийства для большинства обыкновенных читателей покажется чем-то новым.

Чтобы еще ближе характеризовать примерами научные взгляды Новалиса, мы приведем здесь два коротких отрывка, взятых из

другой части того же тома. Для всех тех, которые следят за философией и интересуются ее историей и современным положением, эти отрывки будут не лишены интереса. Темные места их, быть может, непонятны, а только темны, чему, к сожалению, в таких случаях никак нельзя помочь.

«Обыкновенная логика есть грамматика более высокого языка, т. е. мышления; она имеет своим предметом лишь отношения идей друг к другу, механизм мышления, чистую физиологию идей. Логические идеи стоят в таком отношении друг к другу, как слова без мыслей. Логика занимается лишь одним мертвым телом науки о мышлении. Метафизика есть чистая динамика мышления; она трактует о первоначальных мыслительных силах, она занимается только духом науки о мышлении. Метафизические идеи стоят в таком отношении друг к другу, как мысли без слов. Часто удивлялись постоянному несовершенству этих двух наук: каждая из них существовала сама по себе и повсюду были недочеты; ни одна не хотела приспособиться к другой. С самого начала делались попытки соединить их, так как все в них указывало на родство, но ни одна попытка не удавалась: то одна, то другая наука терпела при этом и теряла свой существенный характер; получалась или метафизическая логика, или логическая метафизика, но ни одна из них не была тем, чем должна была быть. Не лучше было дело с физиологией и психологией, с механикой и химией. Во второй половине этого столетия у нас началось новое движение, более страстное, чем когда-либо; враждебные массы подымались одна против другой с небывалой свирепостью; возбуждение было крайнее; сильные взрывы следовали один за другим. Теперь некоторые утверждают, что кое-где установилась истинная связь, что зародилось единение, которое мало-помалу разрастется и придаст всему один нераздельный вид; что принцип вечного мира беспрепятственно проникнет всюду и что в непродолжительном времени будет лишь одна наука и один дух, как есть один пророк и один Бог.»

«Неуклонно-логический мыслитель есть схоластик. Истинный схоластик — мистический субтилист: из логических атомов он создает свою вселенную; он уничтожает всю живую природу, чтобы на ее место поставить искусственный мир идей (*Gedankenkunststück*). Его цель — бесконечно движущийся автомат. Противоположен ему неуклонно-созерцательный поэт. Это мистический макрологист: он ненавидит правила и определенные формы; дикая, насильственная жизнь царствует вместо них в природе; все одушевлено, нет законов, повсюду призыв и чудо. Для него существует только динамика. Таким образом философский дух возбуждается сначала в массах, ничего общего не имеющих. На второй ступени развития культуры эти массы начинают приходить в соприкосновение довольно разнообразными способами, и как, в результате

объединения бесконечно противоположных вещей, является конечное и ограниченное, так и здесь появляется бесчисленное множество эклектических философов, начинается время ложных понятий. Наиболее ограниченные философы делаются самыми важными, самыми чистыми представителями второй ступени. Этот класс исключительно занимается реальным современным миром в самом строгом смысле слова. Философы первого класса смотрят на вторых с пренебрежением, говоря, что у них есть всего понемногу и ничего цельного, и считают их взгляды результатом бессилия, непоследовательности. Второй класс, в свою очередь, сожалеет первый, ставя ему в упрек его фантазирование, граничащее с безумием. Если, с одной стороны, схоластики и алхимики представляют крайний разлад, а эклектики напротив единение, то обратная сторона дела показывает совсем другое. Первые в сущности косвенным образом держатся одного мнения: именно, в отношении независимости и бесконечности мышления, и те и другие исходят от абсолюта; между тем ограниченные эклектики в сущности находятся в разладе между собой и согласны лишь в выводах. Первые охватывают беспредельное под одной формой, вторые — ограниченное под разнообразными видами. У первых гений, у вторых талант; у тех идеи, у этих сноровка; те обладают головой без рук, эти — руками без головы. Третьей ступени достигает художник, который разум может быть и исполнителем, и гением. Он находит, что исконное разделение в абсолютной философской деятельности (между схоластиком и поэтом) основывается на глубокой раздвоенности его собственной природы, которое допускает возможность чего-то посредствующего, связующего. Он находит, что, как ни разнородны эти деятельности, в нем, однако, есть способность переходить от одной к другой, переменяя по произволу свою популярность. Таким образом он открывает в них необходимые части своего духа; он замечает, что обе деятельности должны быть объединены в некотором общем принципе. Он приходит к заключению, что эклектизм есть не что иное, как результат неполного, несовершенного осуществления этой возможности. Следует...»

Но не будем больше усиливаться, выжимая смысл из этих таинственных слов: в изображении настоящего трансценденталиста, «философа третьей ступени», философа в собственном смысле, Новалис подымается в такую область, куда немногие из читателей захотят последовать за нами. Здесь можно заметить, что английская философия, если проследить ее от Дунса Скота до Дугальда Стюарта, теперь прошла уже с значительным достоинством через первую и вторую из этих «ступеней» — схоластическую и эклектическую. С нашим милейшим профессором Стюартом, который был насквозь эклектик, более эклектик, чем кто-либо другой, даже чем сам Цицерон, — этот второй или эк-

лектический класс может считаться покончившим свое существование, и теперь философия у нас в застое, или лучше сказать, на наших островах в настоящее время не видно никакой философии. Остается ждать, суждено ли нам достигнуть также «третьей ступени», и как будет вести себя этот новый и самый высокий «класс». Французские философы, по-видимому, занимаются теперь изучением Канта и пишут о нем; но мы склонны думать, что Новалис объявил бы их стоящими лишь на эклектической ступени. Впоследствии он говорил, что «все эклектики по существу своему — скептики; чем больше сведений, тем больше скептицизма».

Два приведенных места заимствованы из обширного ряда «Отрывков», которые своими тремя отделами — философским, критическим и моральным — занимают большую часть второго тома. Как упомянули мы выше, это — отрывки того крупного «энциклопедического сочинения», которое задумал Новалис. Выбор из них для настоящего издания делал Фридрих Шлегель. Мысли эти являются перед нами без примечаний и объяснений; по большей части они выражены в очень необычной форме, и если не вдумываться в них долго и терпеливо, то их редко можно понять, или лучше сказать, часто можно понять их ложно. Мы выбрали несколько самых ясных, чтобы привести здесь. Сочтет ли их читатель за «Цветочную пыль», или за пыль более низкого сорта, мы не беремся предсказать. Мы даем их в смешанном виде, не придерживаясь классификации, которая даже в тексте не выдержана, да и не может быть выдержана строго.

«Философия не может печь хлеба, но она может дать нам Бога, свободу, бессмертие. Итак, что же практичнее — философия или экономия?»

«Философия, собственно говоря, есть тоска по родине, желание повсюду быть дома».

«Мы близко к тому, чтобы проснуться, если видим во сне, что мы спим».

«Истинно философский акт состоит в самоуничтожении (Selbsttödtung); в нем настоящее начало всякой философии; от него зависит все необходимое для того, чтобы быть учеником философии, и только этот акт соответствует всем условиям и признакам трансцендентального поведения».

«Чтобы действительно познать какую-нибудь истину, сначала следует раскритиковать ее».

«Человечество есть лучший орган чувства нашей планеты, — сияние, которое связывает ее с высшим миром, — глаз, который она направляет на небо».

«Жизнь есть болезнь духа, — деятельность, возбуждаемая страстями. Духу свойственно быть в покое».

«Наша жизнь — не грёза, однако она должна и может превратиться в нее».

«Что такое природа? Всеобщий систематический указатель или план нашего духа. Зачем же мы довольствуемся только каталогом наших сокровищ? Будем сами их наблюдать, всячески обрабатывать и извлекать из них пользу».

«Если наша телесная жизнь есть горение, то наша духовная жизнь пожар (или как раз наоборот?); итак смерть, вероятно, лишь изменение свойств».

«Спать свойственно лишь обитателям планет. Некогда человек будет одновременно в состоянии сна и бодрствования. Большая часть нашего тела, даже нашего человечества спит еще глубоким сном».

«Есть только один храм в мире: это человеческое тело; нет ничего священнее этой высокой формы. Поклоняться телу значит оказывать почести откровению во плоти. Мы касаемся неба, когда кладем свою руку на человеческое тело».

«Человек — солнце; его чувства — планеты».

«Человек всегда выражал символически философию своего существа своими делами и поступками; он возвещает о себе и своем евангелии природы; он — мессия природы».

«Растения — дети земли; мы — дети воздуха; наши легкие собственнo наши корни: мы живем, когда дышим, и свою жизнь начинаем дыханием».

«Природа — эолова арфа, музыкальный инструмент, звуки которого в свою очередь затрагивают более высокие струны, находящиеся в нас».

«Всякий излюбленный предмет есть центр рая».

«Первый человек был первым духовидцем; для него все было духом. Дети подобны первым людям. Ясный взор ребенка говорит больше, чем догадка самоуверенного прорицателя».

«Только от слабости наших органов и нашей слабой возбужденности происходит то, что мы не видим себя в волшебном мире. Все сказки — только грёзы о том, родном мире, который везде и нигде. Высшие силы в нас, которые некогда, как гении, исполняют нашу волю¹, теперь музы, поддерживающие нас в тягостной жизни сладкими воспоминаниями».

¹ Идеи Новалиса относительно так называемой «способности человека совершенствоваться» имеют основанием его особенные взгляды на материальную и духовную природу и отличаются чрезвычайной оригинальностью и необычностью. Употребив все усилия, мы все-таки боялись бы, что дали о них самое превратное представление. Так, например, он с научной серьезностью спрашивает: «неужели тот, кто помнит первый ласковый взгляд своей возлюбленной, может сомневаться в возможности магии?»

«Человек есть истина; если он жертвует истиной, он жертвует самим собой; если он изменяет истине, он изменяет самому себе. Мы имеем в виду здесь не ложь, а поступки вопреки убеждению».

«Характер есть хорошо выработанная воля».

«Собственно говоря, нет несчастья в мире. Счастье и несчастье находятся в постоянном равновесии. Всякое несчастье есть, так сказать, остановка потока, который, преодолев препятствие, стремится еще с большей силой».

«У нравственного идеала нет более опасного соперника, как идеал величайшей силы, могущественнейшей жизни, что называли также (понимая это выражение очень превратно) идеалом эстетического величия. Такой идеал — верх варварства, и в наше одичалое время он, к сожалению, нашел очень много приверженцев, именно среди слабейших. Благодаря этому идеалу, человек делается человеком-зверем, уродом, грубое остроумие которого для слабых имеет грубо-привлекательную силу».

«Дух поэзии есть утренний свет, заставляющий статую Мемнона издавать звуки».

«Мнимая рознь между философом и поэтом лишь вредит обоим. Она признак болезненности и слабости».

«Истинный поэт всезнающ: он целый мир в миниатюре».

«Сочинения Клопштока кажутся в большинстве случаев свободными переводами или переделками из неизвестного поэта, сделанными очень талантливым, но не поэтическим филологом».

«Гете — совершенно практический поэт. В его сочинениях те же качества, что в английских товарах: простота, изящество, удобство, прочность. Он сделал для немецкой литературы то же, что Веджевуд для английской мануфактуры. У него, как у англичан, есть врожденная склонность к практичности и благородный вкус, выработанный рассудком. И то и другое совмещается очень хорошо и в химическом отношении имеет близкое родство... „Ученические годы Вильгельма Мейстера“ можно назвать совершенно прозаическими и будничными. В них нет романтизма, поэзии природы и чудесного. В романе говорится только об обыкновенных человеческих делах; природа и мистицизм совсем забыты. Это опозитивированная мещанская семейная история. Чудесное выставляется здесь явно, как плод воображения и мечтательности. Дух этой книги — художественный атеизм... Это в сущности, „Кандид“, направленный против поэзии. Роман в высшей степени непоэтичен с духовной стороны, хотя поэтичен по изложению... Внесение в него Шекспира производит почти трагическое действие. Герой замедляет торжество практического евангелия, но практическая натура в конце концов является истинной и единственно прочной».

«Когда говорят о замыслах и художественных приемах в сочинениях Шекспира, то не следует забывать, что искусство

принадлежит природе, что оно, так сказать, само-наблюдающая, само-подражающая, само-творящая природа. Искусство высокообразитой натуры, конечно, сильно разнится от ловкости рассудка, этой простой логической способности. Шекспир не был ни копири-вальщиком, ни ученым; он был могучей разнообразно одаренной душой, впечатления и творения которой, подобно произведениям природы, носят печать мыслящего духа; в них даже последний остроумный наблюдатель найдет новые аналогии с бесконечным организмом мира, совпадения с новейшими идеями, родство с высшими силами и чувствами человеческими. Они эмблематичны, многозначительны, просты и неисчерпаемы, подобно произведениям природы, и к ним менее всего подойдет название произведений искусства, в обычном ограниченном и механическом смысле слова».

Читатель понимает, что мы выбрали эти образцы не потому, что они самые лучшие из «Отрывков» Новалиса, но просто потому, что они наиболее понятны. У него есть вещи гораздо более оригинальные и глубокие, если бы мы могли только надеяться сделать их хотя немного удобопонятными. Но перечитывая неоднократно многие из этих «Отрывков», мы чувствуем себя в области мыслей более сложных и тонких, чем все, с чем нам приходилось встречаться. Мы в них не находим также свойственной нам обстоятельности и растянутости, что делает для нас еще менее возможным объяснение их другим.

Из приведенных цитат можно составить себе некоторое представление о Новалисе, как о философе и критике. Есть еще одна сторона, с которой было бы еще любопытнее, но и еще труднее показать его: мы разумеем его религиозные убеждения. Нигде в сочинениях Новалиса не высказывает специально своего символа веры. Он часто высказывает или намекает на свою горячую, сердечную веру в христианскую систему; но он делает дополнения и рядом высказывает такие убеждения, что для нас это может показаться несколько странным. Мы приведем несколько из его афоризмов, касающихся этого предмета, что, вероятно, будет лучше, чем излагать их содержание. Весь трактат в конце первого тома, носящий заглавие «Die Cristenheit oder Europa» (Христианство или Европа) заслуживает тщательного изучения с этой и со многих других точек зрения.

«Религия проникнута бесконечной грустью. Если мы должны любить Бога, то он, стало быть, нуждается в помощи (hülfsbegürftig). Насколько это противоречие разрешено в христианстве?»
«Спиноза — человек, опьяневший от Божества (Gott-trunkener Mensch)».

«Не есть ли дьявол, как отец лжи, лишь необходимая иллюзия?»

«Католическая религия есть некоторым образом приспособленное христианство. Философия Фихте, быть может, еще более удачное приспособление христианства».

«Могут ли чудеса действовать на убеждение? Или, быть может, настоящее убеждение, это высочайшее отправление нашей души и личности, есть единственное истинное чудо, возвеждающее о Божестве?»

«Христианская религия в особенности замечательна тем, что она так решительно взывает к простой доброй воле человека и ценит ее независимо от степени его умственного развития. Она стоит в оппозиции наук, искусству и наслаждению в собственном смысле слова».

«Она вышла из простого народа. Она подымает дух в великом множестве обиженных на земле».

«Она — свет, который начинает сиять в темноте».

«Она — корень всякого демократизма, величайший факт простонародности».

«Ее непоэтическая внешность, ее сходство с семейной картиной, вероятно, усвоены ею извне».

«Мученики — духовные герои. Христос был величайший мученик рода человеческого. Через него мученичество исполнилось бесконечного значения и святости».

«Библия прекрасно начинается картиной рая, символом юности, и оканчивается вечным царством, святым городом. Ее два главных отдела являются настоящим великим историческим делением (во всяком великом историческом отделе всемирная история должна быть, так сказать, символически представлена в миниатюре). Началом нового завета служит второе более высокое падение (искупление грехопадения). История каждого отдельного человека должна быть библией. Христос — новый Адам. Библия — высочайший образец для писателей».

«До сих пор нет религии. Нужно сначала устроить семинарию (Bildungs-schule) настоящей религии. Или вы думаете, что религия существует? Религия должна быть создана и провозглашена союзом нескольких людей».

До сих пор наши читатели совсем не видели Новалиса в роли поэта, в собственном смысле слова, так как «Ученики в Саисе» носят гораздо больше научный, чем поэтический характер. Как сказано выше, мы не причисляем его дарования в этой последней области к первому или высшему разряду: разве только справедливо то замечание, которое он делает сам, именно, что разница между поэтом и философом лишь кажущаяся и вредит обоим. Его специально поэтические произведения, несомненно, растянуты и в известной степени безжизненны, что происходит не от слабости, а от вялости; мысль слишком разжижена и, можно сказать,

разжижена не в богатую, живую, разнообразную музыку, как мы это находим, например, у Тика, но в тихо-звучащую, нелишенную мелодичности монотонность, глухой ропот которой лишь изредка прерывается звуками чистой, почти духовной нежности. Мы здесь главным образом разумеем его не-стихотворные произведения, его поэмы в прозе. Стихотворные вообще у него не многочисленны; они написаны большею частью на религиозные сюжеты и, несмотря на несомненную правдивость чувства и языка, не обнаруживают большого искусства или навыка в этой литературной форме. В прозе он счастливее. Он стремится вообще к простоте и естественной выразительности. Иногда в наиболее обработанных местах, в особенности в «Гимнах к ночи», он напоминает Гердера.

Следует помнить, что эти «Гимны к ночи» были написаны вскоре после смерти его возлюбленной, в период глубокой скорби или скорее святого отречения от скорби. Новалис сам смотрел на них, как на свое наиболее законченное произведение. Характер их странный, туманный, почти загадочный; тем не менее, при более внимательном рассмотрении, они оказываются далеко не лишенными истинно-поэтических достоинств. В них громадное, неизмеримое количество идей. В них царит спокойная торжественность, словно миры потухли, и он остался один. Иногда в пустой бездне блеснет для нас луч света, и мы бросаем ясный и удивленный взгляд в тайники его загадочной души. Полный комментарий к «Гимнам ночи» был бы изложением всех Новалисовых убеждений богословских и нравственных, так как все они здесь высказаны если не дидактическим, то символическим и лирическим языком. Мы перевели третий гимн, как самый короткий и самый простой, подражая его легкому, полуритмическому стилю, стараясь, насколько могли, точно разгадать его смутный, глубоко лежащий смысл. Под словом «ночь», как будет видно дальше, Новалис подразумевает гораздо больше, чем простую противоположность дню. «Свет» в этих поэмах обозначает нашу земную жизнь; ночь — первоначальную небесную.

«Однажды, проливая горькие слезы, так как исчезла надежда моя, превратившись в страдания, я стоял одинокий у могилы, в узком и мрачном вместилище которой скрылась мечта моей жизни; одинокий, как никто, невыразимой скорбью угнетенный, лишенный сил, думая только о своем несчастье, я смотрел кругом с надеждой на помощь, не двигаясь ни вперед, ни назад, стараясь удержать с бесконечной тоской улетающую потухшую жизнь. И вот из голубой дали, с высоты моего прежнего блаженства, спустилось холодное дыхание сумерок, и вдруг цепи, которыми связан от рождения, оковы света распались, исчезло земное великолепие и вместе с ним моя печаль; тоска растаяла и слилась с новым неведомым миром. Ты, ночное вдохновение, небесное сновидение

снизошло на меня: декорация спокойно поднималась вверх; над ней парил мой освобожденный и возрожденный дух. Могила превратилась в пыльное облако, сквозь которое я увидел просветленные черты моей возлюбленной; в глазах ее покоилась вечность; я схватил ее руку, и слезы мои засверкали как звенья непрерывной цепи. Тысячелетия отошли вдаль, подобно грозным тучам. Я плакал на ее груди, восторженно желая новой жизни. То было первое необыкновенное мое сновиденье, и с тех пор я чувствую вечную, неизменную веру в ночное небо и свет его — мою возлюбленную».

Насколько будет удовлетворено критическое чутье читателей этим третьим «Гимном к ночи», как посмотрят они на тот великий кризис в духовной жизни Новалиса, который имеется здесь в виду, мы не станем предугадывать. Тем не менее читатель получил бы ложное представление о нашем поэте, если бы мы на этом остановились, показав его лишь с мистической стороны. Поэзия его не была исключительно аллегорической, витающей лишь в мраке и пустынях, далеко от всех путей, известных обыкновенным смертным. Новалис может писать самым обыкновенным слогом так же хорошо, как и самым необыкновенным, и при том также не без оригинальности. Почти весь первый том его сочинений занят романом «Гейнрих фон Офтердинген», написанным в самой обычной форме. Мы уделили ему меньше всего внимания, так как вовсе не считаем его в числе замечательных произведений Новалиса. Подобно многим другим его сочинениям, этот роман остался неоконченным. Мало того, судя по дальнейшему плану, сообщенному Тиком, по которому этот «Апофеоз поэзии» из тяжеловесного прозаического мира первой части должен был во второй перейти в мифический, волшебный и совершенно фантастический мир, — критики высказывали сомнение, мог ли бы он, строго говоря, довести этот роман до конца. Мы выбрали два отрывка из этого сочинения, для образца новалисового стиля в этом более простом роде композиции, предсказывая (позволяем себе сделать это лишь в данном случае), что достоинства, заключающиеся в них, будут оценены всеми. Первый из отрывков — введение ко всему рассказу. «Голубой цветок», о котором здесь говорится, это — поэзия, предмет стремления, страсти и призвания молодого Гейнриха; несмотря на разнообразные приключения, испытания и страдания, он должен искать и найти его. История о нем начинается следующим образом.

«Родители уже легли спать. Стенные часы отбивали свое монотонное тик-так. Ветер шумел и стучал окнами. По временам комната освещалась лунным светом. Юноша беспокойно лежал на своей постели и размышлял о чужестранце и его рассказах. «Не сокровища, говорил он сам с собой, пробудили во мне это невыразимое желание; всякая жадность чужда мне; но я страстно

хочу взглянуть на голубой цветок; он не выходит у меня из головы, и я не могу ни о чем другом ни мечтать, ни думать. Никогда у меня не было такого настроения; словно я видел сон или во сне был перенесен в другой мир, потому что в том мире, где я жил, кто станет огорчаться из-за цветка? Там никогда я не слышал о такой необыкновенной страсти к цветку. Но откуда же мог явиться этот чужестранец? Никто из нас никогда не видал подобного ему. Не знаю, почему я один так был увлечен его рассказом; остальные слушали то же самое, и никто не пришел в такое волнение. Как мне не говорить о своем странном состоянии! Я часто чувствую себя бесподобно хорошо, и лишь тогда, когда у меня нет перед глазами цветка, мною овладевает глубокое сердечное волнение. Этому никто не поверит и не может поверить. Я сам бы счел себя за сумасшедшего, если бы не видел и не мыслил с такой ясностью. С тех пор все стало мне гораздо понятнее. Я как-то слышал, что в древности животные, деревья и камни говорили с людьми. Точно так же и мне казалось, будто бы они готовы были ежеминутно начать разговор, и я мог видеть, что они хотели мне сказать. Вероятно, еще многих слов я не знаю; знай я их больше, я лучше бы все это понимал. Когда-то я любил танцевать; теперь я охотнее думаю под музыку». — Юноша все больше и больше предавался сладким мечтам и, наконец, заснул. Сначала ему грезились необозримые пространства и дикие неведомые страны. Он проезжал с невероятною быстротой через моря, видел странных животных; жил с разнообразными людьми, то в войне и бурных смутах, то в мирных хижинах. Он попал в плен и дошел до самой крайней нужды. Все чувства возбуждались в нем с небывалой силой. Он переживал бесконечно разнообразную жизнь, умирал и оживал; любил до высшего напряжения страсти и потом опять навсегда отрывался от своей возлюбленной. Наконец, к утру, когда стала заниматься заря, душа юноши несколько успокоилась; образы делались яснее и постояннее. Ему казалось, что он шел один в темном лесу. Изредка дневной луч пробивался сквозь зеленую сетку. Скоро он пришел к ущелью, которое подымалось в гору. Он должен был карабкаться через покрытые мхом скалы, которые поток перед этим сорвал вниз. Чем выше он подымался, тем светлее становился лес. Наконец, он достиг небольшого луга, лежавшего на склоне горы. За лугом возвышалась высокая скала, у подножья которой он заметил отверстие, похожее на вход в коридор, высеченный в скале. Коридор привел его через несколько времени без всяких задержек к большой пещере, в которой уже издали можно было видеть яркий огонь. Входя сюда он заметил сильную струю света, которая подымалась, как бы фонтаном, до потолка пещеры и разбивалась вверх бесчисленными искрами, собиравшимися внизу в большом бассейне. Струя

эта блестяла, как горящее золото; не слышно было ни малейшего шума; священное молчание окружало восхитительное зрелище. Он приблизился к бассейну, который струился и трепетал бесчисленными цветами. Стены пещеры были покрыты такой же жидкостью; она была ни горячей, ни холодной и бросала по стенам слабый голубоватый свет. Он погрузил свою руку в бассейн и омочил свои губы. Как бы дыхание духа проникло в него, и он почувствовал себя в глубине сердца подкрепленным и освеженным. Им овладело непреодолимое желание покупаться. Он разделся и вошел в бассейн. Ему казалось, как будто облако вечерней зари снизошло на него. Небесные ощущения наполняли его душу; бесчисленные мысли готовы были слиться в нем в глубокое наслаждение; возникали новые невиданные образы, которые также смешивались между собой и превращались вокруг него в видимые существа; каждая волна любовно жалась к нему, как нежное объятие. В поток, казалось, превратились женские образы чудной красоты, которые время от времени оживали вокруг юноши».

«Упоенный восхищением и, однако, не теряя ясности сознания, он поплыл спокойно по блестящей реке, которая текла от бассейна внутрь скал. Им овладел какой-то сладкий сон, в котором грезились неопишуемые приключения, и от которого пробудил его новый свет. Он увидел себя на мягкой мураве, на берегу источника, который изливался в воздухе и, казалось, там исчезал. Темно-голубые скалы с разноцветными жилами возвышались недалеко; дневной свет, окружавший его, был прозрачнее и мягче, чем обыкновенно. Сизо-голубое небо было совершенно чисто. Но что притягивало его с наибольшей силой, это — светло-голубой цветок, который стоял у самого потока и касался его своими широкими, блестящими листьями. Вокруг него было бесчисленное множество цветов всех окрасок, и самый сладкий запах наполнял воздух. Он ничего не видел, кроме голубого цветка, и долго смотрел на него с невыразимой нежностью. Наконец, он решил приблизиться к нему, как вдруг цветок пришел в движение и стал изменяться: листья сделались более блестящими и начали обвиваться вокруг ствола, который все рос; цветок наклонился в сторону юноши, и лепестки образовали из себя как бы голубые расходящиеся брыжи, в которых колебалось нежное лицо. Вместе с удивительными переменами росло приятное изумление юноши, как вдруг его разбудил голос матери, и он увидел себя в родительском доме, уже позлащенном утренним солнцем».

В следующем и последнем отрывке, который мы приведем, описывается также сновидение. Молодой Гейнрих со своей матерью едет в далекое путешествие к своему дедушке, живущему в Аусбурге. Дорогой он разговаривает с купцами, рудокопами и крестоносцами (дело было во время крестовых походов). Вскоре после

приезда, он безумно влюбляется в Матильду, дочь поэта Клингсора, в лице которой он узнает те же чудные черты, какие представлялись ему раньше в видении голубого цветка. Очевидно, Матильду должна была отнять у него смерть (как Софию у Новалиса). Между тем, не опасаясь этого, Генрих отдается всей душой новому чувству.

«Он подошел к окну. Хор светил стоял на темном небе, а на востоке белый свет возвещал наступление дня».

«Полный восторга, Генрих воскликнул: „вы, вечные светила, вы, молчаливые путники! Призываю вас свидетели моей священной клятвы: я буду жить для Матильды, и вечная верность будет соединять мое сердце с ней. Для меня также настает заря вечного дня. Ночь прошла; перед восходящим солнцем я сам горю, как жертва, которая никогда не потухает».

«Генрих был разгорячен и заснул только к самому утру. Его задушевные мысли преображались в чудесные грезы. Глубокая голубая река сверкала по зеленой равнине. На ее гладкой поверхности плыла лодка. В ней сидела и правила Матильда, украшенная венками; она пела простую песенку и смотрела вверх на него с тихой грустью. Его грудь была полна тоски, — отчего, он сам не знал. Небо было ясно, река спокойна. Ее небесное лицо отражалось в воде. Вдруг лодка начала быстро кружиться. Испуганный, он стал звать ее. Она улыбнулась и положила весло в лодку, которая продолжала кружиться. Его охватил невыразимый страх. Он бросился в реку, но не мог двинуться вперед: вода увлекала его. Она подавала ему знаки и, казалось, хотела ему что-то сказать. Лодка уже зачерпнула воды, а она улыбалась с невыразимой сердечностью и весело смотрела в водоворот. Вдруг водоворот поглотил ее. Слабое дыхание заструилось над рекой, которая продолжала течь спокойная и блестящая, как прежде. Страшное горе лишило его сознания; сердце перестало биться. Очнувшись, он почувствовал себя на сухой земле. Вероятно, он был далеко занесен. Это была какая-то чужая страна. Он не знал, что с ним произошло. Его душевные способности исчезли. Не размышляя, он отправился в глубь страны. Он чувствовал страшную слабость. Небольшой ключ бил из-под холма, звеня как серебряные колокольчики. Он зачерпнул рукой несколько капель и омочил свои запекшиеся губы. Страшное происшествие лежало позади, подобно кошмару. Он шел все дальше и дальше. Цветы и деревья разговаривали с ним. На душе у него сделалось так хорошо и так привольно. Вот послышалась снова простая песенка; он бросился на ее звуки. Вдруг кто-то схватил его за платье. „Милый Генрих“, вскричал хорошо знакомый голос. Он оглянулся, и Матильда заключила его в свои объятия. „Зачем ты убежал от меня, милый?“ сказала она глубоко вздыхая: „я едва

могла тебя нагнать“. Генрих плакал и прижимал ее к себе. „Где же река?“ вскричал он сквозь слезы. — „Разве ты не видишь ее синих волн над нами?“ Он посмотрел вверх: голубая река спокойно текла над их головами. „Где мы, дорогая Матильда?“ — „Вместе с нашими предками“. — „Мы останемся вместе?“ — „Навеки“, отвечала она, прижимаясь своими губами к его губам, и так охватила его руками, что ее нельзя было от него оторвать. Она вложила в его уста чудное, таинственное слово, которым прониклось все его существо. Он готов уже был повторить его, как вдруг послышался голос дедушки, и он проснулся. Он отдал бы жизнь, чтобы вспомнить слово».

Эта картина смерти и реки, которая служит небом в другой, вечной стране, по нашему мнению красива и трогательна: в ней видны черты той возвышенной простоты, того мягкого, спокойного воодушевления, которые весьма характерны для Новалиса и составляют, несомненно, самое высокое, что есть в его специально поэтическом таланте.

Но мы не можем дольше разбирать ни этот, ни другие собственные ему достоинства и недостатки, потому что, после такого множества цитат и более или менее сухих комментариев, наша небольшая статья о Новалисе достигла уже указанных ей пределов, и наша задача, если не выполнена, то закончена. Наши читатели слышали его рассуждения на разные темы, подобранные здесь таким образом, как это казалось лучшим для нашей цели; мы искренно желали, чтобы то ограниченное суждение, которое можно по ним составить о таком человеке, было по крайней мере беспристрастным. Некоторые из приведенных нами отрывков покажутся темными; другие, надеемся, не лишены признаков мудрого и глубокого содержания; остальные, вероятно, возбудят удивление, и уже от самого читателя будет зависеть, извлечет ли он из них что-нибудь истинное или ложное. Для большинства читателей, мы уверены, мало пользы в Новалисе, который скорее дает нам занятие чем помогает убить время; таким читателям нечего рекомендовать дальнейшее изучение этого писателя. Но тем, для которых цель всякого чтения — истина, в особенности же тому разряду людей, которые занимаются моральными науками, раскрывающими самую чистую и высокую истину, мы можем почти с полной уверенностью советовать читать и перечитывать сочинения Новалиса. Если они думают, как и мы, что самое лучшее употребление, какое только можно сделать из книги, заключается в том, чтобы добросовестно изучить какого-нибудь серьезного, глубокомысленного, правдивого писателя, вдумываясь в его способ мышления до тех пор, пока не станешь смотреть на мир его глазами, чувствовать, как он чувствует, и судить, как он судит, не давая места ни вере, ни отрицанию, пока не научишься так

чувствовать и судить, — если они согласны с этим, то мы можем ругаться, что из известных нам книг немногие более достойны их внимания, чем сочинения Новалиса. Они найдут здесь неисследованный рудник философских идей, где самому смелому уму найдется достаточно работы. Не говоря о последствиях, уже в самой такой работе много приятного. Но польза будет, если читатель руководствуется благородными побуждениями; если же нет, все будет совсем иначе: ни к одному писателю так не подходит, как к Новалису, следующее знаменитое мотто:

Leser, wie getall ich Dir?

Leser, wie gefällst Du mir?

Как, читатель, нравлюсь я тебе?

Как, читатель, нравишься ты мне?

Впрочем, мы сделали бы ложный шаг, если бы попытались здесь дать полную характеристику Новалиса, если бы, при тех средствах, какие у нас в руках, взялись подвести эту необыкновенную натуру под обычные формуляры и в немногих словах суммировать итог его достоинств и недостатков. Мы неоднократно выражали свое собственное неполное знание дела и совершенное отчаяние дать хотя бы приблизительное изображение его читателям, которые так не похожи на Новалиса. Дружественные слова в роде «милый энтузиаст», «поэт-фантазер» и, враждебная в роде «немецкий мистик», «сумасшедший рапсод» легко сказать и написать, но они мало помогут в данном случае. Или мы совершенно заблуждаемся, или Новалис не может быть причислен ни к одной из этих ходячих категорий; он принадлежит к высшей и гораздо менее известной категории, смысл которой, быть может, также заслуживает изучения, но выясняется он во всяком случае лишь после долгих занятий.

А пока мы намерены поделиться с читателем несколькими своими смутными впечатлениями, раз у нас не выработалось определенного взгляда на этот предмет. Мы сказали бы, что главное преимущество, которое мы заметили в Новалисе, заключается в поистине удивительной тонкости его ума, в его способности постоянно быть абстрактным и с остротой рысьих глаз, до самых крайних пределов человеческого ума, преследовать самые глубокие и самые неуловимые идеи, несмотря на всю их запутанность. Он хорошо знал математику и, легко предположить, любил эту науку. Но его дарование было гораздо более высокого свойства, чем то, которое требуется в математике, где с самого начала, от Эвклида и до Лапласа, в распоряжении ума находятся ясные символы, служащие надежными орудиями для мышления, где даже (по крайней мере в том отделе, который носит название высшей

математики) уму часто остается делать немного больше, чем механически наблюдать за ними. Эта способность к отвлеченному мышлению, если она проявляется так уверенно и ясно, как у Новалиса, есть нечто более высокое и редкое; сфера ее применения — не математика, а *mathesis*, о которой было сказано, что ни один великий счетчик не имеет о ней понятия. В этой способности, поскольку она касается логических, а не моральных вопросов, заключается сущность всякого философского таланта, которым, по нашему мнению, обладал Новалис в очень высокой степени, в высшей, чем какой-нибудь из современных известных нам писателей.

С другой стороны, его главным недостатком мы считаем какую-то чрезмерную мягкость, отсутствие решительности, нечто такое, что мы могли бы обозначить именем пассивности, как основного качества его ума и характера. В Новалисе есть почти женственная нежность, чистота и ясность, но он не обладает, — или если и обладает, то далеко не в должной степени, — твердостью и решительной силой мужчины. В своих поэтических описаниях, как мы и выше уже жаловались, он слишком разжижен и расплывчат; не то, чтобы он был многословен; он изобилует не столько излишними словами, сколь излишними подробностями, что, конечно, только немногим лучше. В его философских размышлениях мы чувствуем места такой же недостаток, обнаруживающийся лишь под другой формой и здесь он представляется нам, в некоторых отношениях, слишком слабым, слишком пассивным. Он, так сказать, *сидит* среди богатых, красивых, бесконечных комбинаций, которые ум почти сам по себе представляет ему; но, вероятно, он обнаруживал слишком мало деятельности в этом процессе: он слишком нерешителен в разделении истинного от сомнительного и не старается даже выразить с заботливой точностью то, что он считает истиной. С своим спокойствием своей глубокой любовью к природе, своим мягким, возвышенным, одухотворенным тоном размышлений, он выступает перед нами, как сын Азии, почти как идеальный античный гимнософист, с восточной слабостью и силой. Во всяком случае необходимо помнить, что как поэтические, так и философские его сочинения, в том виде, в каком они находятся теперь перед нами, вышли в свет при многих неблагоприятных условиях: совершенно незрелые, не в виде законченных теорий и описаний, но лишь как неотделанные наброски. Будь они доведены до конца, многое в них изменило бы свой вид, и этот недостаток исчез бы вместе со многими другими. Таким образом это, быть может, лишь внешний недостаток, или даже недостаток лишь кажущийся, происхождение которого объясняется вышеуказанными обстоятельствами и нашим неполным представлением о нем. По крайней мере, в своих ду-

ховных и телесных привычках Новалис, по-видимому, был прямой противоположностью тому, что называется вялым; нам определенно говорят, например, о быстроте и стремительности его движений.

Относительно характера его гения или скорее его литературного значения и той формы, в которой проявлялся его гений, Тик находит возможным сравнить его с Данте. «Для него, говорит Тик, сделалось вполне естественным смотреть на самое обычное и близкое, как на чудо, а на странное и сверхъестественное, как на нечто обыкновенное. Людская ежедневная жизнь окружала его, как волшебная сказка, а тот далекий и непонятный мир, который вызывает у большинства мечтания и сомнения, был любимым жилищем его духа. Неиспорченный образцами, он нашел свой новый способ изображения и, по разносторонности своих интересов, по своим взглядам на любовь и веру в нее, как в свою наставницу, мудрость и религию, наконец тем, что один важный случай в его жизни, глубокая скорбь и лишение сделались сущностью его поэзии и воззрений, — всем этим он один среди новейших поэтов похож на возвышенного Данте. Подобно ему, он поет нам неведомую мистическую песнь, совершенно не похожую на песни тех многочисленных подражателей, которые смотрят на мистицизм, как на украшение, думая, что его можно надевать и сбрасывать, подобно платью».

Если принять во внимание цель поэтических стремлений Новалиса и общий дух его философии, то такое лестное сравнение окажется более основательным, чем представляется с первого взгляда. Тем не менее, если бы нам нужно было иллюстрировать Новалиса именно этим способом, который всегда будет очень не точен, мы скорее назвали бы его немецким Паскалем, чем немецким Данте. Любитель такого рода аналогий может отметить между Паскалем и Новалисом не мало пунктов сходства. Оба обладают самой чистой, любящей, нравственной натурой; у обоих возвышенный, благородный, тонкий ум; оба математики и натуралисты, однако занимаются преимущественно религией; лучшее, что написали оба, осталось в форме «Мыслей», как материал грандиозного плана, который каждый из них проектировал, сообразно со взглядами своего времени, в интересах религии, и до осуществления которого ни один из них не дождался. Однако, при всем этом нельзя не обратить внимания на то, что Новалис был не французским, но немецким Паскалем; из интеллектуальных привычек того и другого можно вывести много национальных контрастов и заключений, что мы и предоставим тем, которые имеют охоту к подобного рода параллелям.

Итак, мы старались высказать несколько мыслей не о том, что обыкновенно называют немецким мистиком, а о том, что он

есть в действительности; мы дали возможность читателям бросить несколько взглядов в его домашнюю жизнь и увидеть собственными глазами, как он живет и работает. Мы это сделали, кроме того, не в насмешливом тоне, что было бы так легко, а в тоне серьезного исследования, что нам казалось здесь гораздо более уместным. Мы ожидаем за это не осуждения, но благодарности от наших читателей. Что бы из себя ни представлял мистицизм, он может быть понят, как и все действительно существующее, лишь теми, кто добросовестно с ним познакомится. Мы уже заметили, что в последнее время давно практикуемый смех по отношению к этому явлению несколько стих, и в непродолжительном времени, кажется, замрет почти совсем. По нашим наблюдениям, теперь в Англии пробуждается дух терпеливого и трезвого исследования по отношению к этому и другим предметам; распространяется все более и более убеждение, что лот французской и шотландской логики, как он ни превосходен, даже незаменим при исследовании берегов и гаваней, решительно недостаточен для глубокого моря человеческих исследований, и что многие Вольтеры и Юмы, люди с большими дарованиями и заслугами, очень ошибались, думая, что если их шестисотсаженная веревка размоталась, то они уже достигли дна, которое, как в Атлантическом океане, может быть, лежит, Бог весть, насколько миль глубже. Шестисотсаженный морской лот есть самый длинный и самый ценный; однако, многие производят измерение шестисаженым и даже более коротким и достигают точно таких же результатов.

«Придет день, говорил с горькой иронией Лихтенберг, когда с верой в Бога будет то же, что и с верой в сказочные привидения»; а Жан Поль выразил это так: «Мир превратится в мировую машину, эфир в газ, Бог в силу, а загробный мир в гроб». Мы склонны больше думать, что такой день *не* придет. Во всяком случае, пока спор еще не закончен и газо-гробовая философия не оградила себя десятичными сборами и карательными статутами, нужно предоставить свободу действий мистицизму точно так же, как и всякой другой философии, которая честно станет его оспаривать. Свобода действий, беспристрастие — и справедливость в конце концов восторжествуют! «Наше настоящее время, говорит в другом месте Жан Поль, есть время действительно критикующее и критическое, потому что оно колеблется между желанием и неспособностью верить. Это хаос от столкновения противоположных эпох; но даже и хаотический мир должен иметь свой центр, вокруг которого совершается вращение. Нет безусловного, полного беспорядка, но каждый такой беспорядок, прежде чем возникнуть, предполагает враждебное ему начало».

СОДЕРЖАНИЕ

Гейнрих фон Оффтердинген (роман)	5
<i>(перевод З. Венгеровой, пер. стихов В. Гиппиуса)</i>	
Фрагменты	143
<i>(перевод Г. Петникова)</i>	
Ученики в Саисе	161
<i>(перевод Г. Петникова)</i>	
Новалис. Литературный этюд Т. Карлейля	191

Редактор *С. Федоров*
Худ. редактор *П. Лосев*
Ответственный выпускающий *Д. Кирсанов*

Лицензия на издательскую деятельность
ЛР № 062563 от 27.04.93 г.

Сдано в набор 1.06.94. Подписано в печать 1.10.94.
Формат 60 × 90¹/16. Бумага офсетная.
Гарнитура академическая. Печать офсетная.
Объем 15 печ. л. Зак 371. Тираж 6000 экз.

Фабрика „Детская книга“ № 2
Комитета Российской Федерации по печати.
193036, Санкт-Петербург, 2-я Советская, 7.

